

# СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный  
и общественно-политический  
ежемесячный журнал**

**ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА**

Главный редактор:  
М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)  
А. Г. Байбородин (Иркутск)  
П. В. Басинский (Москва)  
А. В. Кирилин (Барнаул)  
В. М. Костин (Томск)  
А. К. Лаптев (Иркутск)  
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)  
Р. В. Сенчин (Екатеринбург)  
М. А. Тарковский (Красноярск)  
А. Н. Тимофеев (Москва)  
М. В. Хлебников (Новосибирск)  
А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов  
ответственный секретарь

Михаил Косарев  
начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова  
редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова  
редактор отдела художественной литературы

Дмитрий Рябов  
начальник отдела общественно-политической жизни

Елена Богданова  
редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Т. Л. Седлецкая  
Верстка: О. Н. Вялкова

**7/2021**

## Содержание

### ПРОЗА

<b>Анатолий ЗЯБРЕВ. Ворон на снегу. Роман.</b> .....	3
<b>Ольга ПАВЛОВА. Жизнь других. Рассказы.</b> .....	74
<b>Ирина СОЛЯНАЯ. Подержи мои часы. Рассказ.</b> .....	83
<b>Сергей АНТОНОВ. Дурак и дурочка. Рассказ.</b> .....	93
<b>Игорь АЛЕКСЕЕВ. Бремя управленца. Рассказы.</b> .....	119

### ПОЭЗИЯ

<b>Дмитрий РУМЯНЦЕВ. Из трепетных глин. Стихи.</b> .....	67
<b>Алена БАБАНСКАЯ. «Это ливня скорый поезд...» Стихи.</b> .....	79
<b>Лада ПУЗЫРЕВСКАЯ. Я не вижу тебя. Стихи.</b> .....	89

### ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

<b>Константин ГОЛОДЯЕВ. Наш старый цирк.</b> .....	136
<b>Александр ТИХОНОВ. Четыре истории от мистера Бьюэла.</b> .....	155
<b>Анатолий КИРИЛИН. Вот и я выбираю.</b> .....	172

### КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ «СИБИРСКИХ ОГНЕЙ»

<b>Валерий КОПНИНОВ. Летящие линии.</b> .....	187
---	-----

<i>Авторы номера</i> .....	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

Анатолий ЗЯБРЕВ

## БОРОН НА СНЕГУ

Р о м а н\*

В основе этого повествования — семейная память о жизни и судьбе моего деда Алексея Алексеевича, одного из тех крестьян, что работали на постройке моста через Обь и положили начало поселку, а потом и городу Новониколаевску.

*Автор*

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### Грех-то какой

Небо над Обью в тот день было с утра густо-синим, потом вылиняло, обесцветилось. Так же вылиняли, обесцветились и рубахи на взмокших спинах артельщиков.

Алешка тащил на веревке бревно, красное, кора висела и спадала лохмотьями. Бревно торцом зарывалось в текучий нагретый песок, а напарник все подсовывал и подсовывал под комель круглые поката.

— А вон и финтифюлька к нам пожаловала, — сообщил напарник Еська. — Вон... Кого-то себе высматривает.

— Подваживай, подваживай! — нетерпеливо шумел Алешка, упираясь пятками в бугор.

— А я что, разве не делаю? — обиделся Еська.

— Тяни, тяни! Подваживай!

— Да уж подваживаю. И тяну. Разве меньше тебя тяну?

— Вот и тяни! Башкой не верти.

— А ты не горлопань. Не нарядчик. У меня на ладонях уж вон кожа лопается.

Тут-то Алешка и увидел Любку. Шла она под яром в длинной на-сборенной юбке, почти скрывающей ичиги, тонувшие в зыбком песке. Руки она держала по-бабьи над животом и несмело вглядывалась в му-

---

\* Журнальный вариант.

жиков, что разбивали на реке, у самой песчаной отмели, доставленные с верховьев плоты.

Повязанную белым кружевным платком со лба по самые брови и с подбородка — по самый рот, оробело-рассеянную, ее можно было бы сразу и не признать, так она была сейчас на себя непохожа. Впрочем, нет, Алешка признал бы ее среди любого народа, и если б платком она укрылась от солнца совсем, оставив лишь для глаз щелочку, — признал бы по стати, по окатистым плечам, по всему тому, что на него так нервно и сладко действовало.

Всякая усталость с Алешки вдруг слетела, он, выждав, набрал со свистом в себя воздух, подогнул колени и этак колесом выкатился из куста под уклон к самым ногам испугавшейся девушки.

— О-ой, ошалелый! — вскрикнула Любка и от неожиданности припала на кукорки.

Но времени на разговор у Алешки не было. Бригада требовала работы: э-эй, дескать, давай там, не задерживай!

И Алешка уже опять тащил бревно и ругал напарника:

— Подживай! Тяни! Поката подсовывай!..

Любка же, разувшись, повесила ичиги на куст, набрала в щепоть мелкой щебенки, принялась тереть себе пятки. Потом вошла в воду, распугала табунок ярких пескариков, греющихся на мели под солнцем. Красноватая муть осела, и тогда стало видно, как малявочки, теснясь, присасываются к лодыжкам.

Алешка сверху, с крутяка, зыркал на мужиков и первым делом на своего напарника Еську Кочетовкина, определяя, какими зенками они таращатся на голоногую Любку. От Алешкиного внимания не ускользнуло, что Любка, остерегаясь набежавшей волны, поднятой скинутыми с плота бревнами, подпернула с опаской подол юбки.

— Шла бы из глуби-то! Остудишься еще дуру! — крикнул он.

— Нет, Леш, теплая вода, — просветленно отозвалась глупая Любка, вовсе не поняв Алешкиного беспокойства. Она ждала, когда Алешка кончит работу и поведет ее к себе в артельный барак.

Барак, снаружи вымазанный от лесного мокреца дегтем, лепился по бугру над оврагом, где поблескивал широкий полноводный ручей. Ручей стекал в Обь, иногда по нему заходила некрупная рыба. От порубленных талин остались на уклонах пеньки, они, зачернев, пустили отводки, и теперь вокруг барака кучерявилась молодая мягкая зелень.

Артельные мужики размещались по нарам бок к боку, иные были с бабами, они занимали места при входе, у двери, в углу, отгороженные барьером в две-три плахи.

Алешка решил: сюда, в барак, он свою Любку, конечно, не поведет, а если и поведет, то только на самое короткое время. Хотя мужики отнеслись с пониманием, так и сказали: уступят место, отгораживайся плахами и живи. Нет, нет, в мужском вертепе ей быть никак нельзя, она не чета

тем артельным бабам, на каких мало кто смотрит, а сами те бабы таращатся на чужих мужиков.

Из обряда венчания, совершившегося в бревенчатой церковке, где мелкие свечи, стоявшие в дальнем углу тесным набором, не разжижали морока, а, казалось, наоборот, только сгущали его, накладывая на стены выпуклую тень, Алешка вынес состояние на душе такое, будто он вознесся к самому небесному звездному своду, а вокруг будто и не было тверди земной под ногами, а лишь легкость в теле да звездный звон в ушах...

— Что же теперь, Леш, будет? Грех-то какой! Без тятенькиного благословения. Ох, Леш, что же?.. Ладно ли мы сделали? Тятенька когда узнает — что он?

И через много-много лет, когда Любы не станет, Алешка, согнутый жизнью, все будет держать в душе это состояние и перебирать в памяти Любины разговоры, видеть перед собой ее оробевшее, растерянное лицо, сглаженное шатким полумраком такого благостного вечера.

Возле артельного общежития светились во мраке дымные, пахнущие сырой талиной костры. Так мужики справляли Алешкину и Любкину свадьбу. Дым костров, нависая над оврагом, отпугивал нахального, липкого, непереносимого болотного гнуса.

### Свой терем

Алешка и Любка строили себе дернушку. Выбрали высокое место, по одну руку пихтовый лесок, по другую черемушник вперемежку с красноталом. Тут с самого восхода солнца начинали кричать, шелестеть, путаясь крыльями в черемушных ветках, серые с пестринами по длинному хвосту дрозды, привлекаемые черной обильной ягодой.

Алешка, не ведающий устал в молодом теле, огораживая двор, занял тыном чуть ли ни весь склон с пихтами и прихватил часть оврага, так что черемухи и дрозды оказались во дворе, чему Любка уж очень была рада.

Еська Кочетовкин явился на новоселье с дружками еще до завершения землянки, они притащили два рогожных мешка, стали трясти. Из одного мешка кот выскочил, из другого петух выметнулся. Гости, регоча, глядели, как обезумевший кот, ржавый по бокам, трижды обскакал по кругу всю ограду, натыкаясь на пеньки, сиганул в закуток землянки и там укрылся за корзиной. А сивого пера петух громко захвохтал, взлетел на ветки.

— Ловите, ловите! — кричала Любка.

— Вы где это... это... раздобыли? — хохотал Алешка.

— Да шел я... шел... — отвечал в некотором смущении Еська. — Шел, гляжу: старуха птицу к чурке тянет. Рубить собралась. А я ей го-

ворю, не руби, продай... А кота она уж в придачу дала. Бери, говорит, и его, раз такое дело.

Говорили про аварию на мосту, о первом пассажирском поезде, прохидившем к реке с правого берега, о подрядчиках...

— Металлический монтаж когда вели, трапы устраивали, лестницы не так, как полагается, устроили... — рассказывал Афанасий Бойченков, сухолицый, сухоносый.

— Ты скажи лучше, — перебил его Алешка, — скажи, отчего ты сам-то с верхотуры ухнулся?

— Вот я и говорю: трапы и лестницы налаживали... Торопились. Вот оно и вышло, что ухнулся.

— А говорили, что инженер виноват.

— Инженер что? Рабочий сам по себе. А инженер... его дело сказать, а дело рабочего — сообразить. Если башка дурная, не соображает, то... не лезь, сиди в деревне.

— Что ж, все, кто покалечился... что ж, все и дурные? — спросила Любка.

— А как же. Только так. На меня пальцем покажешь? Показывай. И у меня башка дурная, — Афанасий говорил взвинченно, нервно. Любка помнила, как однажды, было это давно, Афанасий и его отец Нифонт Онисимович, сельский староста, добрый и смешливый, приезжали из своей деревни Никольское на весенний базар в Кольвань, и Нифонт Онисимович подозвал ее, тогда глупенькую девчущку, протянул ей печеного из теста жаворонка на палочке и спросил: «А что, красавица, вырастешь когда, замуж за моего непутового парня пойдешь?» Любка убежала.

А вот сейчас она жалела Афанасия, увечный он. Когда смеется, то подбородок его прыгает, и ей становится жутко и очень больно. Так же больно, когда смотрит на своего Алешку, очень усталым возвращающегося домой с тяжелой работы.

Удивление у Любки — что оба они похожи натурой один на другого, оба бесшашные. Оттого-то она за них и страдает — за того и за другого. Даже грешно подумывает с подкатившейся к сердцу слабостью, что, не будь Алешки на свете, она бы пошла за этого Афанасия. Да, пошла бы.

Подумала она сейчас так, застыдилась, покраснелась, Алешка уловил обеспокоенность на лице жены, но не понял, отчего она заволновалась.

Так, поселившись на межболотном островке, начинали новую, совсем еще непонятную, некрестьянскую свою жизнь Алешка с Любкой. Поставив дернушку в стороне от поселка, они тем самым дали начало новой большой улице, той самой, которая теперь в Новосибирске именуется улицей Ермака.

В том году морозы пришли в рабочую слободку рано, лед на болоте между кочками уцепился поначалу слабый и прозрачный, как оконное стекло, потом набрал толщину чуть ли не до самого тряского торфяного дна, впаял в себя голенастые стебли, а заодно и всякую глубинную живность.

Тугие ветры ходили в тех жестких, закованных, высохших камышах. Ветер пробовал сломать изжелта-бурые высокие трубки и оттого, что не мог положить их на кочки, на лед, начинал выть в неистовстве.

## Счастье

Летели годы, как журавли над болотами. Прибавлялась семья.

Алешка сидел во дворе и забавлялся с сынишкой Ефимкой. Налаживал парнишке свистульку. Не всякое дерево годится для такого тонкого дела (ни черемуха, ни береза, ни пихта), а только талина, и то лишь та, на которой кора ветром и туманцем обглажена, без пупырышек.

Переливался не то воздух настоявшийся, не то солнце так играло, еще по-утреннему свежее, мягкое.

— Вот мы этак... — говорил Алешка, ощупывая нарезанные черенки, лежавшие на коленях. Не утерпел он и наложил сынову ладошку на свою. — Вот ведь! Эк оно!

Алешкина ладонь была исчерна-бурой, а величиной все одно что семейная сковорода. И Ефимкина ручонка лежала в ней — как бы листок, упавший с куста. «Неужто пройдет время — и ладонь сына станет тоже... тоже как сковорода?» — Алешка был доволен собой.

— Погоди, сынок, — говорил он. — Погоди... Вот малость подстружим, подскоблим и... готово тогда уж будет. Такая уж хитрость тут, в этом деле, сынок. У каждого дела, у всякой штуковины — своя особая хитрость.

Алешка коротко дунул в прорезанный глазок черенка. Свист на удивление вышел чистый и объемный. Алешка подул еще и еще. Теперь уж дул он с передыхами, с занижениями, подъемами, вибрациями. И свист получался переливчатый.

Парнишка со свистулькой побежал за ворота встречать мать, появившуюся на мостке через ручей. Солнце мягким пятнышком прицепилось ему на затылок и вместе с ним прыгало. Алешка весело подумал про то, что солнцу с детишками тоже, значит, хорошо.

Платок сполз с Любкиной головы, открыв свободному солнцу тройной обруч косы, и держался на затылке.

— Ись, поди, захотели? — слабо улыбнулась она, садясь на чурбачок так, чтобы видеть весь двор. К ее юбке тут же прилепился Ефимка, показывая свою игрушку.

— Тятка сделал. Глянь, мамк. Тятка сделал.

— Как там? Управилась?.. — спросил Алешка. Фартук на жене был выпачкан лазурью. Знал, она ходила с другими бабами красить церковную ограду — дьяк созывал, на рассвете стучал в окно.

— Да уж чего, — ответила Любка, взяв у Ефимки мокрую, заслюнвленную свистульку и вытирая ее изнанкой фартука. — Управилась, чего ж. Дело такое...

Обтерев, Любка вобрала игрушку заструганным концом себе в губы.



— Мамк, ты не так, ты не умеешь, — забеспокоился Ефимка.

— А... я, оказывается, не туда... Фу! — Любка нарочно начала дуть с противоположного конца.

— Ой, мамк, ты совсем не так, — уж вовсе развеселился Ефимка.

— Да ну, разве? А ну-к, покажи мне, покажи. Научи свою мамку. А то вы с отцом никак не научите.

— Про наследника там не болтают? — спросил Алешка, поведя полуприщуренными глазами по двору, следом за взглядом жены. — Слух был, что, как мост на Оби поставят, царев наследник объявится.

Любка его не услышала, она сказала:

— Батюшка вынос иконы совершал. Ограду освящал. О-ох, сколько ж там юродивых, всякого калечного народу!

— Про наследника, говорю, ничего там не болтают? — повторил Алешка, остановив глаза на пустом заулке. — Мужики надежду имеют на перемены. Может, говорят, золотые раздавать начнет, наследник-то, как с вагона выйдет.

— Да все под икону пролезть норовят, под икону. Юродивые-то. Батюшку чуть не столкнули, немощного, — рассказывала Любка. — Угодные, значит, они богу, раз их столь много на свете скопилось.

— Вон и Пыхов говорит, что червонцы станет кидать наследник-то, — говорил Алешка. — Пыхов, значит, первый там ухватит, потому как водокачка его на самой станции. А что? Не пойти ли и мне туда? Наследник как с моста съедет, так тут и остановится, а я возле него. Как раз нам по золотому червонцу и выложит в руки. У нас двор-то, вишь, еще не богат, пригодился бы червонец. Наследники, они, говорят, щедрые, пока это... Колеса к телеге я бы новые купил. Старые-то к кузнецу нести надо, ободом обивать.

Небо слиняло и как бы протерлось. Тени упрятались под навесы. Мелькание диких пчелок под стеной, этих светлых янтаринков, ускори-лось.

— И чего эт я расселась и сажу? Барыня! — спохватилась Любка. — Обед не готовлен, стирка лежит, печь не подбелена...

— Дак слышь, мать, — еще сказал Алешка, уже вслед. — Слышь? Идти мне за червонцами, когда приедет наследник, али не идти? Хо! А, слышь?

Любка обернулась, придерживая левой рукой платок, болтающийся на шее.

— Что? — спросила.

— Идти, говорю, али не идти?

— Куда?

«Вот ведь дуреха, ничего не поняла», — подумал Алешка, совсем развеселившись, и брякнул:

— Да ведь туда же. К тебе...

— По чё?



— Да по чё ж боле... По чё мужик к бабе ходит?

— У-у. Дитя посовестился бы. — Любка была хорошая мать и оттого не принимала легкомыслия.

Когда-то, совершая долгую перекочевку с семьей и скарбом с Орловщины в Сибирь, Зыбрины встретили на дороге в прииртышских степях другое такое же семейство перекочевщика. Это был Нижегородов Сергей Касьяныч. Нежданно-негаданно к его дочери, Любкиной старшей сестре Анисье посватался дорожный десятник. До самой Оби зять провожал тестя и в Кольвани помог Нижегородовым купить выгодно усадьбу. А скоро и другой Любкиной сестре, Ульяне, нашелся жених, хотя и вдовый, служащий по лесному ведомству, имевший кое-что в кошеле. После этой-то свадьбы посветлевший лицом Сергей Касьяныч купил третью лошадь и стал ездить, осматривать свободные земли не только вокруг Кольвани, а и дальше. Обосновал он себе заимку аж под деревней Никольской, в тридцати верстах, в самом приозерье. «Красавицы дочери — тот же клад», — завидовали неудачливые отцы семейств, промеж себя загадывая, какой же добавок принесет в Сергея Касьяныча дом замужество третьей дочери, Любки.

А она, Любка-то вот, — выбрала себе Алешку, который ничего тестю не принес и женушку-красавицу свою держит в землянушке.

## Тоска

Принялся Алешка справлять себе бревенчатый настоящий пятистенник. Было на кого равняться. Народ-то поднялся густо. И поселок мостостроителей именовался уже не как прежде, не Александровским, а Новониколаевским, и ходили слухи, что вот скоро он будет зваться городом.

Да и то: порядок улицы вон ведь куда вытянулся. Железом отсверкивает крыша грибовара и перекупщика. За ним, наискось, поселились китайцы: Цу-Синь и Фу-Синь. Верно, у этих пока не дома, а тоже дернушки. Того и другого бабы кличут одинаково — Сеня. За китайцами — усадьба Тихоновского, мужик из деревни избу перевез вместе с кучей девок...

Однако ставил Алешка сруб и томился. Не работой, нет, томился, а чем-то еще. Покой из души отчего-то вдруг выветривался.

Водокатчик Пыхов, построившийся напротив, объяснял:

— От дури у тебя тоска, сосед. И оттого, что места выгодного в работе себе не имеешь. А не имеешь опять же отчего? Опять же от малого соображения в голове, от дури то есть. Опять же...

Пыхов был много старше Алешки.

— Опять же, кто хлеб с салом ест и про запас имеет? Тот опять же, кто при одном деле завсегда, — говорил водокатчик. — Это уж так. Сменщик у меня. Вот такой же... с зудом. Все зад у него чешется, куда-то бежать ему охота. В кондуктора пойти наметил... А чего в кондукторах? Суета. А кроме-то — что?.. Замолвлю слово за тебя на дистанции.

Замолвлю, коль на место сменщика пойдешь. Как? Сутки отдежурил и... дома опять же, при своем хозяйстве, при бабе. Я тебе про это... Потому как ты сосед и потому как ты еще дурь в голове держишь. По молодости опять же. Не угадываешь своей пользы.

Был Алешка у Пыхова на дистанции. Сиживал в башенке. Когда окошко заслонялось железным тендером, Пыхов со значением брался за медную проволоку, свисающую у стенки, подергивал эту проволоку, вверх оттого убиралась задвижка, и по толстой трубе шелестела вода.

Потом с улицы долетал голос машиниста: «Хорош! Спасибо, Пыхов, будь здоров».

Паровоз, сытно фукая и шипя, с неохотой отодвигался от окна, а Пыхов снова занимал свое место на табурете, в его осанке прибавлялось важности, углы бритых губ поднимались, он заворачивал глаза на Алешку и молчал. «Так-то вот!» — говорил он после долгого молчания.

И Любка на дистанцию ходила — глядела на будущую Алешкину работу. Поглянулось ей. И даже сама подергала за медную проволоку. Видела, как на путях команда арестантов деревянными пестами подбивает сыпучую щебенку.

Рассудила Любка, что все сложится ладно, если он, Алешка, пойдет в водокатчики, сядет на табурет перед окошком с видом на горелый сухостойный лес и на арестантов, бьющих на бугру тяжелыми пестами текучую щебенку. Ему будут с тендера уважительно кричать: «Спасибо, Зыбрин, будь здоров».

Рассудила она так, и на этот счет в добрую ночь был разговор, приведший к обоюдному согласию. Ох, аж лихорадочным волнением зашла она, Любка-то. До света не спала, все целовала Алешку в жесткую бороду, потом, на свету, побежала через дорогу к Пыхова бабе, Стюрке, отнесла ей клубок белой пряжи из козьего пуха, присланной свекровью из Колывани.

— Бери, Стюра, бери. Для доброй соседки разве жалко чего. Зачем живем-то, если уж... Если уж не к добру-то...

— Дык, как бы... — Стюрка была пугливая, верила в нехорошие приметы (хороших-то у нее не случалось), и, конечно же, ранний приход соседки с шерстью мог к чему-то повернуть.

— Бери, бери, Стюра, для доброго человека-то... — с сердечной открытостью говорила Любка.

— Да уж, как бы... — Стюрка пряжу приняла и, со своей стороны, одарила соседку пригоршней сладких леденцов.

Пыхов не то на другой день, не то на третий, появившись во дворе — появился он не от своего дома, а со стороны оврага, где была короткая тропа на станцию, — потребовал, играя голосом:

— Самогонку ставь, соседка!

— Да уж как же, как же, — догадалась Любка, что слово за Алешку замолвлено. — Как же... Без самогону-то разве... Нельзя без угощения, коль такое дело... Коль по-соседски-то все. Коль друг за дружку-то...

Метнулась она в огород, к грядкам, нащипала зеленого лучного пера, достала из погребка горшок со сметаной, загустевшей в прохладе, на льду, до масляной вязкости, разбила в нагретую сковороду десяток яиц.

Хозяин и гость выпили по одной, по другой. Разговор пошел сурьезный. Любка сразу определила: сурьезный разговор.

— Гляжу иной-то раз опять же на дежурстве, народ мимо разный пробегает. Туда, сюда. Один голову пригнул, спина коромыслом. И шаг какой-то мельтешащий. Будто бежит, а все не поспевает. А другой-то ногу ставит ровно на всю подошву. И затылок у него вровень со спиной. Значит, что? Соображение во мне на этот счет такое опять же. Народ всякий: и такой, и этакий, а? У одного нога суетливая, а у другого шаг крепкий. Отчего? Да все оттого же, скажу тебе, оттого... Есть место в жизни или нет его — вот что! — начинал шуметь Пыхов и взглядывал на Любкину грудь.

— Да уж, конечно, так, — подтверждала Любка, не зная, то ли загораживаться ей ладонью, то ли не загораживаться.

— Ага, — кивал Алешка, стараясь сосредоточиться на благодарности к соседу.

— Когда батюшка икону выносил, ограду освящал, — не к месту вспомнила Любка, — ох, сколько юродивых, калечных там было, господа! Да все нороят под самую икону пролезть.

— Икона сама собой. Поп тоже сам собой. Все они нам, рабочим, что? А ничего, — безбоязненно говорил Пыхов. — А вот когда места в жизни себе не занял, тут ни поп, ни икона уже никак не помогут. Ты, сосед, какой уж год живешь в слободке, суетишься, а все дернушка у тебя, вот и ряди, живешь, как крот... Принялся дом из бревен ставить, ладный дом, а, вижу, не осилишь, жила в теле слаба.

Боясь, как бы муж не выказал обиды, Любка поторопилась заглядывать:

— Дак ведь не всем ровно людям жить. Кто выше, кто ниже. По лесенке. Кто уж на что и кому чего...

— Эт верно, по лесенке. — Понравилось Пыхову Любкино замечание, и вообще ее угодливость была по душе ему. — Верно, по лесенке. Кому чего... Зимой, в мороз, по путям бежит обходчик. Куда он забегает? А ко мне. Диспетчер пробегает. Опять же обогреться — ко мне. Конвойный, стерегущий команду, — куда?.. Околоточный или сам урядник опять же... Из моего окошка видно далеко. Вот и получается, что без Пыхова не обойтись не только паровозникам. Прикинь, какая должность на железных путях самая заметная. Выходит, должность водокатчика. Хоть и не шибко жирно, но надежно, при куске хлеба всегда будешь.

— Да уж дело такое. Кусок хлеба если ребятишкам... Чего же еще надо, — суетилась с подобострастием Любка, а Алешка согласно кивал, борода у него распушилась, опять старался настроить себя на уважение и благодарность к соседу.

— Когда ветер в голове, тогда... тогда мозоли опять же на пятках. Ты вот какой год тут, а все... Чего-то все... — обличал по-доброму Пыхов, выходя за ворота. — Налаживайся, давай-ка, сосед, налаживайся.

— Да уж это... надо. Как же. Непременно. Кусок хлеба... — искренне кивал Алешка.

Но вышло-то у него совсем по-иному. Решил так, а вышло этак. В тот самый день, то есть в четверг, когда Алешка собирался, как уговорились, сидеть на станции в кирпичной башенке, поглядывать в окошечко и исполнять несуетную службу водолея, оказался он далеко от дома, от станции, на бегущем на всех парах паровозе, катившем его через просторы в новые места.

Алешка устроился кидать в паровозную топку лопатой уголек. К полному, конечно, неудовольствию Любки.

Пойти в кочегары его соблазнил Афанасий, который к той поре сам давно ездил на паровозе, он говорил:

— Поедешь, сразу повеселеешь. Хандра твоя пропадет.

Работа, верно, не скучная, и все бы ладно было, если бы от жары вдруг не начали пухнуть обмороженные когда-то на ледовой реке ноги.

Боль сгустилась, сошла в жгучий комок. Алешка как раз в тендере был, подгробал уголь. От такой боли он разом осел, мешковато обмяк. Понял: все — отработал. Отъездился. С такой хворью не держат на подвижном составе железной дороги.

Над ним было низкое, очень цветное, живое и горячее небо. Чуть ли не над самым его лицом ночная высота выбрасывала новые и новые охапки звезд, они, избела-зеленые, кружились, подхватываемые какой-то своей тягой. Будто это была сплошная топка и у нее где-то с наружной стороны, у дверок, стоял свой кочегар.

— Занедужил, что ли? — голова машиниста выставилась в дымном проеме.

— Хворь мужикова, что у лошади подкова, подправь и дальше вожжой правь, — отвечал каламбуром Алешка.

— Ну, тогда гляди, — успокоился машинист.

Может быть, и скрыл бы свою хворь Алешка, но... Обстоятельства сложились против него. В конце рейса, когда уже обернулись, был поздний утренний час, к паровозу подошли диспетчер и технический ревизор. В том, что они подошли, не было ничего особого: утренние бригады всегда встречают какое-либо начальство.

Спускаясь по железной скользкой лестнице, Алешка задержался на поручнях, повиснув, примерился, чтобы ловчее ступить на кучу шлака. Но как раз туда же, на кучу шлака, взбежал ревизор. И Алешке в таком положении оставалось только прыгивать в другую сторону, на жесткий шпальный настил.

— Сигай, сигай, — поторапливал весело диспетчер, в прошлом нарядчик земляных работ, он был из тех российских людей, которые, доживя до густой седины, все ловят журавля в небе. Хотят выслужиться.



Алешка медлил. Он прежде зачем-то поглядел раз и другой раз на молодую прямостватную женщину с крутыми, бутылочно-тугими икрами, проходившую промеж платформами: ее-то он и застеснялся и как бы просил отвернуться. Он знал, что прыжка молодецкого у него не получится, а выйдет что-то вроде скинутого мешка.

Женщина же, наоборот, проходя мимо, замедлила шаг и поворотила голову на паровоз.

Алешка еще примерился, все не сводя глаз с женщины. Прыгнуть с такой высоты на шпалу было в другой раз для него делом, конечно, плевым. Но теперь-то! Ноги опухли, в сапогах сплошная боль!

Из сапог, от самых ступней, от подпятков боль разом, этакой невоздержанной струей брызнула к копчику, а оттуда через середку спины — к затылку, было похоже, как будто кто дернул внутри тела за какую-то главную жилу. Таков получился результат от прыжка.

Домой Алешку уже привезли. В казенной повозке, узкой и длинной, которую тянула смиренная пегая старая лошадь с жидким подрезанным хвостом. Молодой фельдшер потер за ушами, подавил на впалый живот, недоумевая, какая болезнь у кочегара. «Переутомление», — определил он и, оставив на столе флакон, наказал Любке, чтобы давала из этого флакона по ложке перед едой. Отъехал фельдшер на той же повозке, в одном месте разогнав по дороге дерущихся мальчишек, в другом месте — дерущихся петухов, сизого и белого.

Алешка лежал так, что туловище его было на кровати, а ноги на табурете. Велел он жене выпроводить детей во двор и указал на свои сапоги: — Стаскивай.

Любка тянула, упершись в угол припечка, а Алешка мычал, ухватив в зубы скомканную подушку.

— Да разрежь ты! — не стерпел он. — Голенище разрежь!

Любка со стянутым сапогом села на пол, а когда размотала портянку, заголосила вдруг:

— И на кого ты нас... как мы жить-то теперь будем?

Портянка была в крови, будто в свекольном соку.

— Не реви, дуреха! Не помираю же, — цыкнул Алешка и, изогнувшись, оперся на локти. — Чего такое? Чего реветь?

В ограде шумели ребятишки, звон их голосов проникал вместе с оранжевым столбом света. Алешка долго, задумчиво, с брезгливостью глядел на свои изувеченные ступни.

Любка наливала из чугуна теплую воду в цинковый таз и все голосила:

— Да что же это? Го-осподи! Чем мы уж так, господь, согрешили? Что же это?.. Как теперь-то мы будем?..

— Ну-у. Чего? — Алешке сделалось уж вовсе дурно, он напряг шею, вытолкнул из себя воздух. А когда обмылся и когда Любка промокнула опухлости полотенцем, промазала гусиным салом язвочки, сказал:

— Не нюнь, говорят тебе. Перемогем. И ничего... Ничего, Любаха. Беда нас сзади, а мы ее... наоборот.

— Горюшко ты мое! Несчастье ты мое, — охала Любка, смотря на мужа влюбленно и страдальчески. — Господи!

— Не нюнь, Любаха! — оживал Алешка. — Я же говорю, беда нас сзади, а мы ее спереду... — Алешка вдруг хохотнул и, ухватив жену за бок, повлек в постель.

— Ты что, ты что? Господь с тобой! — искренне напугалась Любка, отстраняясь и пряча грудь в кофтенку.

Алешке сейчас было важно сделать с женой любовь, да, да, важно очень, потому как она, дуреха, думает, что он, занедуживший, никуда уж не годится.

— Дак это... — сказала Любка. — Про лекарство ты позабыл. Доктор наказывал, чтобы лекарство...

— Лучшее лекарство для мужика — баба.

— Ой, шалопут дуралейный. Грех мой...

После Любка сбегала к соседке, одолжила самогону. Алешка тут же, в постели, хватил стакан и, отказавшись от еды, придвинутой в миске на табуретке, отворотился к стене и проспал до следующего обеда.

Лечился Алешка тем, что Любка находила в овраге, то есть подорожником, лопухом и еще какой-то красноватой растительностью с белыми жилками и прозрачными лепестками. Помимо того, детишки притакивали с болота мох и желтые цветы кувшинок, это тоже шло на лечение. А сверх всего этого Ефимка по утрам мочился на отцовы ноги.

— Ни в какой дальний отъезд больше не пущу, — отрезала Любка, устав обертывать мужа в холстину. — Хоть пусть что. Хоть как бесись. Не пущу!

Всю слякотную осень Алешка проболел. А чтобы не очуметь от безделья, приладилась чинить и перекраивать одежку, сперва своим ребятишкам, потом соседским, а потом и всем, кто приходил из артельного барака. Слава богу, что чему-то научился в ранней юности у татарина Давыдки, деревенского портного, ходившего по дворам. И сказку ребятишкам тут же вслух придумывал про Егора-бегунца. Тот же татарин Давыдка сочинял за работой сказки разные.

— Подарил добрый лесной волшебник Егору, деревенскому мужику, гаманец и сказал: чтобы деньги в гаманце не переводились, надо его трясти. Егору сидеть на одном месте и трясти скучно, стал он бегать. Бежит, а гаманец в штанах сам собой трясется. Весь свет оббежал Егор, повидал всякие земли, к царям во дворцы для разговоров входил, потому как с тугим гаманцом-трясунцом везде пускают...

— Чего ж ты сам к тому волшебнику раньше не съездил? — подавала голос Любка от корыта, в котором обмывала младшую дочурку. — А то по свету побежал, а... толку никакого. Волшебник, может, и тебе бы дал гаманец, как тому Егору. Толк был бы.

— Не перебивай, — Алешка поднимал в пальцах иглу с ниткой. — Ну, тогда... И вот, значит, бежит Егор-бегунец, а навстречу ему старичок, тот самый волшебник. Вот он, старичок, навстречу... Только Егор его не узнал. Спрашивает: откуда и куда путь, добрый молодец? Да вот, отвечает Егор, бегаю, на свет гляжу. А тело твое, спрашивает старичок, не устало? Нет, отвечает Егор, не устало. Ну тогда беги, сказал старичок, а когда, говорит, еще вокруг земли оббежишь, придешь ко мне, и скажу я тебе за то, что ты добрый, незлой человек, один секрет. «Чего же это за секрет?» — захотелось узнать нетерпеливому Егору. А старичок уж и скрылся, только два сереньких ушастых зайчонка на его месте скачут, травку лесную щиплют...

— А куда девался старичок? Куда он пошел? — спрашивал Ефимка.

— Старичок-то? А вот не знаю. Не знаю... — по ходу сочинял Алешка. — Только вот знаю...

— Да он же в зайчиков превратился, — догадывалась старшая дочь Дашутка. — Он же волшебный старичок. Взял и превратился.

— Ага, — торопливо соглашался Алешка, опасаясь новых Ефиминых вопросов. — В зайчиков. А потом уж опять... Потом снова, как еще повстречал Егора, старичком опять стал. Только уж времени много прошло. Долго бегал Егор. Отдохнуть на пенек сел. А тут и как раз тот старичок. Егор говорит: ну, какой у тебя, дедушка, секрет? А старичок его спрашивает: тело твое не устало? Егор отвечает: устало, говорит. А глаза, спрашивает старичок, не устали? Нет, говорит Егор, не устали еще. Ну тогда, говорит старичок, отдохни и еще беги. «А секрет-то свой давай», — сказал Егор. Но рядом уж опять никого, только два тех зайчонка ушастых. Опять, значит, Егор побежал, штанами трясет, гаманец плотнее, ту же становится. Оббежал деревень много, городов. Опять на тот пенек сел. Сидит. Подремывает. А за плечо старичок трогает легонько, спрашивает: глаза не устали? Устали, моргает Егор. Не надоело на мир глядеть? — пытается старичок. Ох, говорит Егор, опротивело. И тут хлопает себя ладошками по штанам. Чего ты? — спрашивает старичок. Да вот, отвечает Егор, гаманец-трясунец куда-то пропал; вот только был в кармане, а уж нет его. Не ищи, говорит старичок, тому, чьим глазам надоело глядеть на мир, гаманец-трясунец не служит. Вот тебе и весь мой секрет. И опять был, да нет его...

Понимали или не понимали такую отцову сказку детишки, но тень ранней задумчивости ложилась на их лица. А спали они на полу, вповалку, на разостланных камышовых матах. Дашутка непременно утыкалась в подушку носом, с раскрытой спиной, Ефимка же и Устинка прятались под рядницу головенками, сворачивались в калачики, распознать их можно было только по выставленным стриженным макушкам — у одного с черниной, у другого белесая.

Свет лампы, стоявшей на полке над столом, делил комнату на две половины; печь и кутный угол с чугунками отходили во мрак, там будто кто тайно жил своей обособленной ночной жизнью.

— Вырастут, — угадывая тревогу жены, говорил Алешка. — Не беднее мы бедных. После Покрова... ну ведь... народ про шубы вспомнит. А вспомнит, так и... шубы чинить, перешивать понесет. Заработок будет. А если что... ну, если что, так мне и недолго собраться и по зимнику на саних в деревню какую поехать, там починочная работа найдется, пшеницей аль мукой оплатят люди. Гаманец-трясунец, э-э, он, понимаешь, только с тем, кто на мир глядит.

— Вот, вот. Оклемался. Гаманец ему. Трясунец. Нагомонился вон уж, натрясунился... Одна я с хозяйством дома не буду, — твердо выговаривала Любка. Она не могла сказать мужу про то, что сухоногий Цу-Синь выслеживает ее в переулке, выкарауливает у ручья в логу, куда она ходит полоскать белье и полотенца. — Нет, нет, прижми хвост. Никуда далеко не поедешь. Ни осенью, ни зимой. Если хочешь, чтоб жизнь не поломалась.

— Ну не дуреха ли? Скажи на милость... — Алешка ссывывал с колен работу, откладывая на подоконник иглу с наперстком, распрямляя с хрустом спину, глядел, как на потолке ворочается густая, почти выпуклая тень.

— Слышь, мать, не знаю, как ты, а я богом все-таки, наверно, не обижен. Чего же? Ребятишки растут, ты у меня есть...

Слаще сахара для Любки такие слова были, чего уж там, бабье ж сердце.

— Только вот ведь бестолковая ты, — уточнял Алешка. — Вот ведь дуреха, — говорил и радовался чему-то Алешка.

Любка, ощущая нежность и сладость, однако, выдергивала на свое красивое лицо строгое выражение.

### Визит околоточного надзирателя

Алешка утягивал супонь на хомуте, запрягая лошадь, ворота были настезь откинута: надо было ехать отрабатывать общественную повинность на постройке деревянно-земляного моста через речку Каменку. Упирался коленом в залощенный оголовок хомута: Алешка не любил слабых дуг.

Он не видел, как вошел околоточный Вербук, лишь услышал, как тот зади заговорил и похлопал перчаткой о перчатку.

— Помогай бог, — молвил ранний гость. — Старательному да в карман, а ленивому да безбожному в прореху.

Алешка оглянулся, ничего не ответил.

— Ты, Зыбрин, как вижу, — продолжал околоточный, — вижу, мужик ты не ленивый. И баба у тебя тоже — провористая, непразднолюбая. А из землянки вот... вот, в настоящий дом-то никак... уж никак не выберешься. Что же это? Э-э... Не одобряю.

Вербук, носивший прозвище Разнозенский, оценивающе повел взглядом по ограде, при этом мягкий его подбородок сместился к плечу, кожная складка со щек перешла на висок.



— Так уж, — отвечал Алешка.

— Слышал я, тесть у тебя в деревне при крепком хозяйстве. А не может чего-то тебе выправиться. В землянке живет либо скряга китаец, либо какой другой иноверец... А православному жить в землянке — последнее дело. Худо, выходит, живешь. А?

Боком глядел околоточный. Глаза у него, верно, разномастные, то есть каждый зенок своего цвета, и оттого-то он один, левый, держал всегда прижмуренно, а глядел только правым. А правый у него изжелта-белесый.

— Вот-вот, будто мужик-то ты не ленивый, а вся награда — землянка, — продолжал Вербук с какой-то своей хитростью.

Алешка не знал, что отвечать. С чего это вздумалось околоточному жалеть его? А напуганная предчувствием беды Любка, будто растрепанная тетерка, уж тут как тут со своими причитаниями:

— Господин хороший! Дураки мы потому что... Грех на нас... С последней копейки живем. Дураки потому что...

На руках у Любки тряслась и ревела девчонка, обернутая одеяльцем. Личико девочки делалось лиловым от натуги, она родилась слабенькой, последыш.

— Ну, ну, ну, — покивал Вербук, стушевавшись, не глядя ни на Любку, ни на Алешку. Несколько сбитой походкой он сошел со двора и пошел серединой улицы. Он обходил свой околоток.

Алешка с тайным чувством, близким к ревности, привстал на колодину, через изгородь проследил, зайдет ли околоточный еще в чей двор, ну хотя бы к бедному Тихоновскому, готовящемуся к свадьбе — к его девкам, которых у него куча, посватались оба Сени (так бабы зовут братьев китайцев-огородников Фу-Синя и Цу-Синя). Глядел Алешка, ждал, но полицейский никуда не поворачивал, фигура его так и держалась середины улицы в летящей, закручиваемой ветром ледянисто-снежной крупке и свернула лишь тогда, когда кончился крайний плетень у мостка, перекинутого на дороге через сырую глубокую яругу, забитую голым тальником.

«Чего он забредал? — озадачился Алешка, сосупая с колодины. — Ни к тому не зашел, ни к этому, а тут... Тут с жалостью своей. К добру ли?»

Любка тоже тянула шею, выглядывала.

— Чего? Чего? Делов у тебя нету, что ли? Вылетела! Ребенка остудишь, дуреха! — заругался Алешка.

Чтобы развеять нехорошие думы в голове, а в душе разогнать смутность, он покликнул соседа Пыхова, барашковая белая шапка которого показалась над тыном.

— Сосед! А сосед, слышишь?

Шапка тотчас осела, пропала за глухим тыном. Ага, таится. Смутность оттого усилилась. Алешка постоял еще, прежде чем вспомнил о том,

что ему надо делать, — да ведь на Каменку он собрался ехать, общественную повинность справлять.

На дороге появился пестрый табунок тихоновских девок во главе с самой Тихонихой, маленький безгубый рот которой был плотно сомкнут с выражением скорби и мстительности.

— В церковь-то что не идешь? — спросила она. — Грешим мы все на этом свете, грешим, го-осподи.

Вышла из своих ворот Стюрка Пыхова, на ней цветная, из мягкой шерсти шаль и узконосые белые чесанки, она тоже следом за Тихоновскими направилась в сторону церковной золотой маковки. Скорыми мелкими шажками середкой улицы просеменили китайцы Сени, оба в одинаковых черненьких полушубках, отороченных по низу, и пегих шапках из собачины.

— Не ехал бы, — сказала Любка, глаза у нее опять завлажнели. — Сегодня же моленный день. Детей на моленье водят. Вместе бы и свечу в церкви поставили. А то как бы греха не навлечь. Вон ведь являлся этот змей-то, выведывал чего-то...

— Да пошли вы все! — Алешка впрыгнул в сани, ухватил вожжи и понужнул лошадь так, что она тотчас вынесла на край слободки к лесу, который подстыл на ночном морозе, взялся наледью.

А через сколько-то дней, когда слободка справляла женитьбу обоих Сеней, то есть Фу-Синя и Цу-Синя, на старших дочерях Тихоновского — у всех было мнение, что женихи, конечно, не ахти какого вида, но с достатком и не пьянчуги, не чета барачным, которые как перекаати-поле, — Вербук наведлся к Алешке во двор заново. Может, он на свадьбу шел, а может, уже со свадьбы. Было это незадолго до начала поста, когда и свадьбы-то, казалось, не должны были справляться, но женихи с чего-то не хотели ждать другого времени, да и со стороны невест наблюдалось нетерпение: дескать, упусти срок, а там, глядь, что-то да и выйдет не так. В общем, свадьба игралась, и Вербук шел не то туда, не то оттуда. На малиново-вишневых скулах и на таком же малиново-вишневом подбородке довольство (пожалуй, оттуда уже шел), глаза в расслабленном прищуре. Алешка как раз был перед двором с лопатой.

— А ты, Зыбрин, отчего не там? Э-э... — выдохнул он на мороз тугую струю седого пара, и веки его утянулись куда-то под брови, оголив оба выпуклых зрачка. И Алешка увидел, что они у него, зрачки-то, и впрямь разномастные: один изжелта-белесый, другой голубой в зеленую крапинку, ну совсем как дроздиное яичко.

«Ему бы уж наоборот, — подумалось некстати Алешке. — Наоборот бы... Правый глаз прятать, а с этим выходить на люди».

— Не идешь туда — чего? А? Али тебя не звали? По-соседски... Неуж не звали? Ах, анафемы, подлецы! А ну-к, идем. Ну-к! Ишь чего! — околоточный принялся этак подталкивать Алешку и в бок, и в спину.

Любки не было дома, и Алешка подумал: «А может, и верно, сходить, горло прополоскать». Однако его смущало такое внимание околоточного, опять же ни с того ни с сего — ну прямо как кум-приятель.

— Да нет, не надо бы, Мирон Миронович, ну их... Ладно. Не звали, так уж что. Ну их к лешему, — слабо возражал Алешка, отходя к изгороди и опираясь на лопату.

— Чего? — Вербук опять выкатил оба выпуклых глаза, но тут же, как бы вспомнив, приспустил левое веко. — Нет, не ладно! Порядок быть должен. По-соседски ведь. А то что ж выйдет? Если уж так... Да я им, подлецам! Рожи не нашего бога! Девоч православных берут! Пусть всем выставляют магарыч! Объявляю вот. Всему городу! Деньжишки у них есть, карманы набиты. На русском православном мужике нажились...

— Ну их, Мирон Мироныч...

— Что, не хошь? А и верно, верно, черт с ними! Правильно, Зыбрин, не ходи. У меня вот тут что-то... что-то булькает, — с этими словами Вербук похлопал себя по ляжке, то есть по карману шинели, сунул туда руку, извлек плоскую белую фляжку. — Давай-ка, давай-ка стаканы. Пошли в избу. Пошли. Принимай гостя.

Околоточный все оглядывался на Алешку и потому в сени проходил боком, и по сеням шел боком, и на скамейку за столом сел боком, не сняв шапки.

— Баба-то твоя, говоришь, шитье пошла искать? — переспросил он, все вглядываясь в Алешку.

— Шитье, — отвечал Алешка.

— И... э-э, много она тебе шитья находит? Много ли ты золотых-медных с такого барахла... с ветошь берешь? — Вербук спрашивал и, приоткрывая озорной свой левый глаз с зеленым крапом, мигал им на печь, где, шатаая дыханием занавеску, хоронились от такого гостя ребятишки. — А?

— Да вот...

— А? Много грошей добываешь?.. Если много, то отчего ж тогда из земляного вот этого... из вот этого своего чертога никак не выберешься? Вот что...

— Да уж, как оно...

— Вот что. Разговор у меня к тебе такой... — Вербук уже вовсе протрезвел, и даже с лица его спала малиново-вишневая краска. — Вот зачем я к тебе... Ты ездил на соленое озеро с обозом, соль там брал...

«Про соль, про поездку вспомнил. Это ж было когда!» — подумал Алешка, теряясь в догадках относительно того, к какой же это линии подводит хитроумный дьявол. Неспроста, значит, захаживал прежде. Что-то вынюхивал. А что?.. Э, верно... что можно вынюхать? Ну, ездил на соленое озеро, ну, привозил соль. Дак по найму же. Лавочнику привозил...

— И за дегтем ездил, — напомнил Вербук доверительно и при этом вытянул левую руку, пошевелил указательным пальцем. Словно собирал-



ся на что-то указать за окном, против которого сидели. — Деготь тоже товар торговый. Зимой он не нужен, а лето пришло — без него мужику никак. Ездил, привозил...

«И про это ведаешь? Ну дак что, если ведаешь? Ездил, привозил. Опять же по найму, опять же лавочнику проклятому, не себе же. Не уво- ровал», — так соображая и не видя за собой никакой черноты, Алешка, однако, испытывал пакостное настроение.

Вербук встал, прошел к печи, отогнул край занавески, взгляделся в душный, спертый, пахнувший детской плотью полусумрак.

— Вишь... — укорил он Алешку. — Вишь, сколько у тебя их, голо- пятых. Как раз я к тому... К тому, что, если б ты поехал и привез соль и... и ни в чью лавку не отдал. А?

Околоточный стоял у печи, но уж отвернувшись от нее, и глядел опять же на Алешку.

— Не отдал бы, а сам бы, ну, это, значит, продал...

— Как же можно?.. — удивился Алешка и уставился в желтый пра- вый глаз Вербука почти дерзко, почти осудительно. — Как же можно чужую соль продавать заместо своей?

— Вот какое у меня к тебе, Зыбрин, дельце. — Вербук задернул за- навеску, шапку с себя снял, помотал ею перед лицом, отошел от печи, сно- ва на скамейку сел. — Мужик ты, как я присматриваюсь... давно уж при- сматриваюсь, правильный ты мужик. И совестливый. Закон блюдешь. Не в пример другим... Я слышал, купчишка китаец Фай-Зу опять берет мужиков в извоз. К тебе собирается прийти и звать. Как же! Торопится, паршивый. Зимняя дорога наладилась... Не ездишь. Отчего? А вот скажу. Достраиваю я на базаре свою лавку. Видел уж небось? С этого краю ко- торая... Вот и... Не ездишь для Фай-Зу. Для меня будешь ездить. И сам же продавать будешь. Лавочником будешь. Купец-удалец! В хоромину переберешься. В два этажа... Потому как мужик ты правильный, закон блюдешь, бабу в богобоязни содержишь...

После такого оборота у Алешки во рту сделалось вовсе сухо и даже горячо. Вербук, прежде чем уйти, еще постоял у порога, показывая паль- цем на печь уже строго-осудительно:

— Нарожать можно, это не дело. А вот чтобы это... по-человечески содержать, э-э...

Когда шаги его за окном стихли, Алешка принялся думать, но спер- ва допил оставленную гостем в стакане водку, чтобы привести себя, свои думы в соответствующее моменту равновесие.

### Купец-удалец

Выезжал теперь за город Алешка на четырех подводах, одной своей и трех Вербука.

Кто знает, может, и быть бы ему купцом и жить в высокой, в два эта- жа, хоромине под жестяной крашеной крышей, и стояла бы эта хоромина



не между гнилыми, в летние полдни дающими сизую марь болотинами, не в соседях пыхающегося водокатчика Пыхова да замыканного несчастливца Тихоновского, а где-нибудь ближе к площади, к каменным торговым рядам, и тесть в деревне вгонял бы мужиков в робость своим рассказом: «Зять-то у меня, Алешка, гляди-ка ты на него, этакого, круто забрал, круто, не достать...»

Не сужу, насколько часто навещали его голову честолюбивые мысли насчет иерархии, то есть насчет личной, так сказать, высоты положения, да и навещали ли? Впрочем, ведомо ему было, что плох солдат, какой не тетешкает тайную мечту выйти в генералы. И как бы двинулась судьба дальше?

По субботам Вербук честно делил выручку на две половины, одну ребром толстой шишкастой ладони раздумчиво сдвигал в тень, подальше от лампы, к коробкам, чашкам и стаканам, другую же этак раздумчиво, сворачивая один глаз к Алешке, делил на три части и, указывая гнутым пальцем поочередно на все эти три части, говорил:

— Это тебе, Зыбрин, за старание. А это за то, что не воруешь. А это за то, что в купцы метишь, — и встряхивал щеками, хохоча. — Э-э, вижу, вижу, метишь!.. А вот тебе добавок, — и доставал из-под стола бутылку. — После бани выпьешь. Бери. Купцу после бани выпить все одно что старухе к попу сходить за причастьем.

Чем бы дело обернулось, иди жизнь так, как она наметилась у Алешки с Любкой, — неизвестно. Если бы не наступил в своей череде 1905 год. Наступил и все поломал. Вернее, не сразу, не с прыжка одного...

Но — по порядку. Рождество Христово пришло в свой срок на редкость спокойно и благостно. Мороз навесил на крыши, на изгороди, на пожарную каланчу голубые кружева. В безветрии даже дым из труб казался замороженным, он не двигался, а стоял над городом (поселок к этой поре уже стал городом Новониколаевском). Дым как бы стоял голубыми столбами, на этих столбах держалось белесое ровное небо. И колокольный звон, идущий враз от всех церквей (отстроились-то ведь еще церковки: и за вокзалом, и на крутолобье холма возле Каменки, и на речке Ельцовке), игольчато проходил сквозь уснувший воздух, ударялся в небе о голубые замороженные столбы, хрустко, стыло раскалывался и где-то уж далеко осыпался на землю серебром.

Любка ходила в церковь с Пыховой Стюркой, там аккуратно и самозабвенно отстояла благостную службу и возвратилась домой обновленной, просветленно-уютной, пахнувшей жженым воском и просвирой, на ее вздернутых бровях, ресницах, по окаемку мягкого шерстяного платка самовязно пушился белый куржак.

Она расстегнула пуговицы дубленой короткополой шубейки, развязала платок, но почему-то не разделась, а присев так, в одежке, на скамейку между дверью и шкафом и отдавшись божественному чувству,

ровным, истомно-счастливым взглядом обводила передний угол, смотрела сперва на божницу, убранную в свежее, на морозе выбеленное, расшитое полотенце, потом на притихших детей и на Алешку, тоже оробело-притихшего.

Помнил Алешка, что такой она была, когда ходила последним сыном, и подумал сейчас про то, что уж не понесла ли баба сызнова. «Ну, если еще сына, то... ничего», — успокоил он себя.

Дашутка и Устинка еще до света бегали по соседям славить, залезли на печь и, пряча под зад настывшие, избитые пятки, шумно и весело рассказывали матери про то, кто что подал. Лампасеек, говорили они, по целой горсти всыпали им в карманы молодые хозяйки обоих китайцев Сеней, а сами Сени и того лучше — на монетки не поскупились.

Так же до света прибежали и к Зыбриным соседские дети, тоже славить, им Любка раздавала сладкие крахмально-мучные орешки, для того специально наготовленные накануне, раздавала с присловьем, захватив из решета тех орешков и в одну горсть, и в другую: «Дай-то вам бог красных годочков, сколь по весне на черемухе цветочков...»

По всему вербуковскому околотку за всю неделю Рождества, как он сам объяснил, никто никого не пырнул ни вилами, ни ножом и не пришиб чем-либо увесистым. Верно, мелкие непорядки были, но в разряд происшествий никто их не ставил. Например, такие: кузнец с Каменской, Егошин, в пьяном очумении босой бегал по улице, по снегу, за своей бабой. А ямщик Самсонов выхлестал жердиной в своем доме окна вместе с рамами...

И еще такое событие: хромой инородец по имени Чурик, живущий в артельном бараке, опять же с водки, залез на трубу, там ревел по-своему, не по-русски, внизу народ, сбившийся толпой, потешался, пришлось мужиков посылать лезть за ним, ссаживать его оттуда, босого дурака, едва не разбившегося.

И больше почти ничего такого, пожалуй, не случилось, что можно было бы помнить или в историю записать.

Но чуть ли не сразу после праздника поползли по городу слухи, что в Петербурге народ убил царя. Пыхова Стюрка влетела с лицом осохшим, белее снега.

— Неуж правда? Да это ж светопреставление наступит! Люди друг дружку поедят.

Пришел Тихоновский, у порога, согнувшись под притолокой, замедленно стянул с головы шапку, посмотрел на Алешку разжиженными, с вопросом, глазами, зачем-то пожаловался на хворь в животе:

— Вот тут дерет. Вторую неделю... Так уж дерет... — И спросил: — Что будет-то, если так... про царя-то?

Потом поползли обратные слухи: царь пострелял много народу, а сам-то живехонек и здоровехонек, крепенький, как огурчик на унавоженной грядке в росу.



Опять прибежала напуганная, с округленным сухим ртом Стюрка и, таращась немигающими глазами, ждала, что скажет Любка. Ведь одно дело, когда какой-нибудь казак или жандарм стрельнет по живому человеку, а тут сам царь — по целому народу. Может такое быть или не может — кто знает? Нет, нет, не может. Господь пусть разберет.

Заглянул снова Тихоновский, он стал опять говорить про свою хворь, вот дерет, и спасу никакого, а тут на свете такое случилось, а у него еще четыре девки не пристроены, время же ох крутое, туманное, и никому не пожалуешься.

Любка давно в бараки не ходила, искать заказы на шитье уже не надо ей было (кормились, слава богу, от лавки), однако собралась и пошла. Надеялась она там услышать какие-никакие новости. Вернулась без особых новостей. Только и услышала про то, что уже знала: ну, то есть про то, что в престольном граде сам царь пострелял уйму народа.

— Может, поди, еще врут, — в истовой надежде зашептала она Алешке, когда легли спать. — Напраслина, может... людям ведь лишь бы языками помолоть... Людям ведь... им что, так себе. Что ветер дунет, то и ловят. Может, говорю...

— Будет! «Может, может!»! Чего «может»? Не ведаешь, так и молчи! — вызверился Алешка и натянул одеяло на голову, прячась в душное тепло. — Языком бы тебе... молоть бы тебе... самой бы тебе молоть меньше! Спать хочу, не дунди в ухо.

Любка помолчала, но, поколебавшись, спросила опять шепотом:

— Дак это... Алеш, что же тогда, если не врут? Если оно все так, тогда... что же?

Алешка не отозвался, спящим притаился. Но Любка по натужному затылку его чувствовала, что муж не спит — натужность и жар в затылке были как у лихорадочного.

— Слышь, что я говорю, Алеш. Народ-то, когда... когда обозлится... В народе зла и без того больно много, а веры мало. А когда совсем-то, тогда уж что? Жить тогда как будем? С ребятишками — куда? — Любка еще что-то роняла в глухой мужнин затылок, потом краем рубахи выдавила у себя из-под носа возникшее мокро, развернулась на спину, долго глядела в смутно, серенько провисающий потолок, который в спертой темени казался колеблющимся, растворенным, как и сама темень. Через оконца вдавливались трескучие непонятные ночные звуки, оттуда натягивало холодом. К утру всегда жилище успеваает выстудиться, ладно, что ребятишкам всем есть место на печи.

А Алешка, таясь от жены, держал в голове тот же пугающий, ослабляющий, вгоняющий в испарину вопрос: «Когда если так, то... Если народ-то... что?»

Вербук вовсе перестал заглядывать в лавку, доверив вершить дела полностью Алешке. Когда же выручку пересчитывал, то на приказчика на своего нацеливал мутноватый глаз, наполненный дремучей думкой,

и голову пригибал, будто изговлаивался боднуть. Он теперь пил чаще и больше.

— Ты, Алексей Алексеевич, насчет моей коммерции не распространяйся. Язык не чеши, — предупреждал он. — Ни к чему это. Насчет коммерции... язык-то чесать. Спросит какой дурак, говори: мол, сам себе торгую, сам себе и денежки беру. Мое, мол, одиночное предприятие. Так вот...

А по весеннему теплу, когда обсохли от талой воды северные склоны бугров, а овраги вспучились белой черемушной пеной, Вербук прислал команду арестантов с топорами, фуганками, стамесками и прочей плотницкой и столярной премудростью. Эта самая команда помогла Алешке в полторы недели завершить во дворе, промеж пихтачом и черемушником, пятистенник, который он сам начал еще давно.

Четыре окна в переулок, четыре в улицу, на всю слободку. Обзорение круговое. Хоть туда, хоть сюда верти головой хозяйка, стоя посреди просторного дома.

В соседстве с таким зыбринским пятистенником дом Пыхова поосел и сразу слинял. Стюрка зашлась тайной завистью, и сухое ее лицо по этой причине пуще окостенело, она перестала прибегать к Любке, а сам Пыхов наоборот — на дежурство ли шел, с дежурства ли, останавливался за изгородью, окликал Алешку, здоровался и, нюхая сладкий смоляной запах, исходивший от свежеструганых бревен и от разбросанных щепок, желтевших ломтями на земле, говорил:

— Ты, сосед, если в помощи, это... Если нужда в помощи какая, то, это... зови. В соседстве не помочь — последнее дело.

В эти весенние дни, находясь в счастливо-озабоченном перевозбуждении, Любка и передохнуть не садилась, и подремать не ложилась. До солнца она уж во дворе, весь день — тоже, вечер — тоже. Подбивала лопаточкой мох меж венцами, скатывала к поленнице бревенчатые обрубки, размечала, до какого места натянуть палисадник, и обдумывала, что в палисаднике посадить — малину дикую, которую принесла из леса, или кустик смородины с рябинкой. Все кружилась, кружилась, находя разные дела. Как же, наконец-то! Настоящий дом. С крыльцом высоким. С наличниками резными. Опять же — ставни... Без палисадника — не то. И без рябинки под окном — не то.

Алешку забавляло, что Пыхов теперь с ним заговаривает не покровительственно, а чаще угодливо, хотелось легкомысленно присвистнуть и подмигнуть озорно: дескать, вот так-то, дорогой сосед. Не уяснил еще себе Алешка, что бы он этим присвистом и подмигиванием выразил соседу, но понимал, что тот недоуменно-оробело отсунулся бы от изгороди и стал бы вглядываться в Алешку.

И Алешка крепился, крепился, а потом взял да и присвистнул, свернув язык свой трубочкой. Так, ни с того ни с сего. А сосед, должно, не понял Алешкиного озорства, он, должно, подумал, что Алешка на ворон





свистнул, и потому перевел глаза на дерево, куда слетались тяжелые птицы. Кинул в них Пыхов щепку, подобранную в ногах.

— Развелось, язви их, — сказал он. — Скоро и курей станут таскать, не только что яйца. Хуже коршуна. Давче иду, это, с дежурства, слышу, орут вон там, в леску. Чего это, думаю. Свернул в лесок, гляжу. Собачонка под осинкой прижалась, скулит, а они на нее сверху да сверху. Забили бы ведь вконец, стервы.

Подошел Тихоновский, прислушался.

— А-а... У меня был случай. На пашне было, — встрял он в разговор. — Синички там напали...

— Ох, синички твои, — возразил Пыхов, он напоказ, демонстративно не уважал Тихоновского за его никчемность. — И что они, синички? Сравни-ил!

— Дак напали тоже, — отвечал Тихоновский робко. Он прежде жил в хлебопашеской деревне Куроземки, что в степи, недалеко от станции, и в рабочую слободку решил переехать вместе с избой, когда уже окончательно понял, что ему с его девками на пашне будет гибель, а в рабочей-то слободке, среди текучего, такого же неприкаянного люда, может, еще и поживет, может, еще и пофартит ему.

— На кого они могут напасть, твои синички?

— Дак на ястреба, — угрюмо сказал Тихоновский почему-то с затяжным выдохом. — Пахал я как раз... а он, ястреб, из-за леса как раз вывернулся... Синички стайкой с пашни поднялись — и на него. Гнали аж до самого болота. Иная и ущигнуть изловчится, перо выдернет... Людям эдак-то куда! Не смочь. Против чего как — люди слабы. Люди не умеют вместе на беду навалиться. А птахи, выходит, могут. Малые, в мизинец только-то, а вон ястреба одолели. Когда дружно, в согласьи, навалились...

— Про что это ты? — озадачился Пыхов.

— А про то. — Тихоновский глядел вдоль улицы угрюмо, одергивая латаный, бесцветный свой пиджачишко. — Про то, что мы, люди, выходит, супротив синичек-то — куда-а. Кто в довольстве, а у кого беда, и нет подмоги.

Алешке же не хотелось вникать в этот пустой разговор, он сложил еще язык трубочкой, еще присвистнул и пошел по двору мелкими вольными шажками. При этом он еще и плечами поигрывал и всем телом крутил, со стороны казалось, будто он приплясывает, а может, он в самом деле пробовал приплясывать, потому как причины-то есть: весенний день яркий, а в крови молодость и лихость.

После полудня в лавку к нему заглянул Афанасий. До того недели три не заглядывал. Физиономия нервная, горячечная, щеки будто всосаны изнутри. А в наперекось поджатых губах опять же дерзкая усмешечка.

— Здорово, куркуль! — воскликнул он и поднял над головой черную свою ладонь, словно от чего-то загорживался.



— Чего это тебя так подтянуло? — спросил Алешка, не принимавший подтруниваний над собой, а потому встретивший друга без особого расположения.

Афанасий вел себя странно: вглядывался себе под ноги, обстукивал каблуком сапога пол у стены, как бы пробовал крепость половиц. И в том же задиристом тоне:

— Как живешь-можешь? Мошну, поди уж, набил до отказа. Гильдию тебе пора присваивать. Разряд. Хо-хо!

— А с чего это зубы ты скалишь? — тоже задиристо спрашивал Алешка.

— Чего? Не понял, — прищурился Афанасий.

— Зубы-то, говорю, так чего?... Весел больно. Или пофартило в чем?

— Ох, Алешка, пофартило! Так уж пофартило! Дни пошли!.. Такие веселье, что аж... — Тут Афанасий опять постучал каблуком по плахам. — Верно ты... Пофартило, что аж и не обсказать вот так сразу.

— Да что-то по тебе не видно, чтобы... — захохотал Алешка.

— Чего не видно-то?

Алешка ткнул пальцем в воздух, едва не достав Афанасьева носа.

— По образу, говорю, твоему-то... Подтянуло... Не видно, чтоб тебе пофартило. Веселью откуда твоему быть?

— Ох, Фома неверующий! Куркуль. Невесело, мой друг Алешка, может быть только твоему компаньону Вербуку да еще... ну, тебе, — Афанасий, зажмурив глаза, раскатился тоже хохотом, рот его при этом сместился на щеку.

— Ты Вербука не трогал бы. Он сам по себе, я сам по себе, — Алешка обиделся.

— То-то вы оба с ним по себе! То-то! Ну ладно, черт с тобой. Как знаешь, так и живи. Только вот... — Афанасий будто не заметил Алешкиной обиды и еще постучал каблуком о половицы, перегнулся и глянул за Алешкину спину, за прилавок. — Ладно. Не за тем я к тебе, чтоб агитацию проводить. Ты вот что. Задержись-ка тут сегодня дотемна. Дело есть. Надо кое-что... Положить на время кое-что. В общем, на сохранность. Обстоятельства такие... Понял? Чтобы... сам понимаешь.

— Чего положить? — Алешка почувствовал уж вовсе раздражение, его раздражала этакая Афанасиева манера команды давать.

— Знать будешь, состаришься, — опять хохотнул Афанасий. — Обстоятельства... Ломик у тебя найдется? Доски вот эти приподнять... А? Компаньон твой сюда не заглянет?..

— Этого еще не хватало. Поднимать пол стану тебе. Ты в дурака играть будешь, а я тебе... Еще чего! — Алешка соскользнул с прилавка, двинулся с кулаками на Афанасия.

— Ну ладно, я пошел. — Афанасий все будто не замечал Алешкиного волнения, выставил голову из двери наружу, тем же командным

тоном сказал: — Насыпь-ка мне твоего товару, чтобы вон те, которые по ту сторону площади стоят, не подумали чего лишнего. Вишь, сюда, стервы, глядят. Насыпь, я понесу. За покупкой, мол, заходил. Как там ребятишки? Как Любка? Здоровы? Я как-нибудь, дел поменьше станет, забегу, посидим за бутылкой. Обскажу обстоятельства. А сегодня-то, как стемнеет, так приготовь место... Вот эту, крайнюю, доску отверни, и туда подсунем...

— Ну, ну... иди, иди! — взъярился Алешка. — Указания мне тут будешь делать еще! Урядник нашелся. Какие доски ломать, какие не ломать. Другому кому скажи. Иди, иди! Да монету положи за товар.

Вытолкнув Афанасия с его покупкой под мышкой за дверь, Алешка в волнении стал ходить от стены к стене. Три шага туда, три шага назад, все ощущал горячую волну, прихлынувшую в правый бок. Честно сказать, не только заносчивость Афанасия не нравилась, а и то, как тот смотрит на Любку. Прямо-таки глазами стрижет. Будто у него к ней есть какая-то тайна, будто есть ему что ей сказать относительно ее судьбы.

А что он может ей сказать, несчастный? Свою судьбу хоть бы наладил!

Ишь чего! Распоряжения тут будет давать! Урядника из себя будет строить! Хозяина! Фарт у него! Хо! Только и виду, что усмешечка. А кроме-то? У самого, брат, не выходит жизнь, так уж не лезь с насмешками к другим. Что? А вот и то. Не лезь, не мешай людям, не выкаблучивайся...

Намерение к Любке имел?.. Признайся, признайся! От ворот поворот получил? Получил. Признайся. Чего же еще выкаблучиваешься? Каждый может это, с претензиями, а вот ты сперва семью создай, детей заведи, покружись, повертись, кормить их надо, они рты все разевают, их обушь, одеть надо. То-то!

Так Алешка раздражал себя. А когда мрак над базарной площадью вовсе уплотнился и стало ясно, что покупателей больше уже не будет, он вышел за дверь, стал оглядывать улицу. Домой идти не хотелось, ожидание тайны удерживало его.

Редкие силуэты горожан, возникнув в дымно-пурпуровых пятнах фонарей, тотчас исчезали. Через площадь время от времени тревожно (так Алешке показалось) прогромыхивала одиночная повозка. Возница понукал, подстегивал лошадь, спешил проскочить освещенное место, юркнув в один из переулков, в темноту.

Алешка отлично помнил, как однажды зимой Афанасий так же взвинченно прибежал в лавку и велел (не просил, нет, а вот именно — велел) припрятать жестяную коробку, Алешка не стал ни о чем расспрашивать, пришел, сунул в тамбуре под ящики. Через день или два Афанасий явился впопыхах, с ним были двое деповских, они забрали ту коробку, унесли. И вот теперь опять прибежал, опять, видишь ли, что-то ему такое требуется. Что? Услужи, друг-приятель, землячок.

Алешке — что? Не убудет. Услужить можно, только ты не выкаблучивайся, команды свои оставь при себе, не лезь в душу с учениями-поучениями.

Алешка прислушивался к звукам на площади. Вон снова прогромычала телега, затихла она где-то в левой стороне, должно, в глубине той улицы, что ведет к станции. Процокали копыта — то верховые.

Сходил Алешка за угол по своей нужде, потом, от нечего делать, прошел краем оврага. Да, да, ему неинтересно, что там за дела у деповских рабочих, у него свой интерес. И пошли они все подальше! Однако все же... все же не мог он так, чтобы самому по себе быть. Натура от природы такая. Тоска временами снова начинала одолевать душу. Чего бы еще такое в жизни сотворить, а? Чего бы? Лавка, конечно, дело славное, куском хлеба обеспечивает, но... Широта, где широта?

В красноватом свете фонаря, висевшего на столбе за площадью, промаячили силуэты ночного казачьего патруля. Алешка остановился. Ему почему-то не хотелось быть замеченным, он вернулся в лавку.

Но в лавке сидел Афанасий, сидел вполуразвалку на ящике, курил, успев напустить плотную сивую завесу. Мутный свет керосиновой лампы падал сверху, делал его пятнисто-красным, омоложенным.

— Ты... как? — остановился Алешка на пороге. — Откуда?

— А все так же. Оттуда. Ну... ты вот где-то гуляешь, а я тебя жду. — Афанасий поднялся с ящика не раньше, как докурил самокрутку, все сидел, сваясь на локоть, и снизу ловил Алешкины глаза своим обострившимся, все так же насмешливым взглядом.

— Обещал быстро, а сам... — не выдержал Алешка. — Ладно, ну, что такое... что там у тебя? Давай.

Афанасий отлепил от губ папироску, она у него была прилеплена в самом уголку, в зевке, заплевал, придавил сапогом и как-то уж совсем юрко, по-рыбьи, скользнул в дверь, в сырую темноту кустов, меж мусорными коробами, и почти тотчас вернулся, держа в обеих руках по длинному свертку. Затем скользнул в темь, за короба, с проворностью появился снова, опять же нагруженный узлами-свертками.

Алешка вспотел, пока рассовывал все это под полом, вытягивая спину и ползая на четвереньках. Его подмывало спросить, что это, однако он делал вид, что ему все известно и ничего тут такого-этакого, то есть хитрого особо, нет. Только когда на место уложил плахи, пристукав ногами, заколотив гвоздями, а на плахи опять же составил ящики, на ящики мешки, он полюбопытствовал, вытирая мокрый, в подтеках, лоб:

— Как же это ты все пер? Неужто на горбу? — Алешке сделалось весело и свободно.

— Зачем на горбу? — в тон ему отвечал Афанасий, свертывая из газетного мятого лоскутка новую папиросу. — Лошадка для того. Слышал, бричка проезжала? Вот на ней я как раз... А тут, гляжу, эти самые... казачки своими папахами мельтешат. Ну, пришлось... в укрытие сигануть.

— А лошадь с бричкой куда?..

— Что — бричка? Что — «куда»?

— Куда она девалась-то?

— Ну, бричка как шла, так пусть и идет своим ходом. — Афанасий изобразил рукой в воздухе круг. — Там же человек. А тому человеку без этой поклажи казачки — как свои братья, хоть обнимайся. Не боязно.

— Для чего же тогда эта... поклажа... — захохотал Алешка, прикидываясь глупеньким. — Хе-хе... Для чего, если с нею боязно казаков, а без нее не боязно?

Афанасий лукаво подмигнул подвижной ломаной бровью и рассмеялся с той же лукавостью:

— Э-эк, Алешка, веселые деньки наступают. Начнет подкидывать — держись.

— Кого это подкидывать-то? Меня, что ли? Да уж, это... наподкидывало, хватит бы. Или тебя? Да тоже ни к чему. Наподкидывало и тебя. Кого же еще?

— А... всю Россию матушку! Всю Россию! Наподкидывало, говоришь? Хватит, ты говоришь? Э-э, да тебе не понять, Алешка. Не понять. Куркуль ты. Прыщ, который в чирей вырасти хочет.

— А чего ж тогда пришел ко мне? К чирью, к прыщу.

— А к кому же мне? Ты, думаю, человек-то остался. Хоть и к Вербуку поближе жмешься, — с той же задиристостью сказал Афанасий. Он был несколькими годами старше Алешки, из деревни на железную дорогу ушел раньше, оттого и держался так.

— Я тебе уже сказал: Вербука не трогай, — отвечал Алешка. — Понял? Мирон Миронович сам по себе, как знает, так и живет. А я сам по себе. И мне вовсе неважно, про что ты здесь. Никак не занимает.

— Ладно, ладно. Уйми в себе пыл. Не щетинься, — шутливо поднял ладонь Афанасий. — Исхудаешь. Я знал одного такого, все щетинился, исхудал от гордыни, а истощенного баба ласкать перестала. И тебя Любка перестанет, коль так-то. Механизм в паровозе есть такой, пружинка, все закручивается да раскручивается... Знаешь?

— Да не лезь не в свое дело! К кому я, чего — не твоего ума. Каждый сам по себе живет и свою дорогу ищет, — надвинулся агрессивно Алешка.

— Ну и куркуль. Вот уж куркуль ты. Прямо-таки... Дорожка твоя. Ой-ой! — прихотывал Афанасий. — А знаешь, тебе мои старики поклон передают. Вчера письмо от них пришло. Зовут в деревню.

— Кого зовут? — остановившись, Алешка убрал кулаки.

— Да и меня, и тебя. Вместе. Пишут: пахали бы пашню, говорят. Рожь сеяли бы, говорят... А ручищи-то у тебя, брат, железные. Так, глядишь, при случае ты и зашибить можешь. Тебе вместо забавы.

— В другой раз станешь злить — ребро вышибу, — пообещал Алешка.

— Поберег бы силушку, пригодится для других дел. Ну, для того же Вербука, например. Или... что? — Афанасий отвернулся и шагнул за порог.

— Ты мне, говорю, им не тычь. Он сам по себе, я сам по себе. Понял? — крикнул Алешка в пригнутую спину Афанасия. — Коммерция у меня своя. Сам торгую, сам себе и денежку кладу в карман. Понял?

— Ага, — с каким-то сладким удовольствием прикрикнул Афанасий и остановился. — Ага. Коммерция своя. Компаньон тебе подарок сделал за здорово живешь. Но... бог с тобой. Матушка моя жалеет нас обоих. Говорит, все, кого город втянул... все, кто обольстился городом, говорит она, непременно пропадут. Так что мы с тобой, землячок, вместе пропадать будем. Хо! Согласен? Или надеешься обособленно удержаться? Как на полавке. А?

— А чего не удержаться-то? Удержимся, — к Алешке тоже вдруг пришла охота отвечать с подковыркой. — Ты вот как сумеешь... А мы на полавке, верно.

Афанасий и Алешка шли по ночному городу. Дома, изгороди, обросшие тьмой, набухнув, сдвигались впереди, образуя непроходимые тупики. Лай собак в оградах выявлял не столько песью прилежность, сколько тоску.

— А знаешь, от чего, говорят, в городе-то погибель будет? — доверчиво подсунул плечом Афанасий.

— От чего? — отвечал с тем же дружеским отношением Алешка, на него, с его простоватыми чувствами, доверие всегда действовало размягчающе.

— От разврата. А коммерция, деньги — разврат первый. Выходит, ты и первый ко дну... Уловил? Хо! — зареготал в самое Алешкино ухо Афанасий.

— Напуга-ал! — воскликнул Алешка и даже похлопал себя по бокам. — Ой, мама моя родная! Как же мне теперь? Может, ты кинешь мне какое корыто, чтобы выплыть к берегу? Ой!

— А эт смотря к какому берегу наостришься, — с той же шуткой отвечал Афанасий. — Если к тому, ну... где твой этот... этот компаньон, ну, так не корыто, а камень, чтоб понадежнее потянул... к рыбкам. А чего ж?

Опять зацокали копыта. Улицу, из переулка в переулоч, пересекал казачий патруль. Задний верховой, тот, к седлу которого был приторочен багряный фонарь, попридержал коня, высветил мимоходом прохожих, ничего не сказал, натянул поводья, лошадь скакнула и исчезла, рассыпая в темноте удары подков.

Тут Алешка с Афанасием расстались, Афанасий пошел к станции (ему предстоял рейс до Юрги), а Алешка свернул в слободку, куда по скакали казаки.

## Особый разговор

В городе шли погромы. Жители слободки связывали это с амнистией уголовных. Может быть, может быть — кто знает? Слава богу, до слободки эта беда еще не дошла, но там, ближе к станции, не случилось ночи, чтобы низкое черное небо в какой-то своей части не багровилось пожаром. Сгорел фуражный склад переселенческого управления, остались от него обугленные ребра опор да куча головешек. Сгорела деповская контора... Сгорели два чьих-то дома. Запылал магазин купца Агатьева, однако вовремя затушили.

Локомотивщики привозили с других станций те же пугающие вести: в Юрге сгорела опекунская школа, в Барабинске бандиты по ночам вырезают семьи железнодорожных служащих, в Мариинске застрелен дежурный по станции... в Томске погромщики по улицам открыто ходят прямо днем, обливают богатые дома керосином, поджигают прямо на глазах у хозяев; сгорело также здание театра, а всех, кто выбежал, приканчивали в дверях ломами.

В Новониколаевске усилились «ходы с молодым царем», Алешка обедал, когда Любка, выглянув в окно, объявила:

— Идут! Идут! — и захватала ртом воздух.

— Кто? — обеспокоился Алешка, быстро вставая из-за стола.

— Да вон! Вон! Идут! — Любка похватила с пола ребятишек и побросала их на печь.

Широкая толпа простоволосых мужиков в черном брела меж дворами, серединой улицы, рты раскрыты, будто ветер встречный через себя цедили. Не то песню, не то молитву тянули. Палки в руках.

Передний нес раму с портретом царя. Рама, вправленная в расшитое полотенце, висела на шее мужика, он придерживал ее руками, оставляя пространство между своей грудью и царем.

— Вот они, радость наша, и нас не минули! И нас!.. И нашу слободку осчастливили! — вбежала Стюрка Пыхова, она в возбуждении пыталась облобызать Любку.

Толпа прошла мимо, в край улицы, лишь задержалась против двух-трех дворов, никаких, однако, нарушений не производя. Двое или трое соседей, в том числе Пыхов, выбежали за ворота, на ходу застегивали пуговицы на полушубках, увязались было за процессией, но скоро вернулись и стояли среди дороги. Крепчавший ветер насквозь продувал улицу.

Притуманенно-медный смутный круг солнца лежал подплавленным своим краем на земле где-то по ту сторону заснеженных камышовых болот, а на всем пространстве между солнцем и городом воздух дымился багрово, обещая худые перемены.

Алешка раздобыл старую, с заклепанным цевьем бердану, зарядил мелкой дробью и с наступлением темна выходил во двор. До света шагал между овином и конюшней, притуляясь иногда на чурках у поленицы,





чтобы унять можжание в набухших больных ногах. Обостренным ухом слышал, что в соседних дворах тоже не спали — ходили. Пыхов брэнчал на чердаке старым прохудившимся жестяным корытом, подобранным на линии, раздражал слободских собак. Его собственный кобель уже не лаял, а только обессилено хрипел надорванным горлом. Нервно повизгивала собачонка во дворе Тихоновского. Песье возбуждение из слободки перекидывалось за овраг, в центральную часть города, к станции, и куда-то еще дальше.

Алешка заметил особо раскатисто-звонкий собачий дискант, доносящийся, должно быть, с самого берега Оби, и, если иногда собака долго не обнаруживала себя, начинал беспокоиться: уж не прибили ли?

Как-то под вечер забежал Афанасий, белый от метели, снег набился и в воротник, и в шапку, отряхивался, ударяя себя рукавицей. Сидел он недолго, угрюмо выпил чай, а уходя, уже на пороге, обернулся и хмуро предупредил, что по дворам должны пойти «списчики» с обращением к царю и что эту бумагу подписывать не надо ни в коем случае.

— Понимаете, не надо, не надо... Важно очень!.. И соседям про то скажите. Ни в коем случае, понимаете?..

И верно, Афанасий знал, что говорил: «списчики» пришли. Два сухих старичка. В глубоких глазницах свет доброты и ласки. Они развернули на столе длинную, хрустко шелестящую бумагу и сказали, что собирают подписи под обращением народа к царю с «нижайшей просьбой защитить своей всесильной, всемогущей, всевластной рукой своих верных подданных от смутьянов и разрушителей». Один старичок, кивая и светя глазками, держал в руке пузырек с чернилами, другой, так же кивая с доверием и сочувствием, поднимал ручку с обмакнутым пером. Алешка с Любкой, конечно же, подписали, ни о чем лишнем не спрашивая, хотя спросить следовало бы: ну, например, про то, как жить, как детей уберечь. Да мало ли про что! В слободке во всех дворах подписали бумагу, ни один не отказался.

У Алешки в ту пору вышел разговор с Вербуком. Сперва, как обычно, о хозяйственных делах, а потом:

— Ночью-то все с берданой? Так, так. Причина и следствие... Против кого ты заряд приготовил, они — кто? Они выразители. Чего? Ну, соображай, будущий купец! Выразители... кого? Чего? Скажу тебе: сами себя выразители. Больше ничего и никого. То есть своей собственной, самоличной свободы. Обыкновенные они люди. Народ. Засвербило где-то под мышкой, защекотало в левой пятке, они и пошли. Как же, свобода, делай, что хочешь. Натура! Та-ак? Что хочу, то и ворочу. Кто виноват? Я к тому... Кто виноват? Кого хватать? Откуда такая свобода?

— Свобода... она от царя, — сказал Алешка.

— Что? Ну да. Свобода слова, печати, амнистия и... что там еще? Даруется его милостивой, вседержавшей рукой... Но... соображай. Царь дарует... не может не даровать. Отчего? Не с зуду же... То есть, э-э...



Вот так я тебе скажу, без лишних умствований, по-простому. Кто этой самой свободы больше всех требовал, к горлу приставал? Комитетчики, которые по депо, по станциям, по разным мастерским и фабричным производствам. А? Они или не они? Это-то, милоч, знаешь, слыхивал? Небось самого агитировали, когда в артелях ходил. А?

У Алешки не было в душе настроения на такой ветвистый разговор, однако слушал, наблюдая, как затылок Вербука бугрился шишками.

— Да, к тебе там дружки в лавку заходят... Ничего, ничего. Угощай их. Когда дело сделано — чего же. Хорошо. Закуски подходящей имей на этот случай. Кусок окорока или сало... А то... луковица да краюха, они рот дерут.

— Ты, Мирон Мироныч, что же?.. — Алешка не заметил, как перешел на «ты», и Вербук сделал вид, что тоже не заметил этого. — Что же ты, Мирон Мироныч?.. Подглядываешь за мной, что ли? Не... не доверяешь, что ли?

— Бог с тобой. — Вербук мягко тряхнул плечами. — Бог с тобой, Алексей... э-э... Алексеич.

Вербук иногда, в особо интимном, что ли, расположении, позволяя себе выражаться вот так, на мужицкий манер: «Алексей Алексеич».

— Ты, Мирон Мироныч, генерала из себя не делай. — На Алешку подействовала выпитая водка, выставленная околоточным.

Вербук развернулся, бритая мягкая щека его дернулась судорогой, будто тень под кожей к виску прошла, он достал из кармана пачку бурых листков.

— Вот тут напечатано... — сказал он.

Такие листки Алешке уже приходилось видеть не раз. С кульками, скрученными из таких листков, парнишки со станции за солью прибегают.

— Так будет, пока вот это... — Околоточный сунул листки снова в карман и протянул в руке округлую железную коробку с шипами. — И вот это...

Алешка видел на лице хозяина выражение искренней озадаченности.

— Ты разговора хочешь... — говорил Вербук. — Эта штука изготовлена затем, чтобы под твое или мое окно вот эдак... Фыр-р! В воздух. Где она изготовлена? В твоей лавке? В магазине купца? Того, которого подожгли? В церкви? А? Связь промеж этими листками и этой бомбой... эти агитационные листки исходят от тех, кто... Догадываешься? Одно гнездо. А дальше... Догадываешься, куда веревочка дальше-то? Связь между теми, с кем ты дружбу водишь, Алексей Алексеич... Кого ты встречаешь от чистого своего сердца, за стол сажаешь...

— Не пойму, Мирон Мироныч. Что-то не пойму. С туманцем. Как кутенка на поводке водишь, — отвечал Алешка.

— Чего же не понять тут, Алексей Алексеич? Какой же тут, э-э, туманец? Но не подумай... Я ничего тебе. Я даже хвалю тебя: выпивать с ними, хлеб-соль делить со всякими такими деловому человеку надо.



Полезно. Общественное мнение... Время такое, но... Алексей Алексеич, ты, вижу, истины ждешь... Вот и разговаривать давай. По-мужски. Ты мой компаньон, должен знать, чтобы в дураках не очутиться. Мой компаньон и... в дураках. А? Как понимать? Это значит, э-э, я сам как бы в первых дураках. А... в мои ли лета быть в дураках? Ты молодой еще, тебе можно. А мне... Ну, как? — Вербук снова достал листки, махнул ими перед самой Алешкиной бородой. — Они вот конфискованы. Отняты у того, кому быть бы на каторге. У твоего землячка, у этого... — Вербук был сегодня на редкость терпелив, и это-то выводило из себя Алешку. — Листки отняты, э-э... найдены как раз там... Говорю открыто. Там, в том самом бараке, где твои дружки проживают. Этот самый... Ныриков Осип. Или... как все вы того глупца зовете: Еська. Вот он — Кочетовкин самый. У которого ты бываешь, и который у тебя бывает. Но я ничего тебе, не думай. Я, наоборот, хвалю, что этак-то. Молодец, говорю, у меня Алексей Алексеич, политику знает. И всякие эти... Нет, не пугайся, бомба не у него отнята. Бомба в другом месте... Да и листки, э-э... не скажу, что у него. Они изъяты в том их артельном бараке... Но веревочка одна. Всю артель бы... На каторгу бы! Всех! Да вот — царский манифест. Царь наш всемиловитив...

Алешка сидел у края стола скукоженный. Вербук держал одну руку у себя на затылке.

— Скажи, Алексей Алексеич, скажи, можешь ты... Напрямую так вот мне... Ты мужик распахнутый. Душа у тебя русская, христианская. Тем ты мне и приглянулся... Да, тем и приглянулся, что природы ты открытой. Скажи: можешь ты сегодня и завтра... вот пока эти гнусные штуки... — Вербук сделал движение головой в сторону окна. — Можешь быть уверенным ты, Алексей Алексеевич, пока эти штуки в нашем городе производятся... уверенным, что твой дом, который я тебе помог построить... Надеюсь, в тебе благодарность сохраняется. Можешь ли быть уверенным, что ни твой новый дом с хозяйством, ни твоя лавка с товаром не будут ни подожжены, ни взорваны? А? Можешь? И что твоя любящая супруга не будет каким-нибудь мародером обесчестена — можешь быть уверен?

Алешка, в силу своего характера, не мог на это реагировать иначе, как только новой вспышкой раздражения и кичливости. Он отвечал:

— Не из пужливых мы, Мирон Мироныч! Не пужай! Я к бердане еще и револьвер добуду иль обрез. В рукаве стану таскать!

— Вот-вот, у всех будут револьверы, у всех берданы, а то и трехлинейки. Не то говоришь, не то... — В глазу Вербука было искреннее огорчение, и Алешка, хоть и глядел на Вербука боком, хоть и был в душе и в теле раздражен, понял: это искреннее. То есть от природы.

Вербук завершил затянувшуюся аудиенцию:

— Тут меня этак недели полторы не будет... Служба. Один будешь... Выручку к моим домашним не носи. Оставляй у себя. С богом! — Вербук



для верности, так понял Алешка, двинул его толстомясым кулаком в плечо. И это-то как нельзя лучше расположило Алешку. Ну вот расположило, и все. Как есть. Не как, к примеру, Фай-Зу, лавка которого стояла по соседству. Получалось как-то так, что при встрече с китайцем Алешкина душа вся натягивалась, а Фай-Зу в тот же момент кланялся и улыбкой ластился. «Да напейся хоть раз, черт ты нерусский, — думал тогда про себя Алешка. — Напейся да ухвати меня за грудки, а то и в скулу вмажь, вот тогда... А так эти ласковости твои — что?»

— Я тут, понимаешь, планировал... — Уже отойдя, Вербук задержался. — На днях к тебе начнут подвозить... А может, уж завтра к обеду. Подвозить пиловочник. Так ты принимай, складывай. Насчет предприятия... Ну, понимаешь, трактир... А? По весне, как сойдет снег, строить начнем. Трактирное дело заводить с тобой будем. А?..

Луна над городом уже была не та. Она по-прежнему была круглой и чистой, но уже не походила на просяной блин. Это, конечно, думал Алешка, да-а... Конечно, трактир, это не соляная тебе лавка, это уж вон что! Ну, Мирон Мироньч! Широко берет.

Дом в лунном освещении казался посеребренным от нижнего венца до трубы. Посеребренным как-то в два оттенка, верхняя половина жиже, а нижняя гуще, отливала почти голубино-сизым, изгородь же была белой и искрилась. Алеша взбодренно влез на завалинку, протянул руку к окну, намереваясь заглянуть в нижнюю шибку. Но, прежде чем заглянуть, еще потоптался на месте, поглядел в овраг, где из черных сугробов тянулись на лунный свет черемухи в снежной намети. Постучал в раму, приложился глазом к стылому стеклу шибки. Окно ответило чутким звоном, хотя по ту сторону во всей широкой хоромине никого не могло быть — семья зимовала в землянушке, какая вон набухшим стустком темнела в глубине двора. Зимовала семья в дернушке не потому только, что в ней теплее и привычнее, а и потому, что от огня безопаснее.

### Чует, чует женское сердце беду

Любка не захотела перебраться из дернушки-пластовушки в новый дом. Говорила, что нет смысла в морозы оставлять накопленное в дернушке тепло, тем более что приметы сулят большие морозы. Какие приметы были с осени? А такие: за первым снегопадом, в день Андрея Первозванного, по небу выгнулась с края земли белая радуга; тогда же мужики ходили на реку слушать воду под молодым льдом: вода шумела, дуrolомила; зайцы вышли из лесов, подошли к огородам; кровяно-красный огонь в печи восходил стойко и круто; зори по утрам на небе перегорали затажно, а птицы летали молча и садились на самые высокие вершины...

И много еще других разных примет было.

Потому-то, конечно, глупо было оставлять обжитую, напитанную человеческим духом землянушку и перебираться в новый дом, где не толь-



ко стены и углы не несут в себе примет жизни, а и окна неживые — по пустым стеклам полагалось бы морозу давно навести свои художественные вязи, а он отчего-то не навел. Должно, такой уж у мороза нрав, что неохота ему рисовать там, где не обжито, где некому глядеть.

А ведь чудно, думал Алешка, чудно, поставь вон там, в сугробе, под черемухами, отдельную оконную рамищу, на тебе, мороз — красный нос, рисуй по всем ночам, выводи своей кисточкой (а может, хе, он рисует не кисточкой, а бородищей своей или же усищами) — на, рисуй, так ведь нет, не подойдет даже, ни одного узорика не сделает, не нанесет. Подайвай ему человеческую обжитость, человеческий дух при этом.

Алешке, возвращавшемуся поздно домой, хотелось сейчас, как и в прежние разы, постучать казанками в пустое неживое окно больше для того, чтобы услышать, как среди ночи отзовется дом свой пустой внутренностью. Впрочем, нет, читал Алешка, хоть окна и пустые, а дом нет, не пустой, дом заселен душой хозяев, конечно же. И теперь, если постучать, то, выходит, отзовется как бы своя же душа. На это Алешка улыбнулся сам себе.

Как бы там ни было, а уж сердце-то Алешкино давно и надежно заселено этим желанным домом, а ведь неизвестно, не дано уразуметь того, когда человеку теплее и уютнее — когда он в новом доме или когда дом в нем самом, вот вопрос.

Еще потоптавшись на завалинке, Алешка протянул руку, примерился, чтобы постучать в серединный, опушенный куржаком перекресток рамы, и вдруг почувствовал на себе встречный взгляд. В окне была Любкина голова, очерчивалась она жидко, растечно, потом насунулась, и на черном стекле расплющенный нос проступил во тьме пугающе белым круглым пятном, от взгляда и от всего лица тянуло отрешенностью и усталостью.

— Чего тут? Отчего не спишь? — не нашелся Алешка ничего иного сказать. У него сделалось состояние, будто отняли у него дом, Алешка повторил:

— Чего ты?.. Отчего не спишь-то?

— Да вот... — сказала Любка, не меняя в своем выражении усталости и какой-то размягченной отрешенности, это чувство было у нее и в осанке, и в голосе. — Зашла, гляжу...

— Среди ночи-то? — спросил Алешка. — А я, понимаешь... пока туда зашел да сюда... На станции с мужиками пока посидел, новости разные, разговоры всякие... Там поезд с востока был... Солдаты раненные с Порт-Артура приехали.

— А я... я думала... Я думала... тебя где-то уж... Ох, господи! Все уж передумала. Да как же! Как же... Ночь, а тебя все нету. Все в голову лезет. Как же... Тут Стюрка прибежала, опять говорила... Опять кого-то... убили. Среди белого дня. На улице. У церкви. Что делается! Прямо у церкви! Только, сказывают, отошел человек в улицу, а там бегут. С кольями.

И давай хлестать. Ну вот... изувечили. Я уж все передумала. Уже ночь, а тебя все нету. Я уж и искать бегала, у знакомых в городе спрашивала.

— Ну, ну, — скованно бормотал Алешка. — Ну-ну...

— И Пашу японцы убили, — уронила Любка. — Казенная бумага пришла.

— Кого?

— Пашу. Братика.

Алешка не был в дружбе с Любкиным братом. В прошлом году Пашка поддался патриотизму, точнее, уговорам вербовщика, ездившего по Кольвани и по другим деревням: ушел добровольно на японский фронт. Совсем никаких вестей от него не было. Тесть приезжал, жалел сына и ругал его же: «Дурак! Губошлеп! Своего ума ни в башке, ни в другом каком месте. Хозяйство оставил, землю всю на отца кинул, а сам полетел. Чего ради? Закон есть: от справного хозяйства не трогать на войну, гольтьбы достаточно, им идти... А он — туда же! Тьфу, губошлеп!»

В конюшне, где густо напреди запахи шерсти, пота и мочи, Алешка задал сена лошадям, на шумел на беспокойного, дураковатого мерина, в радости больно толкнувшего угловатой костяной мордой его в спину. Алешка, гася в себе раздражение, прошел в другой угол двора, набрал там из поленницы беремья дров, вернулся опять на высокое настывшее крыльцо, которое было лунным светом разлиновано на зубчатые шаткие полосы. Решил прогреть дом.

Поддернув штанину, стоял он на коленях у порога и холодным топором отщипывал хрусткие лучины от соснового смолистого полена. Лучины, сухо щелкнув, отделялись как бы сами собой, без усилия, а когда падали в темноте, от них исходил сладкий дух серы.

Любка стояла над ним с лампой. Красноватый, шатающийся дымный свет выхватывал середину голбца, угол рыжей небеленой печи, часть потолка и матицу с медным толстым кольцом для зыбки.

— Убьют тебя, по ночам-то будешь ходить. Чует мое сердце, чует, ох. Убьют! — Любка говорила страдальческим голосом. — И дети сиротами пойдут...

— Ну, ну, дура! Мелешь тут всякую ерунду, — отмахивался Алешка.

### **Сказано же: не поддайся искушению дьявола**

Перед полуднем в понедельник, когда опала пурга, налетающая с болотных белых равнин, а на вершине пихты закричала, радуясь перемене погоды, тонкотелая, похожая на разукрашенное веретено молодая резвая сорока, мужики на шести подводах подвезли к Алешкиному двору обещанный Вербуком пиловочник. Значит, все въяве: трактир — не пустой звон.

А в среду судьба привела Афанасия: ему без промедления потребовалось везти груз на станцию, а там еще куда-то. Алешка не решился отказать ему.



В железнодорожном тупике, за прореженными кустами, под пыхом-дыхом стоял паровоз. Был еще ранний вечер, хотя темень уже стуслилась, набухла до своей определенной нормы, где-то близко, за насыпью, слышался говор рабочих, в другой стороне железом стучали вагоны. И на всю станцию с помоста распорядительно разлетался в морозном хрустком воздухе диспетчерский голос — там была сортировочная горка. Вагоны, скатываясь, лязгали тарелками буферов, это отдавалось в каменных кварталах эхом и потом еще где-то отдавалось, уже совсем далеко, под самым черным небом, и оттуда осыпалось звуковыми осколками вместе с куржаком.

Эти станционные звуки, угольный и масляный запах, этот особый, с привкусом железа, станционный воздух действовали на Алешку благотворно. Вдыхая, ощущал освежающую щекотку в ноздрях. Улавливал языком и деснами нечто сладкое.

Хоть недолгой была его работа на паровозе, но все же была, и вот оставила по себе притягательное впечатление. Метать лопатой уголек в огненную дыру — не самое легкое и интересное дело, понятно. Тем не менее — факт. Он обнаружил, что на паровозе приходят в голову необычные мысли и фантазии. В короткие моменты передышки, освежившись котелком воды, он мог наблюдать, как перед ним промахивали леса и поля, и не видно было всему этому, то есть ни полям, ни лесам, конца под небом, становилось по-особому свободно, ничего-то душу не стесняло, так, наверное, у вольных птиц, думал он.

Род человеческий, все человечество — это не хаотическое скопище людей, это нескончаемое прораствание одного другим, слышал где-то Алешка. Но тут приходила к нему ясность понимания, что нет, нет, не прораствание одного другим, а прямое продолжение роста, жизни тех, что были до нас. Ну вот, да, да, молодой отец продолжает жить в нем, в Алешке, и дед тоже продолжает в нем жить, и прадед. И не стариками, а молодыми. И он сам, Алешка, когда помрет (а это он представлял часто), будет продолжать жить в сыновьях своих, и так будет всегда, пока земля есть, пока божья воля на то.

Алешка правил лошадь к паровозу напрямик, по цельному снегу. Меринок нервничал, не шел к пыхающей железной громаде, шарахался, готов был лечь на оглоблю, пятился, выдергивал голову из хомута и прочие номера выказывал — хоть в цирковой балаган его веди.

Злясь, Алешка намотал вожжи на оголовки саней, забежал вперед, ухватил меринка за узды, потянул этак вдоль насыпи, а потом, на бегу, развернув, принялся толкать назад. Лошадь почти села на оголовки, однако сани оттого подкатились под самые паровозные колеса. Квадрат желтого света, падавшего сверху, оказался у Алешки под ногами. Тут его ждал Афанасий. Вдвоем они снимали с саней, очищали от сеной трухи привезенный груз, подавали Кочетовкину, нависавшему на подножке.

— Спасибо, — сухо молвил Афанасий. — За помощь спасибо. Рабочий класс в долгу у тебя не будет.

— А-а, — промышчал равнодушно Алешка, не очень вникая. Он влез в освободившиеся сани, натянул левую вожжу, направляя меринка в боковую прогалину и одновременно сдерживая его, дабы тот в ошалелости не вынес на рельсы.

— Стой, стой! — нагнал Еська Кочетовкин. — Ты... вот что, малина-ягода. Ты домой... Подбрось-ка меня в одно место. На Первую Приовражную. Да гони быстрее! У Фили пьем, да Филю бьем.

К Первой Приовражной Алешка выехал укороченным путем, переулками, через улицы Утиную и примыкавшую к ней Камышовую. На спуске меринка поджимал под себя задние ноги, вихлял крупом, острожничал, зато влетал на склон почти галопом, разметав гриву. Такова была особенность меринка: на спусках плетется еле-еле, хоть уклон будет тянуться на версту, и бесполезно подгонять, а на подъем бежит вскачь, вытягиваясь и вбирая в себя бока.

Еська соскочил с прясел, вошел в барак, а Алешка свернул на угол, стал ждать. «Вот еще... обязан я тут с ним. Жди я еще их», — думал Алешка, почему-то употребляя множественное число по отношению к одному Еське Кочетовкину.

Еська, однако, возвратился скоро. Впрыгнул в сани, утвердился вращающуюся во весь рост и, махнув рукой в направлении скученных зелено-вато-желтых точек, скомандовал:

— Давай! Обратно. К паровозу. Гони!

И это брошенное «Давай, гони!» опять раздражило Алешку. «Вот еще! Нанялся я им в кучера! У них, видите ли, дела срочные. А у меня, видите ли, нет дел. У меня семьи нет, ртов нет, хозяйства нет... у них, видите ли, дела, а у меня праздник, значит. Еще чего!..»

Так распаяя себя, Алешка гнал лошадь, сани раскатывались при своротах. Странно, чем больше он на такой манер думал, отмежевывая себя от других, тем пуще проникало в его душу новое чувство, похожее на тоску. Будто успел он в этот вечер прикоснуться к чему-то такому, что еще непонятно, но сулящему для него новый мир.

— Кочегар заболел, Хардеев, он из Сидоровки, не с кем ехать. Был я сейчас вот у него, не может, заболел, — пожаловался Еська.

— А мне-то что? — сказал Алешка. Однако чувство усиливалось, и вот уж совсем, совсем несерьезный возник вопрос: «А что, если мне с ними скатать?»

И осадил тут же себя: как это скатать? С какой нужды?

Однако дерзкие мысли сами собой вились: «А вот так! Скатать, да и все. Ну да. Вот отогнать лошадь и...»

В ноздре уже знакомый запах топки, а на лбу даже как бы пламя ощутилось. А что? Покидать лопатой уголек — не последнее дело. И за окошком станут промахивать все те же леса, поля вместе с небом. Славно,



славно! Да: мужики, мол, и я с вами, не балластом, а подмочь уголек лопатой покидать, парку в котле нагнать.

Алешка, не оборачиваясь, полюбопытствовал:

— А надолго ли эта ваша поездка?

— По графику. К утру назад, — отвечал Еська.

«Это же как раз к тому... — подумал с волнением Алешка. — К тому, чтобы мне как раз с ними поехать».

И когда лошадь остановилась перед железнодорожной насыпью и Кочетовкин наготовился прыгнуть с саней, Алешка ухватил его за бушлат:

— А давай я с вами? А? Кочегарить. С Афанасием поговорим...

— Слушай, Алеш, да ведь ты!.. — взвился Кочетовкин. — Да ведь ты!.. Малина-ягода! Верно! Выручай. Вот так, позарез нам твоя помощь нужна. А к утру уж и домой вернешься, под бочок к своей Любахе. На всех скоростях, как лебедь на крыльях.

Ровно в полночь паровоз выпустил из себя порцию горячего духу, оплавив снег на боках насыпи, оттолкнулся и начал ударять колесами по настывшим гулким рельсам.

Знал Алешка, что сберегал он под полом у себя в лавке не безобидные какие штуки, принесенные Афанасием по осенней слякотной темноте, не для забавы наготовлены они.

И то он уже знал: везут Афанасий с Еської этот тайный груз на тихую лесную станцию, где передадут в другие руки, а оттуда рискованные люди повезут груз дальше, не то до Красноярска, не то еще куда, чего Алешке уж не положено знать.

— Там, понимаешь, свою республику рабочие объявили, — говорил Афанасий, сдерживая в себе азарт. — Это, понимаешь, что такое? Рабочий народ сам себе правительство, сам себе и урядник. Работа по совести, отдых — по совести, деньги — в кучу. И прочее. Улавливаешь?

Паровоз, громыхая своими железными связками, летел в ночи, по бокам его в марево-сизом лунном освещении промахивали леса, тугое, ледянисто-освежающее дыхание глубинного простора ударяло в окно. И было для Алешки радостью вот это все: и так смотреть, и так стоять, обжигаясь с одной стороны колким морозным ветром, с другого боку пламенем топки. Он сплевывал хрусткую зольную пыль.

Просторность в ночи, и луна летит распаренным шаром. Боже, как много земли-то на свете! И как мало на ней людей. Вон ведь — никого-никогошеньки. Люди жмутся в кучки, а потому и грызутся, что внавалку друг на дружке, один другому что-то да придавит впотьмах. А вот — жили бы на таком просторе. Эх!

Кочетовкин в работе вовсе не гляделся худосочным. То есть кости-сто-худым и вихлястым он оставался, но замечалось в нем другое: то, как он, крученный шельмец, исхитрялся метать лопату. Метал он ее и с правого своего боку, и с левого, а то и между ногами, это когда из тендера уголек





нагребал. Заостренный, сплюснуто-плоский его подбородок в движении огня и теней придавал его серой голове на пригнутой шее схожесть с кукушкой, да и всем он своим туловищем тут походил на эту неприкаянную птицу, о которой в народе очень разноречивые мнения.

Алешка всегда испытывал к Кочетовкину чувство родства, а точнее, чувство старшего брата к младшему. Это, должно, оттого, что Кочетовкин всегда, как помнит его Алешка, был слаб и болезнен и нуждался в его, Алешкином присмотре. Ему так и наказывала когда-то мать Еськина, плаксивая, болезненная женщина: «Ты уж там, в том бесовском вертепе, в городу-то, за ним приглядывай. Сам-то он что — ягнец перед волками. Приглядывай». Алешкин пригляд если и был, то лишь на первых порах, когда вместе работали на берегу при лесопилке и холостяковали в одном бараке. Когда же у Алешки объявилась Любка, а с нею детишки, то в куче, в ворохе непредвиденных нужд стало уж не до того. Месяцами не виделись, но при встречах Алешка так начинал волноваться и Кочетовкин так незащищенно, по-детски радовался, что в сознании у Алешки остро покалывал какой-то гвоздок вины. Несобранная ведь жизнь у мужика, хотя и годы идут. Кукушечья, одним словом, жизнь.

«А ведь они оба как эти самые... кукушки», — Алешка переводил глаза с Кочетовкина на Афанасия, с Афанасия на Кочетовкина. Летают вот. Какие у них заботы? Конечно, не те, какие гнетут Алешкину душу: какую денежку в гаманце принести Любке, дабы всех ребятишек нарядить и всем чтоб каша с маслом.

Вот так проживут кукушками. А что? Кстати, Афанасий уже давно ездит машинистом, о нем в городе слава как о хорошем механике.

Земля летит себе мимо, и мы тоже себе мимо. Леса, зверье... Избенка если какая на поляне меж соснами мелькнет, так и не поймешь, то ли это жилье человеческое, то ли сена копешка, укрытая залощенным снегом.

Земля мимо, и заботы мимо.

Железное, разгоряченное тело машины сквозит через морозное пространство. Шипенье и дым. Так шипит и дымит горящая головешка, угоревшая из костра в текучий ручей.

Звезды же, однако, паровозу не под силу: он их никак не обгонит, они только меняют сторону, заходят то на один бок паровоза, то на другой. А луна, тоже по-паровозному дымаясь, откатывается назад.

Когда чернота деревьев придвигалась и стена эта промахивала у самого окна, ветер опадал, и тогда машинная труба начинала густо сорить искрами.

«А если этак же, как искры, начнут падать звезды? — вошла в Алешку суеверная мысль. — Земля, поди, не выдержит, вся сгорит?»

Душа человеческая, конечно, улетает в высоту, в межзвездье. И совсем неправда, что люди нарождаются лишь затем, чтобы загрызть одному другого.



Ребятишек Любка нарожала — неужто затем, чтобы они кого-то подмяли, на чью-то пятку наступили? Ну, на пятку соседского парнишки, что в овраге на чунках, на салазках катается. Или, хуже того, парнишка тот за Устинкой охоту устроит, хитрости, коварства свои разовьет. Неужто?

Ох, душа противится такому! А раз душа противится, правды тут быть не должно.

### А вот и дьяволы

Никогда бы Алешка не сменил паровоз на торговую лавку господина околоточного. Никогда! Но вот деповская медицинская комиссия выставила бесповоротный запрет: с обмороженными ступнями — ни в коем случае нельзя. Да и сам Алешка понимал: зимой еще как-то терпимо, а вот в летнюю жару уж никак.

На паровозе ты будто обособленный от людей всех, и от земли самой обособленный. И в тот же час, на поверку-то, наоборот: необособленный. Каким-то узлом ты завязан со всеми, кто на земле, и не тесно в этой в этой завязке, а вольно.

Вот ведь как. Лесная темень за окном, густота ночная. Сизые прогалы. Фонарь на проволочном крюке над шапкой Афанасия.

И вдруг... Афанасий — это вовсе не Афанасий, а Еська вовсе не Еська. Сам Алешка в их обличьях. Так уж ему почудилось. Ох! Алешка даже оцупал свою бороду. Баловство такое он за своей фантазией, конечно, знал. Но все ж не стерпел, зареготал от такого наваждения:

— Го-го-го!

— Чего ты? — возрился Афанасий, заметив, что Алешка держится за бороду. — Уж не обгорел ли? Обгоришь и... нехватишься. Вон, ишь, куделю какую, по самое брюхо, завел. Кочегару не положено... Под купца рядишься?

— У него сейчас дума в голове только одна, — встрял Еська, отпив из чайника воду. — Хе, малина-ягода! В керосин ему окунать на отмокку свою бороду на целые сутки.

— Зачем в керосин? — возразил Афанасий. — Кислотой соляной лучше. Смочим чуток, и готово. Бритым станет.

Развеселился Алешка. На земляных работах, когда насыпь под эту самую железную дорогу делали, когда землю в болото тачками возили, скорее, скорее: с тачки же копейка каталю шла, — умаются мужики, щечками опадут, в позвонке ломота, а сядут вечерять артельно вокруг котла, галушек науплетаются до отрыжки и давай тут же, у костра, у дымокура, байки плести, один над другим похохатывать, кто больше совет. Вот уж попадались остряки!..

На той станции, куда приехали, все складывалось как надо. Царило дремотное состояние. Хотя линии были заставлены вереницами вагонов, прибывшему короткому составу нашлось между ними место: чья-то рука



невидимо направляла его в этой дремотной тесноте, паровоз как бы сам собой перекачивался с одной линии на другую, с другой на третью, пока не оказался на каком-то ответвлении, в дальнем тупике, где не проблемскавало ни одного фонарного пятна. Но тут, в загустевшем, набухшем мраке, как раз и оказались нужные люди, текущие их фигурки повисли на лестнице еще до того, как паровоз остановился.

Афанасий, перевалившись из окошка, сказал им что-то вполголоса, они сказали в ответ что-то ему.

Потом Афанасий сошел на землю, людей там было с полдесятка, как определил Алешка, а может, и больше. Когда Афанасий вернулся на паровоз, то первым делом притушил свет, повесил на фонарь тряпицу. Шустрый Еська уже подавал из тендера свертки.

В это время снизу кто-то крикнул:

— Жандармы!

Крик до Алешки дошел как из-под воды. Он выставился в окно. Спереди, из тупика, приближалась стайка оранжевых светляков. Такая же стайка светляков надвигалась и с другой стороны, от соседней линии.

— Кто-то донес, — сказал Афанасий, оттирая от окна Алешку. — Кто-то донес, братцы, — повторил он без злобы, почти спокойно. И, поворотившись назад, он поискал глазами Еську, которого не было рядом, который, должно, оставался в холодном тендере. — Будут братья, — сказал Афанасий. — Будут уж наверняка с поличными... Кто же о нас так славно позаботился? — Он утер ладонью подбородок и стал быстро скручивать папиросу. — Ты, Алеха, прости. Такое уж дело... Купеческое твоё занятие... откладывается. Если, конечно, твой Вербук тебя не выручит. Нас-то с Еською не станет выручать, мы ему не по нюху. А тебя... Попросишь прощения, раскаешься, мол, дурак, связался с этими, не знал, по глупости... Должен же он похлопотать о своем компаньоне! А?

В брюхе у Алешки что-то стронулось и пошло вверх, его стошнило. Густо-смоляная тень, косо, полосой проходившая от котла к правому окну, отрезала у Афанасия правое плечо, половину груди и голову. Выплюнув себе под ноги сгусток гари, Алешка коротким тычком послал свой кулак туда, где должна была быть голова Афанасия. А потом, отбиваясь левым локтем от наскაკивающего Еськи Кочетовкина, наскაკивающего сзади, со спины, он правой рукой торопливо и судорожно нашаривал в полутьме те рычаги, от которых сейчас могло хоть что-то измениться в судьбе или хотя бы в обстановке. Ага, нашарил, вот...

Понимания, что это конец, конец всему тому, что так упорно, так хитроумно налаживалось им, Алешкой, в жизни, в добыче на каждый день ребятишкам куска хлеба, в постройке своего уютного семейного гнезда, где была бы возможность побаловать себя и детишек в свободный вечерний зимний час на теплой печи придумыванием простенькой сказочки, — понимания этого у Алешки в данную минуту еще не было, но чувство краха уже вошло в его жилы, в его кровь. И тянулся он свободной пра-

вой рукой в полутьму, к холодным рычагам, скорее стихийно, ну, то есть от неосознанного желания помешать краху своей судьбы. И ведь дотянулся!

Паровоз набирал задний ход. В кабине мрак сразу сделался еще более плотным, будто Еська Кочетовкин, паршивец, продолжающий на-скакивать сзади, оказавшийся каким-то неимоверно грузным, исхитрился навесить перед глазами у Алешки пучок мягкой черной ветоши. Гуще запахло жженой серой. Алешка отшатнулся к окну. Увидел, как там, внизу, в пятнах серенького, зябкого, притуманенного света, со всей станции по выпуклым ребрам шпал бежали какие-то спотыкающиеся, машущие светляками и кричащие фигуры.

— Слышь, Алексеич, не дури. Ну!.. — услышал Алешка над своим затылком сипатый голос Вербука. — Вздуй фонарь и... не дури. Останови машину. Ну!

Наскакивающий со спины человек, которого Алешка отпихивал локтем, оказался не легкомысленным Еськой, а Вербуком, успевшим в какой-то момент вскочить по лестнице в паровоз. Еськи же вообще не было, должно быть, он все еще оставался в тендере.

Кто-то открыл топку. Пучок плотного света и жара, упруго ударивший оттуда, заставил Алешку прижмуриться. Потом он увидел слева от топки, на полу, на куче угля, Афанасия, который сидел, подобрав одну ногу под себя, другую неловко вытянув на сторону, к опрокинутому ведру. С правого же боку стоял Вербук, без шапки, голова странно втянута в плечи, а пунцово-сизые щеки расплющены на барашковом воротнике форменного полушубка. Руки и все широкое его туловище были в таком положении, в каком бывает человек, когда держит в себе намерение сразу и защищаться и нападать.

— Не дури, Алексеич! — сипел он. — Одумайся! Останови!

Было в околоточном и еще что-то от страха, от злобного смятения, какое бывает у хоря, грозы дворовых кур, когда тот, извлеченный из норы, прижатый через спину рогатиной, вдруг изловчится вывернуться и не сразу юркает под плетень, в крапиву, а норовит сперва прокусить охотнику сапог.

И надо же! В такую минуту Алешке после икоты сделалось хохотно, словно в подмышки ему бесенок забрался. Ну, оттого, что грозный, солидный его компаньон перед ним в таком вот виде, в такой вот ситуации.

— Хо-о, хо-о! — И хохотал, дергал бородой. — Ну-у, не-ет уж, Мирон Мироныч! Извиняй. Этого мы не можем. Не приучены останавливать-то. Наше дело вот так, Мирон Мироныч. Другому не обучены. Так... Пошло и пошло. А там куда уж пошло...

Продолжая трясти ушибленной, без шапки, головой (шапка валялась рядом с опрокинутым ведром), Афанасий начал подниматься на ноги. А поднявшись, еще потряс головой, вобрал в рот рассеченную губу, ссосал с нее кровь, сплюнул темным сгустком в оранжево-розовую глубину



топки и только после этого нажал тормоз. Но было уже поздно. Навстречу, также задним ходом, напознал другой состав, это с опозданием увидел с башенки диспетчер. Вагоны сошлись, Алешку отбросило, и, падая на стену, он услышал сухой хруст сдавливаемого железа и, показалось ему, костей.

### Там, в краю далеком

Мирно тянулся, млея один из прозрачных, теплых, высоких, гулких дней, тех дней, какие, слава богу, еще нередки у нас в Сибири, а особо в этом вот великом нагорно-таежном междуречье. Крупные, развяленно-медлительные птицы, их было две, совершали широкие круги, одна низко, у самых макушек леса, даже задевала будто за них, даже различим был цвет оперения на ее голове, другая же летала у самого небесного божьего купола подобием малого черного крестика. «Тяф, тяф, тяф...» — кричали птицы.

То ли перекликались они между собой, то ли отпугивали кого. Гнездо их, из кривых палок и коряжистых сухих веток, было на самом верху мощного старого кедра с земляно-серым корьем по ребристому стволу. Кедр исходил из щелястой замшелой скалы, как бы продолжал рост самой этой скалы.

Бесспорными врагами птиц, свободных, не ведавших унижений, были, конечно, люди; они, люди, были на каменном мысу. Что они там делали — неведомо. Заползали в черную дыру, выползали оттуда.

Прежде, когда людей не было, в каменных щелях под кедром жили красные волки, а вдоль водопотока, в буреломниках, неуклюже пробегали тяжелые росوماхи, оставляя на сучьях пахучую шерсть. Никто не мог угрожать жителям неба!

Из черной своей дыры люди иногда выкатывают ящики не с камнями, а с трупами себе подобных. Отвозят их на другой бок горы и там, в стланцах, бросают в землю и зарывают. Кто их там, в той черной дыре, умертвляет? Или живет там тайный сильный злонамеренный дух? Этого духа птицы тоже пугаются.

Безлунными ночами, в глухую темь, на трупные запахи сбегаются волки, оттесненные жить в дальние распадки.

А люди? Как они тут живут? Если у людей есть время и охота глядеть на небо, они глядят на него и, видя там птиц, тоже в голове держат вопрос: что это они там кричат?

Вот и на этот раз люди, их было четверо, лежали на прогретой солнцем породе и, расслабив руки и ноги, топили свои глаза в небе.

— А ведь, стервецы, кружат, — вяло и как бы без всякого интереса молвил тот, который лежал крайним, доставая пяткой до рельса. Оборванная штанина на его бедре оголяла сухую кожу, фиолетовую от подтеков.

— Да уж так, — подтвердил другой с той же вялостью в слабом, надорванном голосе. — Кружат. Чего же им еще? Одно занятие. Это у нас с тобой, Шелудилов, иная планида...

— Одно у них. Потому что воля, — отозвался третий, брыластый, при этом изготовился было зевнуть, да не зевнул, и рот потому держал широко раззявленным. — Э-эх, воля матушка! Чего же им еще-то надо в небе? Как ты считаешь, Херувим?

Четвертый, тот, кого звали Херувимом, вовсе не был похож на херувима: тяжелая костистая голова вытянута к затылку, скатанные потником бурые волосы застрижены не как у других, не с боку, не от левого уха, а со лба. Он приподнялся на локоть, схаркнул на колесо вагонетки, сказал с каким-то мстительным удовлетворением:

— Жратву они себе высматривают с оттудова. Ждут, когда нас придавит, расхрюстит и... можно будет поживиться... сожрать, как воробей проглатывает козявку.

— Вишь... В один бок крутят — вверх идут, в обратную сторону крутят — вниз идут. Буравом как будто. — Брыластый лягнул соседа.

— А если по такому порядку... закручиваться все в один бок ей, птице, она что ж, так и пойдет без конца вверх, а? — предположил Шелудилов и тоже ногой дрыгнул, ответно толкнул брыластого.

— Нет, того быть не может, чтобы без конца-то, — возразил брыластый и, вскинув над собой руку, потряс пальцами, как бы наметился ухватить соседа за его изношенную шею. — Где-то да и там есть конец. Дураку ясно.

— Хых! — еще схаркнул на колесо вагонетки застриженный со лба Херувим. — Конец, он не где-то, тут... Верно, дураку ясно. Вот эти стервятники и ждут, высматривают, когда нас сожрать можно будет, как козявку. Давче придавило мужиков... Гора шевелится, хоть как ее крепи. Все одно... придавило. Один из всей артели отдышался, оклемался, а остальные-то... Планида...

— В наших местах таких огромных птиц нету. Не водятся, — с сожалением сказал брыластый и опять собрался ухватить горло соседа, но не ухватил, не стал тянуться, желанья и злости на это опять не хватило, лишь губу он пуще вывернул да ноздрей пошевелил. — У нас коршун... Крупнее нету птицы. Цыпушек, подлец, таскает. Едва баба со двора сойдет, он уж летит. Метлой от него, пакостного, отбивается баба. А этих-то, пожалуй, и метлой не напужаешь. Эти и ярко поднимут, не то что куренка.

— А как считаете, мужики... — Шелудилов присел на корточки, однако глазами все блудил в небе. — Как считаете, если б крулья себе наладить — да все вверх, вверх? Куда б прилетел, а?.. У нас рядом село Богодмитровка, там случай был. Вихрь крутился, крутился и... это самое — на церквушку налетел. Церквушка из бревен рубленая, крепенькая... И, это самое, как чугунок, пузатенькая. Ее вихрем и подняло. И попа вместе. За пузцо подхватило. Подняло разом.

— Кого за пуздо? Попа, что ли?

— Я ж говорю, церквушка этакая славненькая, пузатенькая. Вот ее и подхватило разом. За пуздо. Носило в небесах где-то, носило, а потом, это самое... за деревней, в поскотине, опять же поставило. Но уж не за Богодмитровкой, а уж за нашей деревней. Не верите?

— А поп куда делся?

— Дак носило-то вместе с попом и с народом. Опять же поставило, говорю. Только уж не за Богодмитровкой, а уж за нашей, значит, деревней, на задах. Богодмитровским богомольцам стало дальше в церковь ходить, чем нашим. И поп целехонький остался. Не верите? Вот вам крест — не вру.

Люди наконец-то поднялись, начали упираться в вагонетку. Между тем под горой краем леса шла крестьянка. Мужики замешкались, увидев ее, перестали упираться, а стали угадывать, к кому, дескать, она. Не часто такое событие, когда в зоне объявляется баба. Херувим сладко, с большим чувством, почесал застриженное место на костистой своей голове, а брыластый то же самое проделал ниже пояса и справедливо изрек:

— Однако, Маша, да не наша. Поехали.

И вагонетка под команду тронулась. Но, тронувшись, тут же скособочилась, упала с рельса.

— А-а, взяли! А-а, взяли! — закричали мужики.

Помогать им из горы вылез забойщик, густо присыпанный черной пылью, двигался забойщик на коленях, к которым были проволокой прикручены деревянные дощечки. Шмыгал он ими — будто лыжами. И при каждом шаге с него стряхивалось темное дымящееся облако, гасящее солнечный свет.

Когда катальщики гнали вагонетку под горой мимо шахты, к ним вышел вахтенный охранник и что-то сказал. Потому они, вернувшись в забой, замахали руками, зашумели на забойщика:

— К тебе!.. К тебе баба! Ступай скорее! Тебя кличут.

— Какая... баба? — спросил забойщик, отрываясь от дела. Он железным клином подбил под угольный пласт и собирался обрушить его.

— Да ступай же. Ступай, раз зовут. — Херувим подталкивал его в спину. — С сидором она, баба-то. Да только сам все не слопай, на нашу долю оставь. Жратву ведь, поди, притащила, в сидоре-то.

Забойщик с сомнением повертел головой, а потом вдруг как-то чересчур шустро, проворно, заскользил вниз, стуча по камням досточками-лыжами. Под мышкой он все держал кайлу, которая, конечно, мешала его ходу. На середине склона вспомнил он про кайлу, остановился и упрятал ее в куст.

— Тихарик он, — заговорили мужики, глядя ему вслед. — Уж точно, тихарик. Когда еще из западного забоя в наш забой перекинули его, а он все особнячком этак... от всех особнячком. Сам с собой... Вкальвает как последний дундук. Выслуживается...



— Насчет вкальвывает-то, это ладно. На артель ведь. Если ему не вкальвывать, то норма наша артельная — плакала. И мясной добавок к обеду — тоже плакал. Выходит, от его выслуживанья нам же польза. А вот насчет тихарика... Может, и тихарик. Проверить надо бы, и если так, то придавить...

Женщина, в ожидании разрешенного свидания, сидела в вахтенной сторожке, расположенной у подножия горного склона, и слушала наставления пожилого надзирателя, похожего на болотного кулика-веретенника — такой же буренький, ржавенький.

— Однако чтобы ничего... — говорил надзиратель участливым тоном. — Тут чтобы так, не всяко, а как полагается. Лишнего ничего.

Сторожка имела два выхода — на гору, где были шахты, и к лесу, где летали птицы. Со стороны шахты вошел и остановился в дверном проеме черный от угольной грязи человек, на нем была жесткая остроугольная фуражка с квадратными очками над пригнутым козырьком, с его одежды ссыпалась на пол каменная крошка.

— Здравствуй, Любок, — проговорил он, оставаясь на пороге, толстые его губы морщились не то в радости, не то в горьком страдании.

Эта-то сморщенность губ, эта гримаса на грязном скуластом лице арестанта и перевернула душу женщины. Это же он! Алешка же! Ненаглядный ее Алешка!

Боже! Не помнила она, когда Алешка был безбородым и безусым, разве только в парнишках. А тут он стоял как есть безбородый и безусый, и оттого гляделся незащищенным, будто голотель. И кепка стожком держалась, полосатая, чудная, ох, вовсе чужая, срамная.

— Да как же это... Алеш, как же... — повторяла потерянная Любка, снова и снова тыкаясь мокрым носом в мужнин подбородок.

— Да я ж, якорь дери, и это... и обмыться позабыл, сюда бежамши-то, — спохватился Алешка, распрямляя согнутую спину, но распрямить ему не удавалось, оттого он потерянно суетился. — Ручей тут, по дороге, с горы падает... А я, бежамши мимо, и харю сполоснуть позабыл.

Надзиратель, дай бог ему здоровья, разрешил супругам пообщаться в сторонке, они и отошли.

— Мы тебе, Алеш, писали. Про все писали, — говорила Любка. — Три письма слали. От тебя же никакой весточки, — укорила Любка, и в вытянувшемся ее лице проявилось глубокое чувство печали. — И в розыск уж подавали. Писем-то отчего не слал?

— Писал я, как же. Слал письма-то, — отвечал в недоумении Алешка. — А ваших не передавали мне. Никакого письма от вас не было.

— Да как же не было, если писали мы, — говорила Любка. — Два письма нынче, и в прошлом году еще... Но мы, слава богу, живем. Ты уж о нас не переживай. Ты, Алеш, тут о себе... поберегись лучше. А мы уж сами как-нибудь, при божьей милости-то. Поберегись сам-то.





Нам господь поможет, дождемся тебя. У золовки живем, в деревне, у Доротеи. Вовсе не стеснительно.

— Отчего это... э-э, отчего у Доротеи? А дом-то, хозяйство свое... как? — недоброе предчувствие обожгло Алешку.

— Да мы ж тебе, Алеш, писали. Про все ж писали.

— Про что... про все?

— Го-осподи! Да как же ж! Проклятый Вербук у нас дом-то высудил. И хозяйство... Все высудил. Говорит, ты ему много задолжал. — Любка пугливо поджала к животу руки.

От такой новости Алешка сразу весь замлел.

— Как, э-э... высудил? Как, э-э... задолжал? — выставлял он вопросы, будто пики.

— Тогда еще... Как о тебе слух прошел... Он и... высудил. Мы было у тяти жить стали, да не ужились. Добрая душа у Доротеюшки, она к себе нас в Сидоровку позвала. У нее мужик Калистрат хоть и мордва, а хороший. Плотницкую работу всякую справляет. Они себе еще в третьем годе новый дом поставили, а старая их изба в ограде пустая была. Так в пустой-то мы как раз и разместились... Хлебушка от ребятишек ни Доротя, ни сам Калистрат не прячут. Что уж своим, то и нашим. С одного стола. Калистрат, говорю, славный человек, хоть и нерусский. А у тяти, говорю, не ужились...

— Дом, говоришь, высудил? Нету, говоришь, теперь у нас... Нету, говоришь, дома? — не слушал Алешка уж больше ничего. — Задолжал, говорит, я ему? Ну... Ну-у, Мирон Мироныч, отдам я тебе должок! Отда-ам! С лихвой! С привеском! Коль задолжал-то я тебе. Отда-ам. Не те мы, чтобы в должниках оставаться. С привеском будет тебе отдача.

— Что ты, Алеш, что ты? — заметалась напуганная Любка. — Да господь с ним. Пускай давится нашим... Что ты опять задумал? Вот и... с черемухой пироги я тебе привезла. Что ты?.. Поешь-ка... С черемухой они, пироги-то... Поросянка Калистрат приколот. Тебе сальца Доротя послала. Уж ты, Алеш, крепись тут, старайся. К господину коменданту я ходила, свидания просила, он тебя хвалит. Потому и разрешил. Говорит, старательный, улаdistый, про тебя так. С господами ладишь, слава богу. Ох, слава богу, что так-то. Ты уж ладь, Алешенька, ладь. Оно, может, скорее и отпустят. Не злодеи же они, думаю, чтобы держать невинного. С ногами как? Я тебе мазей разных привезла. Свекровь Доротина из трав да из сала гусяного наладила мази-то эти разные...

— Ну, Мирон Мироныч! — воротил свое Алешка, не слушая. — Улажу! Я уж как есть улажу! Езжай домой, в свою Сидоровку!..

На этом старичок-надзиратель прервал свидание. Любка сидела на камешке, перед ней была разостлана холстина с разложенной для Алешки едой, холстина сворачивалась под ветром, и соль сорилась блестками на траву.

И вовсе Любка растерялась, когда возникли еще два караульных человека и стали махать руками. Батюшки! Велят уходить. Да как же это? Она ничего не успела рассказать ни о ребятишках, ни о жизни, ни о себе. У нее с зимы в правом боку камень какой будто, это с той поры, как дрова заготавливать ездила, лесины к саням через сугроб таскала. Про это как раз Доротей наказывала особо пожаловаться, чтобы Алеша тут больше думал о семье, о ребятишках, которые могут круглыми сиротами остаться, а она и не рассказала. Что на сердце и на душе скопилось у нее, он не знает. Го-осподи, сколько же скопилось в груди-грудешеньке! А главное, она ничего не успела расспросить, как он тут, чего. Караульные же вон трясут ружьями, кричат...

Любка глядела на удаляющегося Алешку. Она быстро-быстро загадала: если оглянется, то все будет ладно, а если не оглянется, то... И тянулась, мысленно моля, чтобы он с дороги обернулся, в висках набухло, сделалось горячо, она уже почти закричала: «Але-е-еш!» Ей даже показалось, что она закричала, ну да, ну да.

Но он не обернулся. Истаивающая, убывающая за расстоянием фигурка его, минув черные угольные навалы, срastалась с косогором. Будто Алешка не шел, а его, вихляющегося на широком вздыбленном пространстве горы, будто поднимало, утаскивало какой-то дьявольской, погубительной силой.

Она женским чутьем поняла, что больше не увидит мужа. А поняв это, тут же, перед стражниками, ходившими в затени, осела на убитую землю. И тотчас испугалась своей такой слабости, а больше насмешек солдат, встала на онемевшие ноги.

Встала и снова потянулась, чтобы что-то еще увидеть. Еще угадывался на склоне горы темный штришок, то, что осталось от мужа; но она увидит, когда он обернется, конечно. И все глядела, надеясь — обернется, ну да. Теперь, даже если закричать, не услышит — далеко вон уже. Но он обернется, непременно обернется... Не надо кричать — обернется...

Кто-то заслонил всю оставшуюся видимость.

— А ты разве не узнала меня? Не помнишь? Я племянник Мирона Мироновича. Как там дядя поживает? Здоров ли? Приветы с тобой он мне разве не передавал?

Перед Любкой стоял один из охранников, лицо сытое, нос крупный и мягкий, а глаза усмешливые, он держал, покручивая в пальцах, лесную фиалку, нюхал. Цветок был густо-синий, а сердечко зеленое, это она почему-то сразу приметила, что сердечко зеленое.

«Чего он?» — безотчетно подумала. Медленно пошла от зоны. «Племянник?» — сама собой обострялась память. Ну да... Тот самый, который приходил с Вербуком. Когда дом отбирали. Тупальский, кажется. При Алеше его в городе не было, и Алеша, наверно, не знает про него. Может, и этот Тупальский ничего не ведает тут про Алешу. И теперь узнает, будет ли лучше от этого для Алешки? Ох, грех на греху!

Любка шла серединой дороги, взбивая ослабленными ногами пухлую, прогретую солнцем буровато-черную пыль, на которой следы ног обращались в борозду.

В знойной белесой высоте, ища у облаков прохлады, лениво продолжали кружить все те же птицы.

Теперь вся надежда на главного тут начальника, к которому надо пойти, сейчас же пойти. «Он-то поймет, — думала она, — поймет, что детям без отца — никак. Потому велит отпустить... Конечно, велит. До срока. Надо вот только все как следует обсказать, он велит...»

Под тыном, тянущимся далеко вниз по скату горы, в тени, на пустой, заглаженной до лоска каменной плите, два немолодых солдата забавлялись тем, что кидали медную денежку. Любка приостановилась, ссунув со спины котомку.

— Из каких мест будешь, пригожая? — спросил солдат, задержав в руке пойманную в воздухе денежку.

Любка не знала, насколько судьба мужа зависит от этих людей, поклонилась им низко. От такого поклона кофта ее, тонкая, с рядом мелких пуговиц, упруго набухла в груди.

— Красотка! — солдаты принялись оправлять свои рыжие гимнастерки под ремнями.

— К мужу приходила я, — угодливо отвечала Любка.

— Не кручинься. У нас в роте женихов много. Выдадим тебя за лучшего, — зареготал тот, что был ближе, и лицо его в смехе сделалось похожим на запеченную свеклу.

Любка еще поклонилась и отошла. Летали крупные птицы, которые все зачем-то закручивались в небо, в самую его купольную высоту. С дороги просматривалась возвышенная часть шахтной зоны: опять же угольные бугры, забойные ямы... Где-то он там, ее Алеша, ее беда и сладость!

На крыльце штабного дома стоял узкотелый, будто веретено, офицерик, он спросил Любку об ее нужде, велел прийти позднее: комендант занят, освободится не скоро. Когда Любка пришла снова, ей было сказано — уже не тот офицерик встретил, а другой, постарше, в сапогах с высокими бутылочными голенищами, к нему Любка почему-то сразу прониклась доверием, — ей было сказано, что коменданта уже нету в доме, он выехал на станцию, за пределы острога, будет лишь только завтра, но непременно будет и пусть она, просительница, непременно приходит. «Добрый господин», — подумала.

До сумерек просидела у речного берега. Мало-помалу голова свежела. Любка стала настраивать себя на завтрашний день. Ну да, завтра все у нее будет по-другому. По-другому, непременно.

В заезжем бараке, примыкавшем к разреженному лесу, верстах в трех от зоны, остановилась она ночевать. Впотьмах, не зажигая сальника, ориентируясь на серый квадрат оконца, она тихо, как бы крадучись, про-

бралась в отведенный ей кастаньяншей глухой закуток, боялась, что кто-то из постояльцев остановит ее. Вопреки ожиданиям она заснула почти тотчас, как только раскинула войлок по бугристым доскам. Будто бы окунулась во что тягучее, мягкое, обволакивающее. Измаянное тело освободилось от забот. Все было и не было: камнем в теплый, парной омут.

Но пробудилась скоро. Должно, пробудилась оттого, что почувствовала в себе острую потребность разговора. Покашляла, чтобы привлечь к себе чье-либо внимание. Чтобы кто-то спросил: «А какие у нас, подруженька, дела?» Так спросила с вечера добрая кастаньянша, стоявшая в дверях с лампой в руке, грузная, с натужным дыханием, должно, несчастная в своих хворях. Но Любка не расположена была в тот момент к разговору. Промолчала, а теперь душа у нее ныла.

Барак сохранял в темноте тяжелое безмолвие, будто все, кто был тут с вечера, куда-то разом пропали. Любка еще покашляла. Внизу, рядом, послышалось мяуканье. Звук был сырой и просительный. Любка благодарно потянула под топчан руку. Шерстистый живой комочек упруго толкнулся в пальцы.

«То ли уже утро брезжит, то ли еще нет», — подумала. Привиделось как бы наяву: Алешка уходил с прямой спиной в гору, вместо Алешки уж штришок серенький, шаткий остался, вот уж и штришка не стало, одни кучи на косогоре, она глотнула воздуха... Потом тут же в сумет снежный стала проваливаться и провалилась, гребла руками, делала борозды, вылезала — и только глубже проваливалась. Снег, твердея, ледяно обжимал колени, потом и все ее тело жестким неразрушаемым ободом. И опять голоса в груди не оказалось, чтобы крикнуть...

Го-осподи, морозит-то как!

Вслушиваясь в перебивчатый стук в виске, она с той же ясностью, с пронзительной определенностью осознала, как и тогда, у караулки, когда глядела вслед Алешке... Странно, осознала без паники, глядя на себя уже как бы со стороны, вернее, с высоты, где кружились днем небесные птицы, кидающие на исковыренную землю, к людям, свои крики. Осознала, что уж больше не увидит Алешку, Алешу, Лешу и... и что пришла ей сейчас пора умереть.

Вспомнилось... Дашутка в зыбке сидела, ножонками голыми сучила, в дверь из сеней вошла Стюрка Пыхова, остановилась перед зыбкой, руку протянула, пальцы натопырила, собираясь «козой» попугать девчонку, а сама вдруг напугалась, оторопела: «Ой, да у ей никак глаз чужой! Беда бедовая». «Чего?» — спросила с расстояния, тоже с испугом, Любка, она месила веселкой тесто в квашне. «Да никак глаз у ей чужой, — соседка показывала на сидевшую в зыбке девчонку. — С таким глазом-то, ой, беды хлебнет! Батюшки!» «Ну уж! Ну уж!» — рассердилась Любка и загородила ребенка от недоброй соседки. Однако через годы то же самое сказала про Дашутку старая горбатая цыганка: «Линия у детки витая. Далеко такая линия заведет, а от своей беды все одно не уведет».



Продолжая слушать барачную пустоту, Любка не выпускала из внимания свой правый бок, где под ребром должна бы держаться всегдашняя боль, но боль не было. Не было и того камня, что там прежде держался. Не поворачивая головы, скосила Любка глаза, где был в темноте проход между печью и стеной. Там льняным лоскутком серело оконце. «Что же выйдет с ней, с бедной-то Дашуткой?» — спрашивала сама себя.

Странно, с пониманием неизбежности кончины голова ее становилась яснее, а тело спокойнее. Она думала о них, кого любит, кого должна оставить, и к тихому счастью своему осознавала, что, конечно же, никуда они не могут деться, потому что они все с ней, в ней. Любовь никуда не девается, и люди живут на земле потому, что они в этой всеохватной, нетленной любви. Это как свет от солнца никуда не девается, и сколько бы раз ни приходила ночь, она никогда не отнимет божьего дня от божьего солнца.

Боже! Боже мой!

Как она любила выбегать, ошалелая, к воротам, когда Алешка возвращался из своих дальних поездок. Непременно чувствовала тот час, момент, когда он придет. Так всякая травная былка на иссушенном, обезвоженном в зной супесном полевоом холмике знает о скором дожде, который еще только где-то за горами, за лесами, в самых пойменных низинах набухает и зреет. И час угадывала, и минуту. Тоска в ней перерождалась в бурливую радость, и это чувство она, стесняясь выказывать на ребятишках, прятала в самой себе за напускной прихмурью бровей, за строгостью, но дети, хитрованы, все улавливают, распознают, и глазенки их, гляючи на мать, не верили в ее прихмурь, посверкивали тоже радостью и тоже этак полускрытно. Днем ли, ночью, она не пропускала момента, когда Алешка, свернув у оврага в проулок, подъезжал вдоль черемух к воротам, покрикивал «эк-э-э», относящееся не то к лошади, не то к кому-то еще. Летом, при густоте листьев на черемухах, это самое «эк-э-э» выходило мягким, приглушенным, как через ладонь пущенным, а зимой, по морозцу — резким, остуженно хрустким. Но еще до того, как услышать Алешкино покрикивание, поцокивание губами, еще до того, как ему свернуть у оврага, застучать коню по бревенчатому настилу на дороге копытом, колесу тележному защелкать, а полозьям санным проскрипеть, она уже знала: вот он, уж в улице! Если ребятишки не спали, она шумела: «Дети!» — и вперегонки с ними, как глупая и шальная, летела от порога, мимо окон, мимо поленницы, через ограду, путаясь коленями в подоле юбки.

А еще... Они с Алешкой поехали в Колывань. Первый раз они тогда поехали как муж и жена. Венчаные. Снег освободил дорогу. Любка уговорила об эту пору поехать. Попроведовать свекра и свекровь. Обь еще не очистилась ото льда, переплывали не паромом — лодкой-вертушкой. Мужики жердями отбивали льдины, которые подныривали, налезали одна на другую и шумно сопели, как перекормленные свиньи, из синих разрыхленных ноздрей фонтанила зеленая вода. Лодка выкручивалась.



А по всей Оешке, по обоим берегам этой некрупной спокойной речки, вливающейся в Обь, набухали белой пеной черемухи. Уж так они набухали! Будто кто взбил сметану и навешал густыми хлопьями, лоскутами на черные кусты. Отчего уж в ту весну так рано и густо набухли эти оешинские черемухи по-над закрайками воды, господь их знает. Как вышла Любка на берег, дохнула, так и занемогла. Она тогда ходила в первой своей тягости. Дашуткой ходила. От густоты черемушного духа голова закружилась. Она вскрикнула: «Ой, Леш!»

Алешка подбежал, подхватил ее, понес яром.

«Больше не кружится, пусти, Леш», — попросила почти тотчас она, стыдясь такого с собой обращения. С пристани глазел народ. Оттого-то было неловко. А Алешка все нес да нес. А она все просила, смущенная: пусти, пусти. Однако держалась за его шею, сцепив пальцы. И так таила и вместе выказывала желание, чтобы Алешка пронес еще вон до деревца, еще чуть, вон до той лужайки, пусть, пусть глядят люди. И просила опять же: «Пусти, пусти, Леш...»

Давно, давно, еще соплюшкой, она с подружками бегала тут вокруг пристани, парусничек по тихой реке скользил. Наполовину голубой, наполовину белый был тот парусничек. Потом на берег молодые господа сошли, а с ними барышни. И кавалеры, и барышни были одинаково в белом. Кавалеры бережно и ласково выносили барышень на берег из лодки по мосткам на руках. Барышни эти были дочери управляющего пароходной компанией, а кавалеры — откуда-то приехавшие на каникулы гимназисты. И такая чистота от них от всех шла! Ну, как от черемушного цвета. «Счастливые», — подумала про барышень Любка, ослабла и разревелась. «Ты чего?» — спрашивали ее девчонки. Любка не сказала, да и не могла бы она объяснить то в себе состояние, в незрелом своем сердчишке.

И когда Алешка нес ее через пристань по тем мосткам, она, пряча свое лицо в его мягкую, щекочущую бороду, вспомнила о том. Алешка не выпустил ее до первого двора, что был огорожен от поймы плетнем, откуда навстречу им старуха в чепце и в опояске выгоняла хворостиной табун серых гусей. «А вот возьму да и через весь порядок, через всю улицу протащу, а что», — шалел Алешка не то от весны, от тех же черемух, не то от людского осуждающего смотренья. «Да ты что! — испугалась Любка и, расцепив руки, забила коленками. — Беспутный ты совсем уж, что ли...» «А что?...»

Так вились в голове Любки, лежавшей в заезжем бараке, картины прежней ее жизни.

В этот ночной час Алешка тоже не спал. Было нестерпимо душно, жало в груди, и прочие нудные ощущения были у него в разбитом теле. Запахи немых тел наполняли арестантскую казарму. Сосед сонно крутился на верхних нарах, бил по доскам ногой. Кто-то, также сквозь сон, выкрикивал матерные угрозы. Алешка лежал на нижних нарах, затылком пробовал вжаться в стену, потому что стена была прохладнее. Пытал-



ся связать разорванные, разбросанные свои думы, определиться на том, что надо, от чего горит грудь, однако память заклинилась на далеком моменте. Тогда они с Любкой, вскорости после женитьбы, определились на житье при шпалозаводе, располагавшемся в тайге. Двух недель еще не прожили, а Любка уже ему:

— Уйдем отсюда. Завтра же уйдем. Иль сегодня...

— Да ты что? — очень удивился Алешка. Было чему удивляться: ведь на шпалозавод они пошли из-за хороших заработков, чтобы потом лошадь купить.

— Нет, нет!

— Что — «нет»? — терялся Алешка. — Что — «нет»?

— Да как ведь этот... Пристает! Прохода нету... Этот самый...

— Кто? — жаром окатило затылок Алешки. — Чего ты?.. Кто?

— Да все этот! Кто, кто!

— Кто? — Алешка ухватил молодую свою жену за распушенные волосы.

— Да как этот... Дятел все. — Любка убрала ладони со своего лица и твердо глянула в глаза Алешке. От пальцев на ее округлых щеках остались надавы, лицо как бы полосатым сделалось.

— Ну, этот... — улыбнулся Алешка. — Нашла о ком... Кавалер он тебе, как раз. А мне — соперник. Как раз...

Технорук был при заводе, по прозвищу Дятел. Смуглый низенький человечек с заостренным хрящеватым носиком, обутой в мягкие сапоги, передвигался на полусогнутых ногах шустренько, но при каждом шаге его туловище, отставая от ног, приседало, и острый его носик как бы поклевывал воздух.

— Этот мне как лист к заднице, — веселел Алешка, называя жену дурочкой. — А если что... Точно! Со смолой помешаю его и это... шпалу из него сделаю. Только вот вонючая больно шпала-то выйдет. Точно!..

Теперь вот Алешка свесил с нар ноги. В далеком углу, над парашей, слабо горело пятно светильника. Ждал, что какой-то порядок выйдет в голове. Попробовал представить в подробностях, как бы он тогда стал делать шпалу из Дятла: сперва бы, конечно, просмолил, потом просушил, потом подровнял, руки отрубил... Бр-р!

«Ну... а вот из тебя мы, Мирон Мироныч, это... Из тебя мы непременно это... Ну, не шпалу... Из тебя мы, жирного хряка... Должок тебе отделим. Что мы из тебя?.. Ну-у!..» — пришло Алешке то, о чем надо сейчас думать, и он в возбуждении ударил пяткой об пол, следуя примеру арестанта, который во сне лягался, ударяя ногой шаткие доски.

Кастелянша заезжего барака следующим днем, неспешно управляясь во дворе по хозяйству, проходя с ведрами к колодцу по набитой меж диким хмелем, коноплей и крапивой дорожке, обратила внимание на крайнее барачное оконце, потом, поворотившись, измерила высоту солн-

ца, оно было уже над тайгой, ранний малиновый цвет его успел выгореть с краев, а сами края успели оплавиться.

А на обратном пути, когда шла от колодца, опять задержала взгляд на оконце, по бокам которого вдоль стены росла все та же крапива, доходявшая под самую крышу и задерживавшая там влажную тень. Под стеной сидела кошка, она щурилась от встречного тугого солнечного луча, лениво следила за воробьями, прыгающими напыженно по бельевой веревке, и за ласточками, секущими густой, застойный воздух над двором.

Поставив ведра на траву, женщина подошла к окну, стукнула в раму.

— Э-эй! Подружка! Солнце-то уж вон где, — сказала она громко, увидев через стекло, что постоялица еще и не вставала с ночи.

А когда кастелянша вошла в комнату — перекрестилась. Любка лежала на топчане головой к проходу, все лицо ее было оглаженным, совсем молодым, из-под век мерцали белки, на приподнятой верхней губе наметилась скорбная бороздка, стесненно, в смущении говорившая о каком-то тайном сожалении. «Свят, свят», — попятилась кастелянша. Любка была мертва, так определил господь.

### Свой интерес, своя революция

Бежал Алешка из острожных копаней в 1908 году. Другой раз в 1909-м. И еще в 1911-м. Каждый раз его привозили назад. Экзекуции подвергался, как и положено, возле кордегардии, на лысом бугре, со всех сторон обозреваемом. Это дело всегда делалось торжественно, при строгом порядке. Секли его, однако, не шибко. Жалели в нем работника. Комендант Черных, по-острожному Чурпых, из чудачества ли, из доброты ли, а может, верно, из дальнего расчета, так и наставлял старого кривого офицера Жукина (Кривушу), назначенного бессменно справлять экзекуцию: «Отделявайте, да только чтобы работник остался. Потому как крепкий работник в России изживается, все больше болтун пошел...»

— Не дураки, понимаем, — отвечал Кривуша, не любивший лишних разъяснений по той причине, что надо было долго стоять и долго напрягать голову.

В первый раз Алешка в трясинных, моховых болотинах, в сонмищах неумного липучего гнуса протерпел без малого три недели, обходную тропу искал; тропы были, зверь их набил, но звериная тропа не годилась, моховой пласт-зыбун, поросший клюквенником, разрывался под ногой, не держал человека.

В острожном госпитале, куда Алешку поместили после битья, доктор Звонницкий, этот веселый человек, ну прямо-таки ахнул и руками перед своим сухим носом закрутил:

— Да ведь, дружок лазоревый, скажу я тебе, на култыгах, на отморозках твоих... Скажу я, на ступнях у тебя, Зыбрин, никаких атрофий. Вовсе! Ты понимаешь? Совсем новая кожа на ступнях у тебя пошла.



Ну, скажи, скажи нам, у каких ты таких докторов, знахарей побывал? Какие такие мази ты там прикладывал? Какие курорты прошел? Ты сам-то погляди.

— Зудит, — пожаловался Алешка, сам придя в неловкое состояние от такого внимания к себе.

— Вот это и как раз славно, что зудит, — отвечал Звонницкий, тыча серым ногтем в Алешкину ногу и придвигаясь к свету.

Продержал он Алешку на довольствии госпитальном дольше положенного, чем и навлек на себя подозрение Кривуши, а после, в зимние дни, все зазывал при случае Алешку к себе и приказывал разуться.

— А ну-к, дружок лазоревый, сымай обутку. На какую ногу у тебя в забое крепче нажим? На ту иль на эту? А-а, на ту? Сымай. Так, так. Постой, постой... Ты явился со своих бегов, от тебя тогда на версту прелым разило. Вместо штанов на тебе — гнилые обремки были. Отчего же это они у тебя, дружок лазоревый, в таком деликатном виде были?

— От мокроты, отчего же кроме, — отвечал Алешка угрюмо, с неохотой вспоминая черные дни своей короткой неудавшейся свободы.

— Так, так. Ты что же, что ж, так все время в той мокроте там и сидел? Или — чего? Яма, что ли?

— Зачем яма? Болотина.

— В болоте все сидел? Не выбирался наружу? Потешник ты этакий.

— Зачем сидел? Лазил, — уточнял Алешка.

— Как лазил?

— А как лазят, так и лазил. Чего интересного? Где на четвереньках, где как, значит.

— Все по болоту?

— А где же еще? Там сквозь гиблые места. Если б не гиблые, разве б я не ушел? Э-э, лови ветра в поле.

— Ну-ну, — доктор не то удовлетворялся, не то нет, и в следующий раз при встрече так же зазывал, велел разуваться и опять же про то выспрашивал.

Второй побег у Алешки был через год. Была тогда долгая и сухая осень, тайга горела и в горах, и в болотах — вся горела. Дым и чад натягивало на всю зону, дым синими лентами вползал в забои, дышать становилось под землей нечем, даже в закупоренных, полных мертвого тления бараках ночами пахло жженой смолой.

Лишь после Филиппова дня выпавшие снега смогли унять эту расходившуюся по лесам пагубную стихию, лишь со снегами произошло в каторжной жизни какое-никакое обновление, вернулась надежда.

В один из дней Алешка был послан с конвойными налаживать порушенный мост, через который проходила дорога, уже набитая санными полозьями. Дорога после ночного морозца давала блеск, а кроме того, блистал снег и на пихтах, убранных в пока еще неплотные синеватые куржаки. Тишина держалась под деревьями, а дальше за мостом, в глубине

лесной, все было повергнуто в дремоту, в сон. Оттуда, из глубины лесов, как раз и тянуло надеждой.

Алешка свалил сосенку, она упала под берег, достала вершиной ледовую гладь реки, но лед уж был окрепшим, под ударом дерева не раскололся, обозначились стрелки, брызнувшие к кустам. Течение воды подо льдом на короткое время сбилось, пустив зеленые пузыри, которые, не имея выхода наружу, припаялись к ледяной изнанке и там разом отвердели. Алешка постоял, глядя на такое дело, потом принялся обсекать с дерева сучья, шкурить. Комель он поместил между пнями. Так было ловчее тесать.

Всякая работа вызывала в Алешкиной душе сладость, он не приметил, как из тайги возникла кошевка-плетенка, запряженная парой пегих, как пегие вбежали на мост, а увидел их, когда они были уж по эту сторону мостка, над самой его головой. В кошевке сидел человек в бараньем вороте, он ворот отогнул и обратился почему-то не к конвойному, сидевшему ближе к дороге, а к Алешке, который был внизу, под берегом.

— А скажи, где тут, по какую сторону будет контора лесного ведомства? Куда поворачивать?

— А вон туда, — показал конвойный с желанием услужить господину. Алешка же ничего не отвечал, да и не его это дело было — входить в разговоры.

Лисья безухая шапка на проезжем от быстрого разворота ссунулась с головы на плечо, а потом и выпала из кошевы. Господин потянулся руками, чтобы ухватить ее, но шапка как живой была, имела другое намерение, она по скосу, промеж кустами, округло и мягко скатилась на самый лед, оставив по пухлому снегу приметный следок.

— Подавай! — вскричал конвоир Алешке, взбодренный такой ситуацией.

Алешка через куст поддел шапку топориком и метнул ее наверх, метнул прицельно, уже с интересом. И ведь попал — через бугор, через кусты, — попал в растопыренные руки, чем доставил сам себе удовольствие.

Вечером Алешку позвали из казармы на вахту. В узком непрогретом, сыром после мытья коридоре, освещенном сальной свечой, забранной в железную решетку, дежурный караульный офицер, им был Жукин, подал льняной кошель. «Пожертвование сострадательного господина», — сказал и выжидательно, с вопросом вперился округлившимся глазом в арестанта.

Пожертвования каторжным от разных лиц были нередкими, особо на праздники, но сразу на весь барак приносили, на всю команду. А так, чтобы отдельно кому, тоже, конечно, бывало, однако Алешке такого внимания еще никто не оказывал, в поселке среди вольных у него знакомых не было. Он понял, что это тот, проезжий, благодетельствовал его.

Опять грудь заложило камнем, опять тоска по свободе затемнила рассудок. К новому побегу он начал готовиться в эту же ночь. Впрочем,



вся его готовка только в том и состояла, что, угостив старосту по казарме качемазной рыбиной и колбасным куском, оказавшимися в кошеле, он добился, что попал в команду, какая ходила на работы за пределы огороженной зоны, в неближний лес — рубить крепезную стойку...

В архиве сохранилась докладная старшего конвоя: «6 декабря... ссыльнокаторжный разряда гражданского Зыбрин, именем Алексей, дерзкий учинил побег с лесных работ, в убеге и пребывает...»

А дерзости-то никакой и не было. Просто он от сосенки к сосенке, от кудрявой присядистой елушки к елушке перебегал с топором да и ушел с глаз конвойного.

Но болотная трясина, эта гнилая бездна, и под снегом дышала тем же дыханием, гибельно расслабленная, мороз ее не одолел. Темные плешины по белым прогалам курились, как котлы в аду, а деревья вокруг звенели густо навешанными бахрамами-сосульками.

Еловый лапник хоть и заметал путаный след беглеца, а все же не замел вовсе. Одну только ночь лесной волей подышал Алешка, хоронясь в чащобе рядом со старым, должно, больным сохатым, сипло, обреченно выхаркивающим в стылый мрак короткие звуки.

«Принятием сыскных мер ссыльнокаторжный разряда гражданского... изловлен 7 декабря...»

Секли опять же под барабан у той же кордегардии, на бугру, с тем же великодушным наказом Чурпыха: «Крепкого работника не забить, оставить...» И опять — к Звонницкому.

— Вот мы сейчас, Зыбрин, испытаем на тебе твое же средство. Испытаем непременно, — радовался доктор, встретив Алешку. И, повернувшись назад, позвал из двери санитара: — А ну-к, дружок лазоревый, любезный, неси-ка сюда, что мы там приготовили для нашего бегунка. Неси-ка.

Санитар был дряхл не то от прожитого времени, не то от хворей, он нес сразу и наполненное ведро, и пустой медный таз.

— Прodelай-ка этому молодцу свою экзекуцию, — наставлял Звонницкий, сидя на табурете у окна. — Да хорошенько прodelай. Чтобы не заскучал.

Звонницкий, рассказывали, в давней своей молодости был каторжным, тоже пускался в побег, был бит, теперь же тут состоял на бессрочном поселении.

Санитар, растопырившись на вялых ногах, плюхал на спину Алешке мокрую тряпицу, тер от шеи к заду, снова окунал в ведро и опять плюхал. Саднило и жгло, Алешка мычал, а чтобы мычание в крик не перешло, грыз смолевый угол скамейки и щепу не сплевывал, а сглатывал, сжевывая.

— Эта водица, Зыбрин, тебе знакомая? Твоя, твоя водица, — приговаривал Звонницкий с той же веселостью в голосе. — Быть тебе, дружок лазоревый, с наградой за открытие такое. Комендант вот представит тебя к Георгию. А что! Открытие натуральное...



Мимо Алешкиных ушей шли эти слова, его мутило, а в голове туманилось, как на тех гнилых болотах в тайге. Притерпевшись, он послабил в себе жилы, саднение сменилось покалыванием, а потом и вовсе не стало боли, его сморило, он впал в забытье.

— А что? Вот доложим коменданту, и пусть представляет к Георгию. Непременно к Георгию, — потом все дни забавлялся веселый доктор, разглядывая Алешкину спину. — Доложим, не утаим, оценивает пусть твои заслуги, оценивает.

Верно, Чурпых скоро затребовал Алешку к себе и, как после рассказывал Алешка, потчевал его чаем со всякими господскими деликатесками.

— Еще будешь бежать? — будто бы напрямик спросил комендант, нацелившись остывшим зрачком. — По совести, Зыбрин, отвечай.

— Коль по совести, то... — немного подумав, сказал Алешка, — то... побегу еще. Потому как такое дело. Потому как не могу никак без того, чтобы не бечь.

— Так, так, — комендант будто бы даже поощрил и глаза смягчил. — Из-за воли бежишь, из-за детей? Из-за детей или... или туда же, в эту... в эту... в революцию? — Комендант повернулся и стал смотреть на стену, где висели ремень с кобурой.

— У меня свой интерес. У меня своя революция. — Алешка упрямо глядел на коменданта, а потом туда же, где ремень с кобурой. Там еще висела высокая рама с нарисованной женщиной. Женщина эта имела лицо почти круглое, освещенное, и черты надменные.

Комендант жил одиноко, хотя были у него и жена, и две выросшие дочери. Жена приезжала из города лишь по каким-то праздникам, да и то больше для того, чтобы изругать ленивого денщика и наставить нерадивого повара, а дочери не ездили к отцу и совсем. В молодости он был, говорят, видным, бойким гусаром, девок дюжинами завлекал, а потом на беду свою и сам завлекся, встретивши переселенку из Малороссии. Случилось это, говорят, где-то под Омском, у сельской церквушки, где переселенцы остановились, чтобы отслужить молебен.

Комендантша давно раздвинулась в мягких своих телесах, сварливой стала, только вот чувства у бывшего гусара, тоже постаревшего, остались, говорят, к жене такими же, как и прежде...

— Так, так, — комендант подернул щекой. — Ну, это уж так. У всякого своя молитва. Если бы мне доложили, что из-за революции ты бежишь, я, э-э, не поверил бы... У тебя свой ум... Жалко мне, что пропасть можешь, истинно русский мужик. Пропадешь.

Чурпых опять подернул щекой и выложил обе ладони на стол, они у него были длинные и сухие.

Алешке сделалось очень даже жалко самого себя, а комендант говорил:

— Нашел бы я тебе, Зыбрин, возможность... через прокурора нашел бы. Через губернатора. Отпустили бы тебя. Такая возможность нашлась

бы. Если бы ты, Зыбрин, определялся по-другому... По-другому... Если бы ты по другим статьям шел. Политические такими работниками не бывают. Они лентяи и зловредные болтуны. А ты истинно русский мужик. Я бы тебя, Зыбрин, на свой прииск отправил. По-вольному. Живи себе и работу справляй. Бабу к себе бери, детишек. Но... разряд не тот, статья у тебе не та. Лечебницу мы вот налаживаем на минеральных водах... Да, доложили мне, что это как раз ты нашел эти самые воды, которые из-под горы в болото стекают. Хвалю. Но... не об этом. Лечебницу мы, говорю, наладим на водах. Монах при лечебнице будет. Опять бы вот... Я бы тебе вольную... Но опять же, говорю, не могу. Разряд не тот. Понимаешь?..

Так передавал Алешка. Но сам он так и не понял, зачем был зван к коменданту. Не затем же, чтобы попотчеваться чаем с колбасками, с конфетками да разговоры такие поразговаривать насчет житья-бытья.

В третий свой побег, это уж в 1911-м, он, Алешка, ушел прямо из копани. Ушел с артелью. Через пустоту, обнаружившуюся в середине горы, то есть через пещеру. А так как выход у пещеры оказался с другого боку горы, не внизу, а уж вверху, у самого гребня, то и дальше беглые держались того же гребня, хоронясь в тех высоких скалах, где из всего живого водились одни буренькие зверюшки пищухи, именуемые сенокосцами. Копешки сухой травы, заготовленные на зиму этими зверьками, были на каменных плитах, а сами пищухи глядели из щелей и о чем-то спрашивали: «Чек? Чек?» Может, о том, что это за оборванцы такие и куда идут?

Когда же сошли вниз, то на краю урмана встретили чистенькую деревеньку из дюжины дворов, крытых наглухо сосновым корьем. Тут взяли в запас муки и солонины. Запас пришлось делать воровски: ночью залезли через крышу в амбар, стоявший у леса, а потом уходили, стараясь не очень возбуждать собак. Встреча с таежным мужиком, живущим не пашней, а разным диким промыслом, опасна более, чем с казачьим разъездом или караулом. За всякого доставленного в острог беглого, за живого или за прибитого, награда мужикам одинаковая.

На реке, встреченной на пути, при виде другого берега, равнинного, с просторным пойменным лугом, сердце Алешки вдруг охватило болезненное томление от близкой и окончательной свободы. Беглецы обстирались, починились, отлежались, каждый себе представляя сладость уготованной впереди жизни, потом каждый побрел в свою сторону, по своей тропе.

Алешка свернул от реки вправо, пошел по разложине, выжженной недавним пожаром, где были черные, обугленные деревья-голыши. Когда наступил снова живой лес, попавшаяся тропа вывела скитальца на железнодорожный полустанок. Тут было всего два дома, над ними зеленые свечи пихт. «Хорошо бы раздобыть какую-никакую одежду, — подумал Алешка, затаившись за деревом и оглядывая себя совсем невесело. — Переодеться бы, да... Скинуть лохмотья. И еще бы чуть подстричься...»

Ложились сумерки, но мрак не уплотнялся, ночь наступала больше-лунная, и небо оставалось голубым и глубоким.

От стены леса исходило парное тепло, острый запах смолы мешался с ароматом перезревших трав. Беглец стоял как бы между двух воздушных потоков, он сощипывал хвоинки, прощупывал их в пальцах. Ага, хвоинки не круглые, а плоские, жесткие, истонченные. Ага, это... это к долговременному ведру. Значит, славно! И звезды в небе, мерцающие зеленоватым светом, говорили о том же — о ведре на все ближние дни. Славно! Теперь, значит, только одежину какую-никакую.

Алешка пробрался к освещенному окну, приставился бровью. Гладкая прохлада стекла. Тотчас отсунулся назад: голотелая бабешка над корытом. Перемогая мужское смущение, Алешка приставился бровью к стеклу еще раз... Ишь ведь, плещутся, резвухи.

Потом, с тайной усмешкой, взбодренно, он перебежал снова к лесу, в смутности припоминая, проезжал он когда этот полустанок или не проезжал, будучи кочегаром на паровозе. В лунном пятне отдыхала корова, похожая на травную кучу, вразброс лопаты, ломы, метлы. Их, метел, был ворох, а у деревянной поленницы раскиданы чурки.

Насыпь с рельсами гляделась высоким бугром. По ту сторону деревья выступали своей верхней частью, этаким зубчатой полосой, нижняя же часть поглощалась теменью.

Э-э, вспомнил Алешка, да ведь тот самый это полустанок, где они были в недобрую ночь с Афанасием и Еськой!.. Тот! Мужичок хилый с одними девками тут жил, с дочерьми. Неуж не рассовал он их замуж? Жив ли сам-то, страдалец? Уж не составила ли бригада путейщиков из одних баб?

Вон ведь не зря чурки по двору валяются поколотые. Э-эх, подмочь бы им, голышухам, в этом деле. Вон и топор на земле брошен — без хозяина.

«В юбку нарядят, сам себя не узнаешь», — посмеялся Алешка, нарисовав в голове такую возможность, чтобы на манер бабы нарядиться.

Где-то уже близко колеса били по рельсам, поезд из межгорий накачивался, от его стука тайга раздвигалась и жестяно шелестела.

Поезд не встал, но ход свой убавил, Алешка метнулся вдоль, успел ухватиться за железную, тряско можжащую скобу и завис. Струя встречного воздуха толкнула с обратной стороны и стала сваливать к буферу.

Вагон был без крыши, по густому серному запаху Алешка определил в темноте, что гружен вагон углем, и уголь-то как раз с осторожных копаней.

«Поезд, однако, долгий», — подумал Алешка, слушая дальний перестук, он лежал расплущенно, с болью в бедре. Когда боль поутихла, он оперся на локоть, пошарил за опояской — кошель нет. Пошарил вокруг, рядом — нет. Знать, оборвался кошель при посадке. Это очень, очень расстроило. Ведь в кошеле кроме остатков солонины была чистая рубашка, выменянная в зоне у водовоза.



Алешка сел, подперев затылком ребристую стойку так, чтобы видеть ночное пространство. Паровоз, учащенно бухающий на подъемах, угадывался по снопу сочных искр, это было похоже на роение мушек-светлячков, освобожденно улетающих в леса. Небо снизилось, луна ушла в тучи.

Соскочил он уж на замедленном ходу, когда близко от насыпи стали промахивать черные кучи строений спящего Новониколаевска. Вот он ты, сотворенный бедами, скудостью и отрадами город! Душа к тебе летела, и сердце стремилось. Откос оказался крутым, щебенка, на которую он упал, потекла под его задом куда-то вниз, увлекая его. Вон пробрызнула по-за кустами шаткая в слабости, изломанная ниточка света. Ага, там бодрствуют. Дверь приотворена, из нее как раз и истекает на землю и на кусты слабый, истонченный свет.

Эй, гуляшки да гуляшки,  
Ночь играем у Дуняшки,  
А Дуняшка девка — во,  
Пляши-делай с ней ково!..

Эту разудалую песенку и сам Алешка когда-то певал в азартном легкомыслии. Все в нем так и колыхнулось от разгульного удовольствия: эка ладная песенка, эка! Он даже покрутил в пальцах свое левое ухо и помычал, стоя перед дверью. Шагнул в избушку уже безбоязненно, потому как веселье такое может происходить только у известного, то есть своего, нашего брата.

Карминно тлел в копченой мисочке жировичок. Две широкие, с буграми лопаток спины, сплотившись плечами, раскачивались туда-сюда, вперед-назад. Другие люди лежали вповалку, снопы будто, ногами и головами в разные стороны, лежали они по земляному полу, бедняги. «Гляди-кась ты, а! Воля, она какова! Одно слово — свобода!» — мысленно сказал сам себе Алешка, наблюдая сокрушенных в единоборстве с сивухой артельных мужиков. Гостю было тут же подано.

— Будем пить и петь, красоток иметь... Найдем по махонькой, э-э... чем поят лошадей! Ить пьют и песни поют для людей, а спят да едят для себя. Ксплуататоры пускай жрут да спят, им конец скоро. А мы спое-ем. Э-эй, гуляшки да гуляшки, ночь играем у Дуняшки, а Дуняшка девка — во, пляши-делай с ней ково!.. Или лучше вот эту затянем, браток. Э-эй, жил-был мо-олодец Яшка, да Яшка слесарь удалой... Вали, подтягивай... До утра будем.

И не спрашивали Алешку, откуда он, чего тут. Эх, забубенный, широкодушный народ! «Свобода, волюшка», — повторял Алешка, растроганный родственными чувствами.

— Мне бы вот сменить... — попросил он через какое-то время, захмелев. — Одежину какую-никакую, чтобы, это, сменить...

— Э-э, дак ты вон что! Дык ты вон с откудова! Ну, эт мы счас. Эка ли беда! Счас... — Мужики вконец-то разглядели в Алешке беглого острожника, но не удивились, будто привычным для них это было дело — встречать беглых-то да одежиной их снаряжать.

А разглядев, они суетно заволновались. Тот, который с репейными колючками в волосах, вывернул свои обе руки назад, принялся соскребать со своей спины напотевшую, в ржавых пятнах, рубаху. Другой же поспешно развязывал посконную веревку у себя на штанах, а развязав и убедившись, что под штанами нет больше ничегошеньки, кроме грешной плоти, вдруг озадачился, нахмурил мятое лицо. Потом он, припав на четвереньки, с такой же хлопотливой, усердной поспешностью принялся стягивать штаны со спящего босого своего соартельщика.

Обесштаненный спящий человек сочно всхрапнул, переверотился со спины на живот и, задрав босую ногу, с опозданием лягнул. Но угодил он пяткой не в обидчика, а в стену, которая шатнулась и загудела, а сам человек при этом не проснулся.

Экипированного таким образом Алешку, однако, не отпускали по доброте своей душевной, все уговаривали:

— До утра будь, чего там! Детишки, говоришь, ждуть? Сиди! Потеряют тебя где — не беда. Потерянным станешь жить. Эк! Мы вот тут, может, все потерянные.

— Ксплуататоров изничтожим, — вторил другой. — Изничтожим, тогда и... это, найдемся. Работать не надо будет. Чего тосковать! С барей штаны посымам...

— Эк, баба! Мы вот без бабы да зато с песней. Э-эй, жил-был молодец Яшка, да Яшка сле... Жизнь, она вот так. Потому что выверт такой у нее...

— Нет, однако, я уж пойду, — отстранялся благодарный, совсем обмякший от добрых чувств Алешка. Жалко было расставаться. Волюшка, вот она!

Да-а, хорошо так-то вот, как давно-давно не было. Будто бы сейчас на высокой высветленной горушке он стоял, а все то, что было вчера, годы назад, где-то внизу, в ямине затхло, отстраненное, его никак не касалось... Так уж совсем далеким гляделся отсюда тот оставленный мир.

«Ксплуататоров изничтожим, работать не надо будет. Все наше будет...» — эта чудная хмельная приговорка казалась ему благостной, легкой, ясной.

На свою улицу пришел Алешка, когда небо уже предрассветно горело, будто горн в кузнице, где кузнец должен был вот-вот кинуть пышущую заготовку на лобастую, ждущую работы наковальню. Улица встретила его сонной пустой тишиной, даже собаки не бегали и не тявкали.

Пятистенник свой он увидел, нет, не увидел, а буквально выхватил обжажданным, ищущим, нетерпеливым взглядом еще из-за оврага, над черемухами: сперва конек крыши с трубой увидел и обласкал, потом карниз, потом затемневшие торцы верхних бревен по углам...





Но что это? Поверх ставень горбыльные, в корье, доски крест-накрест. Алешка перебежал овраг, остановился, постоял и дальше пошел уж мелкими шажками, как-то подсечно. С торцов и по стенам выbleскивали смолевые подтеки — это была очень худая примета, когда смола выталкивается не внутрь, а наружу. Прежде чем влезть на завалинку, он утробно выдохнул, из-за наличника шмыгнула взъерошенная пичужка, там тотчас обеспокоенно, покинуто зачиликали пичужата.

Посырав горбылины, Алешка сел на крыльцо, на нижнюю расщелившуюся приступку, уже не находя в себе сил, чтобы войти в дом и увидеть в нем пустоту и порушенность. Стремясь сюда, он ждал, что в доме кто-то, хоть чужой, хоть недруг, да живет. А оно вот — пустота, неошкуренный, суковатый еловый горбыльник крест-накрест на окнах да поросль седоватой лебеды у порога и у ворот. Какое сердце это выдюжит!

Высокие-то окна — это через них, чаяла хозяйка, хлынет в дом уж не мужицкая, не мещанская, а господская сладость. И вот — горбыльник крест-накрест!

Утро медленно, очень медленно поднимало из-за края земли свой накаленный шар, кровянилось небо над городом. Все последние годы жгла Алешку лютая жажда заглянуть Вербуку в глаза. За этим он и завернул сюда, а не сразу в Сидоровку к жене (о смерти Любки он не знал), к детям, к сестре Доротее — заглянуть Вербуку в глаза и спросить, из-за какой такой своей нужды он выгнал его семью из дома, с усадьбы? Когда и в чем он ему задолжал?

Пичужата за наличниками чиликали уж не обеспокоенно, а ровно и звонко, будто в сидевшем на крыльце человеке признали своего. Стуком бадьи у колодца обозначилась жизнь в соседнем дворе, кто-то покашлял за дорогой, проехала порожня телега... Улица просыпалась.

А Алешка, наоборот, засыпал, угнездившись на приступке и подобрав к животу тяжелые свои, в древесных занозах руки.

С крыльца-то, при первом слабом алом лучике солнца, скользнувшем из-за трубы соседа Пыхова и между пихтами, как раз и взяли его, в таком вот виде, ослабнувшего, в полудреме, конные казаки, захавшие не в ворота, а с огорода, забитого тучно многолетним бурьяном.

Комендант острога Чурпых при виде Алешки снял с сухой, в редком сивоватом ежике, своей головы фуражку и погладил ладонью сам себя по темени, потом по затылку.

— Сдержал, выходит, слово-то, — молвил он негромко и почти поощрительно, дважды обошел вокруг непокорного беглеца, все этак же приглаживая на себе ежика.

Перед кордегардией уже наготовленно били в барабан. Воздух, сотрясенный таким колебанием, кружил в себе ржавые листья, летевшие со старой, с черным шишкастым стволом березы, произрастающей из сырого распадка. Над всеми, кто был на плацу, кружили эти погубленные

листья. Старик Жукин командовал лающе, он с годами в такие моменты становился строже, торжественнее.

— Взво-од!.. На пози-иции!..

Наказывали, вразумляли Алешку опять же с тем мудрым, далеко не во всех сибирских острогах соблюдаемым расчетом. Ну то есть с тем расчетом, чтобы не на смерть, не на немощь пожизненную, а чтобы бедняга все ж в силе остался, в силе, годным на новые нужные работы.

Опять же в палате у Звонницкого отлеживался, опять веселый доктор эксперименты над ним свои налаживал. Новым было на этот раз лишь то, что нарядили Алешку в чулки и в суконный колпак и в таком виде наряженного свели в кузницу, что располагалась над крутым каменным яром, за конюшнями. А в кузнице в той умелый кузнец произвел ему на ноги соответственное оборудование: четыре железных прута, сцепленных тремя кольцами, еще теплыми от горна...

«Вот, все, теперь уж никуда, отбегался», — не без печали молвил Чурпых и даже глаза себе платочком утер.

И вспомнилось тогда Алешке, спускающемуся в таком оборудовании по каменистой дороге с горы, про то, как тихим солнечным днем сидел он у себя во дворе на бревнышке, окруженный детишками, налаживал им из талинового прута свистульки, тут же была Любка, она глядела на его, Алешкину, забаву с мягкой иронией в прижмуренных от яркости света глазах...

Да было ли то все или не было?! Жена, дети — где вы? Какая теперь сила вызовет Алешку отсюда? Будет ли время, когда душа его и тело освободятся от боли и от погибельной тоски и он сможет выдохнуть: «Вот я и дома»?!

Опять пошли тянуться в глухой сутеми дни, месяцы, годы... Домой Алешка вернется только в 1917-м.

*(Продолжение следует.)*



Дмитрий РУМЯНЦЕВ

## ИЗ ТРЕПЕТНЫХ ГЛИН

\* \* \*

какой-нибудь запитой запятой пройти, как по листу, по злomu снегу  
озерное величье сняв на «вегу», пока ты пропадаешь за плитой  
и ужин мне, как прежде, мастеришь, любовница моя, моя врагиня  
стихов несочиненная гордыня, малыш

что будет с нами летом? по зиме? пока туманны дальние озера  
пока на жизнь достанет разговора? и жребий, уготованный тебе  
раскроется, как аленький цветок, в романе чесучовая закладка  
а жить нам упоительно и сладко, а вечно жить когда б я только мог

\* \* \*

геликоптер завис над лавандовым полем  
дребезжит над цветком стрекоза  
лето вызрело. в городе пахнет покоем  
скоро грянет гроза

а пока хорошо! и не страшно ни капли  
и ни капли дождя  
и взлетают над лесом голодные цапли  
ничего не найдя

ничего! скоро долгая молния прынет  
громыхнет наверху  
и туман, как надежда, кого-то обманет  
заслонив чепуху

тишины, пустоты. и холодное лето  
словно бабочки четкий эффект  
на дождливом стекле нарисует портрет  
твой, как стих проявившийся этот



### расскажи мне

в австралии уже дожди. зима закончилась, как лето  
но только ты меня не жди: я не приеду  
туманной сделалась пора меж волком и собакой динго  
и только ты в моем вчера — моя блондинка  
и золотые вечера печаль мутит мутней олифы  
идет борьба добра и зла  
дождей, мороза и тепла  
тщеты гитарная мура  
утихла за барьерным рифом

### эмигрантские штудии

допустим, так: канадская оттава  
в лесу опять стоят березки наши  
во рту отрава да в ногах отава  
и небеса, три дня дождем скорбящие  
слезу мешают с лаймом или ромом  
у барной стойки с тоненькой певичкой  
какой-нибудь тверчанкою, москвичкой  
какой-нибудь тарчанкою, омичкой  
и ты опять один, как будто дома  
и за город кочуешь электричкой  
дрянной коньяк закусывая дичкой  
под гул синюшный, под синичий гомон

\* \* \*

Я такую грезу сегодня видел, что не мне хоронить колдовство:  
нынче очень тепло. *Flocken fallen nieder.* Рождество.  
Дети катят с горы, как на мутном видео. Фейерверками снег расцвел.

Умереть — так сейчас же, не сняв рукавичек, от восторга в себя не придя!  
Но насколько прекраснее жить, двух синичек прилетевших

с ладони кормя.

И под вопли эриний (под крик электричек) находить не убитым Тебя.

Ты сегодня ребенок, насельник Рая, Ты сегодня еще в яслях:  
человечков лепишь, не уставая, собирая творожный прах.

И сегодня я понял, не умирая: я — одна из залетных птах.

Я — олень в аркане, я — лось в капкане, я — рыбешка в Твоих сетях...

\* \* \*

и чертит мелом на стекле — о тайнопись! горят снежинки  
 моей возлюбленной блондинки, светлей  
 ночь от белил твоих, зима, я к тайне прикипел легонько  
 звенит морозная поземка, и терема  
 твоих сугробов вековых, как белокаменные храмы  
 и как цветочные поляны — церковный стих  
 и молодое Рождество — как лето, и готовы к Пасхе  
 детей летящие салазки, и колдовство  
 крещенских славных вечеров, твоей любви, призренья Бога:  
 вот, кажется, простыл немного  
 раз — и здоров

\* \* \*

алтайская звезда, гори, апрель дари!  
 что знают обо мне ночные алтари?  
 сердечную свечой пророча мне о той,  
 в предсердьях (в храме чьем) я тоже был мечтой  
 о дружбе, о любви, о сыне, о заре  
 в предгорьях, на лесной тропе, как в алтаре,  
 где снежная фата, что облачко, нежна,  
 где быстрая река утесу как жена.  
 отмерь же, время, мне бессмертия канун,  
 пока еще любим, пока для смерти юн,  
 пока горит гора, как белоснежный храм,  
 и птицы, что оркестр и утешенье нам,  
 а выше облака, как гости на пиру.  
 даруй заздравных чаш церковный звон, даруй!  
 пусть будут судьбы нам глубоки, как река,  
 пусть будут витражи, весна и облака  
 над каждым новым днем и именем родным.  
 и свадьба, и Алтай, как приглашение им  
 на солнечный вираж в преддверии небес,  
 в которые и я бы умер и воскрес...

\* \* \*

В майке «Месси», еще не мессия,  
 сын, ты видишь, ворона протяжно  
 ходит в небе над спящей Россией?  
 Пусть ее твой журавлик бумажный



отрезвит и отправит с неба  
на запущенные огороды.  
Это так себе, впрочем, победа,  
но оставим землю и воды  
за собой, трепещи, Мессалина,  
убирайся за дымом весенним,  
растворяйся в шершавой долине,  
ты пророчицей будешь последней.  
Ты последнее станешь пророчить  
расставание, что тебе стая?  
Но не станет ни тени, ни ночи —  
только рай изумрудного мая.  
Только май золотистого рая.

#### МОЛИТВА

помилуй, Бог, мое отечество! его расхристанный простор  
на звонкой тризне древнегреческой, как переключка хоэфор  
и знает горечь вековечную по невозделанной земле

и там, где проступает истина  
болит во мне  
но ни этрурией, ни грецией  
я родину не назову  
ни питер — северной венецией  
ни римом — старую москву  
она совсем иного норова  
другое у нее нутро  
пасхального живого творога  
ее тепло  
она неярко улыбается  
на шутки притких новостей  
но никогда не похваляется  
когда одна среди гостей  
готовит чашу неиспитую  
для испытания сердец  
стоит за Господа убитого  
и для блудницы или мытаря  
(как голубица — небожителям)  
несет раскаянья венец

прости и правдою насыть ее  
Великий Жнец!



### вербное воскресенье

Весна, что Данте Габриэль Россетти,  
 малюет (с женской прядкой) облака.  
 Уже светло. Отрублены «Россети».  
 Тепло на Волге, Клязьме, на Исети.

Несет река  
 горячий лед. И снежные шпалеры  
 горящих верб  
 даруют для спасения и веры  
 луны ущерб.  
 И будет скоро праздничная зелень,  
 из бездн восстав,  
 встречая птиц, бессмертным людям верить,  
 венчать Христа.

### балет

закружат нас вальс или танго  
 (на пуанты время встает)  
 и ты — бабочка, ты — имаго  
 собираешься в свой полет  
 над бессмертником века  
 над бессмыслицей жизни самой  
 продолжаешь любить человека  
 оставаясь пылью  
 на горячих ладонях  
 о, ванесса-мечта!  
 над холодной невою  
 возле тени моста  
 через темную воду  
 безутешную речь  
 где большую свободу  
 не сберечь  
 там, где маленький ялик  
 и вода, как балет  
 там, где в небе за явью  
 привет  
 от огромного Бога  
 и на крыльях — роса  
 и слеза, как дорога  
 в небеса  
 так как там, за печалью  
 за покатостью крыш  
 необъявленной тайной



ты летишь и летишь  
в мир детей и потомков  
что еще не жесток  
где любовь — чистый хлопок  
и хлопок

\* \* \*

как же Питер порой некрасив  
на манер Петрограда  
опрокинулось небо в залив  
словно зданий громада  
и Нева катит волны назад  
и беснуется ветер  
только звезды в семнадцать карат  
над планетой  
за предместьем кончается мир  
обитаемый  
что же, Петр, бывлой бомбардир  
полетаем?  
здесь луна по-сиротски висит  
и трещит штукатурка  
и стучится, как эхо в гранит  
сердце Санкт-Петербурга  
потому что почти ничего  
кроме выси блокадной  
не допросишься у твоего  
Ленинграда

\* \* \*

Пришла зима, и город вымерз — почти без снега.  
Простим природе этот выверт, моя омега.  
А Альфа тычется в ботинки собачьим носом.  
Слагает мгла на вечеринке вопрос вопросов.  
Мы в вечность просимся, но мы — еще живые.  
Играем в игры, и до тьмы уже хмельные.  
Настанут наши времена — сыграем в ящик.  
Молчание и тишина — мы их обрящем.  
Что жизнь пошла и вот — прошла, поверить жутко.  
Опять пылают в небесах закаты Мунка...  
Но я живу, живу, живу и все надеюсь,  
что в вечность, словно в синеву, кричит Младенец,  
придет кудель, и жизнь — одно из веретенец.



### что хорошо кончается

Притвори за мной двери и книгу открой,  
где герои не ждут и не жаждут друг друга.

И закрой, и захлопни ее от испуга:  
оказаться такими сейчас — на Страстной,  
словно в мире совсем не осталось любви,  
словно сердце, как узник и Бог, искалечено,  
но останься сердечной, любимой навечно,  
и слепи нам ребенка из трепетных глин,  
и вдохни в него жизнь, чтоб цеплялся и рос —  
за мизинец, за мысль, как за папу и маму,  
за моря, за пустыни, небесную манну,  
чистоту и надежду, как хочет Христос.  
нескудеющий глобус с уроков принес,  
как игрушку, бессмертье достал из кармана  
и по тучам гулял меж сияющих рос,  
безмятежен и бос...



Ольга ПАВЛОВА

## ЖИЗНЬ ДРУГИХ

Р а с с к а з ы

### Лес, где растут камни

Утром на лес пал белесый туман.

В вороньем гнезде проснулась белка, крупный самец-трехлетка. Летом шерсть у него была темно-рыжая, точно мокрая сосновая кора, но теперь он оброс серым зимним мехом; только хвост и кисточки на ушах остались почти черными.

Хозяева навсегда улетели отсюда — и хорошо: Черноухий не любил ни ворон, ни сорок, ни соек, ни дроздов-рябинников, а вот гнезда их ему нравились. Почесав брюшко, Черноухий перебрался на ствол, а оттуда — вниз, к камням, облепленным желтыми листьями.

Камни, угловатые и гладкие, торчали прямо из земли; вокруг некоторых еще росли оградкой очень твердые прутья, а кое-где за оголившимся кустарником виднелись палки, соединенные крест-накрест. Черноухий не знал, для чего они: птицы на покосившихся крестах гнезд не вили, а сам Черноухий не развешивал на них грибы — низковато. Подумав о грибах, он резко встал столбиком, встопорщил жесткие усики и помчался мимо камней к развалившемуся от гнили пню: после дождей из него всегда лезли крепкие длинношеие опята. И верно — они уже всю тянулись вверх пестрыми головками, а чуть поодаль целой стайкой набухали дождевики, готовясь выдохнуть облачка зеленоватой пыли.

На Черноухого даже нашло отчаяние: вообще-то он собирался сперва разрыть парочку своих тайников, но и бросать опята без присмотра ему не хотелось, иначе за ними обязательно явится бурундук, стоит Черноухому отвернуться. Пометавшись взад-вперед, он все-таки решил: опята важнее. Откусил несколько, в три прыжка взмыл на шишковатую от наростов березу, поспешно втокнул грибы между тонких веточек.

Отдышавшись, он опять принялся чесаться, но тут на соседнем дереве пронзительно застрекотали сороки. Черноухий тревожно затряс хвостом, однако сороки ругали не его, а коричневую сойку с голубыми искрами на крыльях. Птицы бранились по очереди: сначала щелкали и взвизгивали сороки, а сойка отвечала им карканьем, жужжанием, скре-

жетом, протяжными жалобами. Сойка ловко умела передразнивать других птиц, но Черноухому ее бесполезная трескотня скоро надоела, и он отвлекся на дело поважнее: за камнями замелькала полосатая спинка бурундука.

Бурундука Черноухий то замечал, то не замечал. Ближе к зиме тот пропадал, возвращался весной и в первые теплые дни лишь сонно надувался на сучке, а оживал попозже. Но главное — не сам бурундук, а его норка с кладовой, спрятанная то ли в зарослях ломкого клена, то ли под березовыми корнями. Прошлой осенью Черноухий нашел кладовую и, пожалуй, вмиг разорил бы ее, не прегради бурундук ему путь с гневным свистом. Черноухий огрызнулся на него для острстки, а драться не рискнул. С того времени бурундук успел куда-то переселиться, и, наверное, неплохо было бы поискать его новое жилище: вдруг на сей раз он не решится помешать?

Черноухий напряженно пошевелил ноздрями. Бурундук бурундуком, но летом здесь взял обыкновение появляться Белое Колечко — самец помоложе, двухлетний, со светлой полоской на буроватом хвосте. Как-то они едва не схватились, когда Белое Колечко закопал что-то съестное под гороховником, а Черноухий подсмотрел и попытался тайком забрать себе. Ничего у него, правда, не вышло: Белое Колечко увидел, яростно зацокал и загнал Черноухого на сосну, по которой они долго носились, а кругом суетились испуганные синицы. Наконец Белое Колечко отстал от него и ускакал прочь, сердито подкидывая задик. Маленький, а шустрый, жилистый и злой; Черноухого совсем не радовало такое соседство. Сейчас Белое Колечко носился где-то далеко, не у крестов, но у Черноухого мало-помалу пропало желание связываться и с ним, и с бурундуком. Сороки, накричавшись на сойку, скрылись, а Черноухий вернулся к грибам: в животе поднывало от голода и он с удовольствием впился в душистую мякоть опенка.

Если пробежать лес насквозь в ту сторону, откуда после ночи поднимается солнце, можно было очутиться на открытой дороге. Возле нее росла старая яблоня; дрозды, свиристели и ранние снегири вечно норовили оборвать мелкие кисловатые яблочки, не дожидаясь холодов, а в морозы остатки доедали тихие незлобивые щуры. Не опередишь их — пеняй на себя: склюют до последнего зернышка. За дорогой лежала бурьянная пустошь. Черноухий ею не слишком интересовался, зато по ней во множестве сновали крошечные мыши, а пустельга выслеживала их, дрожа от нетерпения в нагретом летнем воздухе; зимой же болтливые щеглы с яркими перьями ощипывали присыпанный снегом колючий чертополох. У окраины леса год за годом растягивалась полоса крапивы, а за ней стояла стена маличника. Но ни яблоки, ни травы, ни грибы, ни семена, ни малина, ни костяника, ни свежие почки, ни сладковатые клубни саранки, ни мясистые улитки и личинки не были и вполнину так вкусны, как единственное яйцо.

Черноухий обычно быстро забывал все съеденное, а по тому яйцу нет-нет да и скучал, хотя ел его давно, страшно давно — должно быть,

весной. День тогда стоял ясный, и Черноухий весело сигал по ветвям — низачем, просто, — но внезапно замер: за кустами раздался незнакомый шелест. К плоскому камню с нацарапанными черточками вышли какие-то чужие, чудные, высокие. Остановились и тяжело привалились друг к другу, словно подломленные бурей. Приглушенное бормотание лилось из их ртов. Черноухий глядел, не двигаясь. Затем чужой поменьше положил на камень яйцо, и они побрели назад мимо крестов, шурша истлевшей прошлогодней листвой.

Черноухий моргнул. На макушке сосны отрывисто скрипнула вездесущая сорока; медлить не следовало, и он рванулся к камню. Яйцо смиренно подставляло бок солнечным лучам. Черноухому яйца попадались и раньше — белые, синеватые, с коричневыми или сизыми крапинками, — но они водились в гнездах, а не на камнях, и птицы непременно поднимали из-за них шум. Размера оно было огромного — с голову Черноухого, а цветом — будто сочное яблоко. В пастишку яйцо никак не помещалось, сколько ни крути его. Деваться некуда — с собой не унесешь. Черноухий надкусил хрупкую скорлупу. Оно оказалось не жидкое, а плотное и мягкое; Черноухий торопливо выедал белое, жадно тыкался мордочкой в рассыпчатое желтое и соловел от наслаждения, не обращая внимания на сороку.

С тех пор чужие никогда больше не приходили. По крестам ползли трещины с жучками внутри, а у оснований густо распушился мох. Черноухий сидел у пня с опятами, чистил усы и вспоминал то налитое солнцем яйцо, невесть кем, зачем и для кого оставленное среди странных лесных камней.

Позади громко хрустнуло; Черноухий отскочил, дернув шерсткой на хребте, но это была громадная чалая лошадь, изредка забредавшая сюда. Лошадь прихватила губами увядшие травинки, пожевала, покосилась спокойным влажным глазом на Черноухого и ушла обратно в туман. Черноухий не боялся лошади, но от неожиданности потерял прежнюю мысль и ненадолго перестал думать вовсе. Потом вскинулся, цокнул и понесся стремглав в дальний уголок леса, где, кажется, дятел-желна покинул замечательное глубокое дупло.

## Нужные вещи

Серая ворона встретила уже четвертую весну и кое-что понимала.

Если над двором кружил коршун, пугаться не следовало. Он с утра до вечера болтался на воздушных волнах, раскидав крылья, но в драку не лез — опасался. Ему нравилась падаль или усталые голуби с потускневшими перьями, а к воронам он не приближался. Дрозды-рябинники всей колонией прогоняли коршуна из реденькой рожицы; даже черно-белая трясогузка при его появлении не скрывалась, а мчалась за ним с гневным цвиканьем, и коршун едва уворачивался. Не слишком вредила вороньей семье и белка: она любила воровать яйца из гнезд зябликов, мухоловок или горихвосток, а на ворону лишь цокала и тотчас исчезала среди кленов,

боясь, как бы твердый клюв не раскроил ей лоб. И сороки не мешали воронам — так, трещали на березе.

Вороны, белки, голуби, коршуны, мыши, синицы, трясогузки, стрижи, славки, щеглы, сороки, грибы, мухи, дятлы, поползни, зяблики, червяки, пауки и деревья жили снаружи, а кошки, собаки и другие — внутри. «Внутри» — это был громадный каменный ящик с отверстиями; из него то выходили, то входили обратно. Днем маленькие другие садились посреди двора, рыли песок — толку-то, дождевые черви в нем не водились! — бегали взад-вперед за собаками, еле-еле забирались на воткнутые тут и там толстые столбы с перекладинами, громко кричали, падали, дрались или глядели на белку, а ворона не глядела: ей был важнее облезлый зеленый ящик поменьше, за углом главного.

Когда большие другие что-нибудь в него бросали, ворона дожидалась, чтобы они ушли подальше, а затем доставала разные вещи: мясные обрезки, косточки, веревочки, подгнившие с боков фрукты, скомканные бумажки, мягкие тряпки, прозрачные шуршащие лоскуты или почти совсем хороший сыр. Наверное, другие устраивали здесь себе тайник вроде беличьего или птичьего; осенью белки всегда закапывали свои запасы под опавшие листья, а поползни заталкивали зерна за шершавые пластушки сосновой коры. Другие, правда, складывали сюда еду круглый год, но прятали плоховато, неумело, и на месте она не залеживалась: те кусочки, которые не забрала ворона с другом, скоро уносила парочка сорок или неугомонные белки, ноздреватый хлеб расклеивали голуби, а как-то раз ворона заметила возле ящика лоснящуюся крысу. Крыса вытащила корочку и шмыгнула с ней в дыру, ведущую «внутри», у основания стены.

Сама ворона никогда не бывала «внутри» и не садилась на края отверстий — не хотела. Зато синицы, воробьи, снегири, чечетки и дубоносы в холодное время подолгу вились вокруг одного из просторных дупел, куда другие ставили крошечный крытый ящичек с семенами. Сколько бы ни насыпали они туда семян, птицы съедали их подчистую и усеивали пол шелухой. Воробьи бранились с синицами, снегири глухо шипели, но разом умолкали, стоило крупному рыжевато-бурому дубоносу нырнуть к ним под навес. Белка карабкалась на кривую черемуху, с нее перебиралась в дупло и тоже ела из ящичка, а порой вынимала целый орех с морщинистой скорлупой. Наклевавшись, синицы оципывали подвешенное за нитку сало; от случая к случаю наседали на него и пестрый дятел. От сала не отказалась бы и ворона, но чутье говорило ей: лучше не надо. И свистели вслед за синицами не лазили, а рассаживались на рябине или ранетке. Иногда от рыхловатых, подтаявших в оттепель красных яблочек они принимались умирать и падали в сугроб, но вскоре снова взлетали, журча тоненькими голосами; почему — ворона не знала. Обычно птицы умирали насовсем.

Впрочем, сейчас пришли по-настоящему теплые дни, и у ворон подросли птенцы. Раньше они умели только высовывать из гнезда лысые головки, разевать розовые рты и с трудом шевелить слабенькими огрызками-крылышками, а теперь окончательно оперились и выучились пере-

пархивать с ветки на ветку, хотя по тропинкам ходили охотнее. На воронят поначалу пыталась тявкать коротконогая собачонка с репьями на ушах, но ворона с другом ее спугнули, и она ускакала искать за кустами ежа, а рыжий кот и не собирался их тревожить — он потихоньку давил в траве мышей. Ничего особенного с воронами и воронятами не происходило, пока однажды наружу не вышел длинный, высокий другой.

Он подошел к горке песка, где часто копошились маленькие другие, и стал что-то вываливать на него из мешка. Ворона склонила голову набок: это не было похоже на то, чем заполняли ящик, и съестного в образовавшейся куче не виднелось — уж она точно сумела бы отличить издали. Но, может, найдется лишний гибкий прутик для укрепления гнезда или плотная подстилка? Ниже на сосне надулись от любопытства ее воронята — вихрастый старший и гладенький младший. Старший робко скрипнул, но ворона одним движением хвоста ответила ему: нельзя, позже. Наконец другой ушел; выждав еще немного, ворона опять дала воронятам знак.

Младший соскочил на слегка ободранную перекладину, а с нее — на землю. На влажном от ночного дождя песке лежали пустые скорлупки, голенькая, словно птенец, фигурка с глазами и пучком светлых волосков, палка с крючком, палка без крючка и коричневая палка с расплюснутым концом, блестящий кружок с оранжевым ободком, напоминавший очень чистую лужицу, желтый шарик, голубой шарик побольше и прочие мелочи. Все яркое, как настурции, бархатцы или петунии около ограды, а для чего — неизвестно. Следом за младшим спустился старший. Покосился на младшего ясным водянисто-синим глазом, сделал несколько осторожных шажков, замер. Внимание вороненка привлек один из упругих шариков; он толкнул его клювом, и тот послушно покатился. Старший изумленно взъерошился, а младший уставился на разноцветные палочки.

Чуть поодаль остановился новый другой; он, кажется, рассматривал воронят, но ворона закаркала на него сверху, и другой, сгорбившись, побрел прочь. Из-за кленов каркнули в ответ: друг вороны вернулся, закончив проверять ящик. Пораженные воронята наблюдали за катящимся шариком, а ворона внезапно вспомнила: давным-давно, две весны назад, она нашла рядом со входом «внутри» похожий. Он не годился ни для еды, ни для гнезда, но молодая ворона никак не могла от него уйти. Помаявшись, она вдруг резко поддела шарик, и он оживился — понесся вприпрыжку. Ворона метнулась за ним, не позволяя ему ускользнуть, и направила на заросшую клумбу, но по клумбе шарик прыгал неохотно; пришлось вновь увести его через дорогу на тропу между кленами и гонять, гонять до позднего вечера...

С тех пор ворона успела забыть, отчего шарик потом пропал; должно быть, забился с наступлением темноты в какую-нибудь щель. Ворона задумчиво покрутила шейю и слетела к воронятам. Над двором с шумом взмыла суетливая голубиная стая, из-за крыши выплыл коршун, отрывисто чирикнула трясогузка, а из рощи донеслась сухая дробь дятла, но воронятам было не до них. Широко расставив от напряжения ножки, они учились непростому, но интересному делу — обращаться с игрушками.

Алена БАБАНСКАЯ

**«ЭТО ЛИВНЯ СКОРЫЙ ПОЕЗД...»**

\* \* \*

Говорю: поднимите мне веки,  
Говорю: протяните мне ветки.  
Я без малого вечность спала,  
У меня под ногами скала.  
Я вросла в эту почву пятами,  
Что травила меня и питала,  
Чьи жуки пожирали кору  
И в которую скоро умру.  
Эта жизнь — как дурная привычка.  
В голове поселяется птичка,  
В поднебесную свищет лазурь,  
Застревает ресницей в глазу.

\* \* \*

На танцы, хочу я на танцы,  
Где ждет записной ухажер.  
И кружит, и просит остаться,  
Моей красотой поражен.  
Звезда упадет, и другая,  
Ворованных яблочек хруст.  
Пусть бабушка утром ругает,  
Неделя ареста — но пусть.  
На августе воздух настоян,  
Садах и арбузной бахче.  
Все кажется важным настолько,  
Что сердце не бьется вообще.

\* \* \*

Застынешь бабочкой во льду,  
Пожухлою, немою,  
В каком незнаемо аду  
Бестрепетной зимою.  
Метели стелются, клубя,  
Идут с пешней селяне.  
И рыбы смотрят сквозь тебя  
На лунное сиянье.

\* \* \*

Мальчик Миша сверяется с Торой  
И грядущим парадом планет.  
Я сверяюсь с окрестною флорой:  
Флора медленно сходит на нет.  
Я читаю невнятные знаки  
Препинания о небеса.  
Снег летит, точно белая накипь,  
И последний парад начался.  
Что еще мы расскажем потомкам  
О душевном обилии ран?  
Растворимся на плане на тонком,  
Если тонкий останется план.

\* \* \*

Хорошо, когда не спится.  
Хорошо бы вдруг не спиться.  
Хорошо смотреть в окно  
На дороги полотно.  
Хорошо, ворон считая,  
Жить во внутреннем Китае,  
Сенегале и Бали,  
И не колет, не болит.  
Хорошо сдавать без боя  
Это небо голубое.  
И валяться в облаках,  
В отступающих полках.  
Хорошо, пока не умер,  
Воробьиный слушать зуммер,  
Без забот и без понтов  
В окружении котлов.



Хорошо, что нить прядется,  
 Что гуляешь где придется  
 Без одышки при ходьбе,  
 Не противный сам себе.

\* \* \*

Мне котик наплакал,  
 Мне песик навыл,  
 Кукушка натикала время.  
 Сижу я не выше, не ниже травы,  
 А вровень со всем и со всеми.  
 Я слышу цикад, обоняю пыльцу:  
 Цветочки рассыпаны мелко.  
 И чую, былинка скользит по лицу,  
 Как будто секундная стрелка.

\* \* \*

Отпустило, отлегло  
 В средостении.  
 Будто ангела крыло  
 Или тень его.  
 Будто жизнь — лукум и мед.  
 Сладкой сомою  
 В небе облако плывет  
 Невесомое.  
 Будто липа и кипрей.  
 Много надо ли?  
 Белый свет среди ветвей  
 Тихо падает.

\* \* \*


Мох нам в помощь, и хвощ, и ромашка,  
 Где возникла поломка, промашка,  
 А когда настигает беда,  
 То спасут зверобой, череда.  
 Лопухи милосердно склонятся,  
 Чтобы мог опереться, подняться,  
 Опериться, взлететь над строкой,  
 Над березой, рябиной, ольхой.

\* \* \*

Это ливня скорый поезд,  
Он идет в траве по пояс,  
У него во рту свисток  
И забитый водосток.  
Он стучит, стучит по рельсам,  
У него прямые рейсы  
От земли и до небес.  
По билету или без.  
Это наш пожарный случай —  
Набежали в небе тучи,  
Сядешь в поезд — и пока:  
Заклубятся облака.  
Небосвод гудит чугунно,  
Точно скачут в небе гунны,  
И от топота копыт  
Крона тополя кипит.

\* \* \*

Не понимаю пока,  
Как моя ноша легка.  
Легче, чем пух тополиный,  
Слаще июльской малины,  
Музыки издалека.  
Не понимаю, на кой  
Жить бестолковой такой,  
Дождь пропуская сквозь пальцы,  
Я не хочу просыпаться.  
Сердце мое успокой.  
Сердце мое утоли  
Музыкой той, что вдали.  
Встречи не будет повторной.  
Скрипки плывут и валторны,  
Дни, облака, корабли...



Ирина СОЛЯНАЯ

## ПОДЕРЖИ МОИ ЧАСЫ

Р а с с к а з

Валя не любила лета, но боялась в этом признаться. Школьник должен любить каникулы! Но что делать, когда нечего делать?

Старое здание поселковой школы на лето закрывалось. Малыши уезжали в пионерские лагеря или к бабушкам и дедушкам, старшие ребята готовились к вступительным экзаменам в институты. Улицы пустели.

Вале нечем было себя занять. Бабушки в деревне у нее не было, из пионерского возраста она выросла, задание на лето из музыкальной школы выучила еще в конце мая. Оставались дедова библиотека, сонная жара и длинные скучные вечера, которые Валя заполняла поливом грядок и прополкой цветника.

— Валя, пошли на киноплощадку на Станкевича вечером! Там классно! — как-то раз просительно улыбнулась ее подруга Зоя.

— Так кино же с прошлого года не крутят, — возразила ей Валя. — Что там делать-то?

— Приходят девчонки с соседней улицы. А мальчишки на гитаре играют, поют... Весело! Ну пойдем, а? Меня же одну родители не пустят...

Валя согласилась, а мама посмотрела на нее выразительно: мол, ну ладно, только без глупостей.

— Ну и что за мальчишки-то? Мелочь, небось, пузатая...

Нет, не мелочь. Двое из техникума, один из СПТУ, которое в народе неласково прозвали «Дрыгалями», несколько старшеклассников и даже одноклассник-спортсмен — Сашка Яцкин по кличке Яцык. Все в рубашках, джинсах — в общем, при параде. Девочки в платьях, на волосах ободки, обшитые бархатом. Чинно сидят на скамейках.

Пэтэушник Стас курит, картинно пуская дымок.

Валя сказала громко:

— Вот из-за этой сигаретки мать больше не пустит меня на площадку! Волосы эту вонь знаете как впитывают!

От этой неожиданной нападки Стас стушевался и сигаретку погасил. Исподлобья посмотрел на незнакомую девушку: ничего так... Платье в горошек ладно сидит на стройной фигуре, длинная рыжая коса перевита



черной школьной лентой... Стас, чтобы скрыть смущение, взял гитару и стал наигрывать какой-то мотив. Потом гитара пошла по кругу. Плохо настроенная, со слабо натянутыми струнами, она дребезжала, выдавая нехитрые комбинации из трех блатных аккордов. Играли всякую дрянную дворовую музычку. Только Стас, чтобы реабилитироваться в глазах девчонок, спел «Скалолазку», чудовищно сокращая и коверкая текст.

Так вечерами Валя и Зоя стали ходить на киноплощадку. Сначала робко сидели на скамеечке, потом пообвыклись. Ребята болтали о том о сем, смеялись, грызли семечки, иногда пекли в углях старую, лежалую картошку из погребов и лакомились ею, пачкая пальцы и губы сажей. Неизменная спутница их вечеров — шестиструнка перекочевала в руки Вали. Много ли труда нужно пианистке, чтобы три аккорда освоить! Простой инструмент, это вам не фортепиано... Валя настроила ее, подтянула струны. Неожиданно низким голосом стала петь Матвееву, Кукина и даже Макаревича. Все внимательно слушали, но не подпевали: авторов этих никто не знал. Иногда Валя пела песни собственного сочинения. Ее стихи печатали в районной газете.

Она чувствовала себя центром внимания и объектом восхищения. Несколько раз ее даже проводил до дома светловолосый пэтэушник Стас, который был так себе ухажер и типичный мезальянс, но Валю наполняла гордость, что ее оценили. Стас плелся следом, неся на плече гитару и пряча сигаретку в кулаке. Вздыхал, как и положено кавалеру, а у Вали замирало сердце. На их девчачьем языке это называлось «страдать» и «ходить».

— Ну что он, страдает? — с надеждой в голосе спрашивала Зойка, которая очень любила мелодрамы.

— Ну... — неопределенно улыбалась Валя и загадочно замолкала.

— Вы ходите?

— Нет пока, — увереннее отвечала Валя, прекрасно понимая, что лучше оставаться в образе недоступной девушки.

— Правильно, — одобряла ее подруга. — Не поддавайся, пускай пострадает!

И все было хорошо этим летом: киноплощадка без киномеханика и его скучных фильмов про освоение Арктики, зеленые калачики птичьей гречихи, соловьиные трели в зарослях терна и даже прохладный ветер с реки... Белая рубашка Стаса, мелькавшая в темноте улицы то сбоку, то позади Вали, алая лента на грифе его гитары, которая появилась совсем недавно и многозначительно намекала на любовь-морковь...

Все было хорошо, пока однажды Яцык не принес волейбольную сетку и мяч.

Валя увидела эти орудия пионерских, а потом и комсомольских пыток и мысленно издала стон. Она помнила ненавистные уроки физкультуры.

— Аксененко, привались к стене, не отвечивай, — инструктировал Валю бессменный школьный капитан Яцык. — Тогда и по балде мячом не прилетит, и вабче...

Что «вабче», было непонятно, но Валя старательно приваливалась к стене и не отсвечивала, ощущая себя жалким ничтожеством, ошибкой мироздания. Иногда отбивала прилетавший мяч, но невпопад. На этих уроках одноклассники забывали о том, что Валя играет на пианино Шопена и Брамса и лучше всех пишет сочинения. Они посмеивались над ее неловкой фигурой в синих ситцевых шортах и белой застиранной футболке с эмблемой «Зенита». В общем, это была уже не Валя, а бракованное изделие советского производства краснощеких и всегда готовых к труду и обороне комсомольцев.

В конце концов Валя прочно обосновалась на боковой скамейке и добровольно взяла на себя обязанность охранять часы одноклассников. С десятков привычных механических и недавно вошедших в моду электронных часов на дерматиновых ремешках или металлических браслетах она раскладывала на скамейке рядом с собой и следила, чтобы их не достал коварный мяч.

Учитель физкультуры с Вале́й не спорил, вздыхал и ставил тройку, единственную в ее школьном табеле...

Неужели и летом, вне школы, ей предстояло пережить это унижение?

Валя смотрела на свою новую компанию, удивляясь тому, какая веселая суэта охватила всех. Сброшенные мальчишеские рубашки были развешаны на кустах терна, между тополями натянули сетку, стали рассчитываться на команды.

Валя села на скамейку. Внутри все сжималось от первобытного ужаса.

— А ты? — спросил Стас, улыбаясь белозубо и призывно.

— Да не лезь ты к Аксененко, — с неожиданным презрением сказал Яцк, словно так и ждал момента, чтобы унижить Валу, и, скривив рот, произнес: — «Зенит — точка небесной сферы, расположенная над головой наблюдателя...»

Валя сглотнула комок подступившей обиды и ничего не ответила. Стас не понял шутки и только хлопал своими большими глазами.

— Валя играет на пианино, ей пальцы надо беречь, — заступилась Зоя.

— Тогда поддержи мои часы, — улыбнулся Стас, снял свои новенькие электронные часы и протянул их Вале.

Его позвали, и он сразу потерял интерес к девушке. В предвкушении игры уже слышались смешки и взаимные подначки.

После первой же партии Валя ушла. На этот раз ее никто не провожал. Стас смущенно оглянулся на удаляющуюся в сумерках фигурку, но снова встал на подачу.

С этого вечера все изменилось. Как только набиралось игроков на две команды, песни прекращались, а парни и девушки занимали свои места у сетки. Они уже не надевали нарядные платья и рубашки, а являлись



в поношенных спортивных трико и футболках. Только Валя неизменно приходила в любимом платье в горошек и стерегла часы Стаса.

Поначалу ее приглашали присоединиться к игре, а потом просто перестали замечать. Она уныло перебирала струны гитары, но песни были никому не нужны. Вскоре Вале надоело сидеть в сторонке, и она пропустила несколько вечеров.

Когда она пришла снова, одна из девочек, Маринка, спросила:

— Ты болела, что ли? Ой, а тут так весело было!

Дальше шел сумбурный рассказ о том, как один подал, а второй отбил, а девчонки наконец-то научились ставить блок, а то всё проигрывали с первой подачи, а вчера дождик был и никто не играл...

Все как-то по-особенному сдружились, в компании ребят даже появились новые прозвища. Яцька стали звать Подавалой за то, что ему особенно удавались подачи, а Мишу — Калечкой, потому что неловким ударом мяча ему повредили связку. Калечка сидел, раненый и обмотанный прорезиненным бинтом, рядом с Вале́й и болел за свою команду.

Парни стали приносить на площадку пиво, по очереди прикладывались перед игрой и после нее к горлышку бутылки, а пустые бутылки прятали в терновые заросли. Девчонки смеялись и не возражали.

Потом Валя уехала на три дня в Волгоград к тетке, а когда она вернулась, мама, хитренько улыбаясь, сообщила:

— Пока тебя не было, какой-то блондинистый парнишка приходил, о тебе спрашивал. Сегодня вечером обещал зайти.

Валя сдержала улыбку, зная, что иначе начнутся расспросы.

— Это просто знакомый. Он забыл часы на волейбольной площадке, а я их нашла, — ответила она маме.

— Ну-ну, — подмигнула та.

Вечером Стас, действительно, пришел. Он с мрачным видом и без пояснений протянул Вале районную газету.

— Что там, мои стихи?

— Нет, там твоя басня! — с кривой улыбкой ответил Стас и, сплюнув, направился к калитке.

— Погоди-погоди! — заспешила за ним растерянная Валя. — Я тебе часы забыла отдать, а потом к тете уехала. Вот!

Стас взял часы, надел их на запястье и, ничего не сказав, пошел прочь. Потом обернулся и сказал с неожиданной злобой:

— Не приходи на площадку — худо будет!

Валя недоумевала, в чем же дело. Она молча смотрела ему вслед, пока он не скрылся в конце улицы, а потом поплелась домой.

Ах да, Стас принес газету... Все дело, наверное, в ней!

Валя лихорадочно пролиставла страницы, но никакой басни не нашла. Зато на последней полосе была постоянная рубрика «Сатирическая боро-на», где печатались фельетоны и колкие заметки на злобу дня. Валя бегло прочла ее, и к ее щекам прилила кровь.

«Мы аккуратно отвечаем на письма читателей, — писал корреспондент, — их в наш адрес приходит немало. Но этому адресату мы решили ответить не лично, а через нашу газету, и вы, наши читатели, поймете почему. От комсомольца Станислава Таранова нам пришло письмо. Предупреждаем, что авторская орфография и пунктуация сохранены.

«Дорогая редакция! Пишет вам учащийся СПТУ № 31 комсомолец Станислав Таранов. На улице Станкевича имеется летняя площадка в которой однажды вечером мы наблюдали страннй финомент. Когда мы играли в волейбол, то над нами завис как бы конуса образнй сфероид зеленого цвета. Повисел повисел и улетел. Мы не смогли понять что это за явление нашей месной природы или даже фауны, а возможно и летающее НЛО. Прашу пояснить, бывали ли подобные случаи наблюдаемы еще в поселке».

Уважаемй комсомолец Станислав Таранов, мы рады сообщить вам, что подобнй феномен больше не был зафиксирован ни жителями, ни нашей метеостанцией. Просим явиться в нашу редакцию за подарком: по решению редколлегии мы желаем вручить вам «Орфографический словарь русского языка» Ожегова С. И.».

В комнату вошла мама.

— Ой, ты тоже прочитала? — спросила она, не замечая огорчения дочери. — Я так смеялась! Ну есть же дураки на свете!

Мама взяла газету и процитировала:

— «Мы наблюдали финомент!» Теперь к этому неучу точно кличка приклеится!

Валя бросилась на подушку и заплакала.

О том, чтобы пойти на площадку, и речи быть не могло. Валя плакала весь вечер, искренне не понимая, кто и зачем так злобно подшутил над Стасом, который явно не писал этого дурацкого письма, и почему, собственно, Стас свалил всю вину на нее? Только ли потому, что она была знакома с редактором?

Наутро Валя отправилась в редакцию газеты. Она хорошо знала заведующего отделом редакционной почты.

— Валя, милая, здравствуй! — обрадовался ей Георгий Иванович. — Как дела? Как лето проводишь?

— Отлично, Георгий Иванович, — гуляю, читаю... Вот недавно ездила к тете, ходили на Мамаев курган. — Валя приветливо улыбнулась в ответ и села напротив, расправив юбку. — У меня к вам дело.

— Хочешь очерк о поездке по местам боевой славы поместить?

— Нет... — Валя замялась, но потом собралась с духом и выпалила: — Я тут заметку прочла в «Сатирической бороне»... про финомент...

— А, понимаю! — закивал головой Георгий Иванович. — Чудо в перьях, а не комсомолец!

— А можно на само письмо посмотреть? — попросила Валя. — А то даже не верится, что такие чудные люди бывают.

Георгий Иванович снова улыбнулся и достал из ящичка стола письмо, прикрепленное к конверту скрепкой. Валя прочла его. Сомнений в том, кто написал эту пакость, у нее не было. Почерк она знала прекрасно.

— Вот только за наградой этот юноша, наверное, не придет, — вздохнул Георгий Иванович. — А ему бы не повредило!

— Знаете, — медленно произнесла Валя, — я могу передать ему словарь. Я этого комсомольца Таранова хорошо знаю — мы вместе в волейбол играем.

— Вот здорово! — восхитился Георгий Иванович. — Выполни общественное поручение, Валюша. А потом и очерк о Мамаевом кургане приноси!

Вечером Валя набралась храбрости и пошла на улицу Станкевича, специально выждав время, когда соберется вся компания. Ребята уже играли в волейбол, разбившись на команды, мальчишки против девчонок. Мелькали длинные руки, косы с лентами, голые коленки и вспотевшие спины, слышался смех. Валя подошла и остановилась у тернового куста. Яцык сразу ее заметил и присвистнул.

— Эге, — крикнул он, — явилась, не запылилась!

Валя не ответила, она нашла глазами Стаса. Игра прервалась. Ребята, тяжело дыша, смотрели на нее и молчали. Стас с угрюмым видом перебрасывал мяч с одной руки на другую.

— Тебе тут не рады, Аксененко, — сказала язвительно Марина.

Валя молча подошла к Зое, которая сидела на скамейке. На ее коленях лежали часы Стаса.

— Возьми, Зоя, словарь, — спокойно сказала Валя. — Редакция просила автору письма передать. Ты же автор?

Зоя машинально взяла словарь, потом закрыла лицо руками и заплакала. Маринка подбежала к ней, не понимая, в чем дело. Потом подошли и остальные.

Валя смотрела на них, сложив руки на груди. Яцык недоуменно вертел головой из стороны в сторону, потом покрутил пальцем у виска:

— Ну, девки, вы даете!

Валя молча развернулась и пошла домой. Ее никто не догнал. Уже в конце улицы, за поворотом, она заплакала.

Валя проплакала всю ночь. Мама, не зная всех причин дочкиного безутешного горя, гладила ее по голове и приговаривала, что найдутся ухажеры и кроме этого белобрысого пэтэушника, который курит и пишет разные глупости. Но это не помогло.

Наутро мама вошла к Вале в комнату.

— Спишь? А тебе посылка! Наверное, из Вероны...

— Почему из Вероны? — не поняла спросонья Валя. А поняв, покраснела.

Мама со смехом поставила у ее кровати коробку, в которой ворочался и пыхтел маленький ежик.



Лада ПУЗЫРЕВСКАЯ

**Я НЕ ВИЖУ ТЕБЯ**

\* \* \*

пылится скриншот июля в окне немывтом  
начнешь протирать — и сразу не та картина  
палиться не будем — это не мы не мы там  
вручную катили солнце из карантина

не мы окликали тонущих в красных зонах  
не мы приносили воду надежду письма  
встречая рассветы в потных комбинезонах  
не мы холодели от монитора писка

где снова и снова чья-то рвалась кривая  
и горло сжимал нездешнего страха вирус  
мы — славили их послушно в экран кивая  
и город наш жил и выжил  
и сеть ловилась

мы в окна стучали мы колотили в двери  
а тихо — как будто вдруг запевала помер  
тоскуют в пустых квартирах чужие звери  
и лето впадает в лету — коронный номер

выходим бледнея в масках своих нелепых  
опасные злые люди — слова на ветер  
бросали сто дней  
в фамильных панельных skleпах  
вот он и шумит: не вечер еще не вечер



\* \* \*

как тебя пожалеть не пойму обнимать уж как  
здесь так мало тепла и лето — в одно касание  
родина — говорю  
поправляюсь: матушка  
богом данная радость ли  
наказание

как тебя обживать не найду где же голуби  
на пустых площадях никого  
воля вольница  
только воздух и свет  
белый свет из небесной проруби  
да тебе ли не знать  
как правда чужая колетя

я не вижу тебя никого никого под вязами  
отчего же ты плачешь  
стволы обнимаешь дурочка  
посмотри на него  
глаза навсегда завязаны  
но о счастье поет хрупкий мальчик твой  
божья дудочка

он стоит на ветру с распахнувшимся воротом  
позади тишина  
впереди лишь дорога белая  
ты клянешься  
держат его в этом миру испоротом  
ты клянешь тишину  
а он поправляет: верую

\* \* \*

до чего не люблю шепелявый апрель  
что ж так страшно-то, коли и вор не я  
и крадут не мое — отпевают отель  
драгоценный отель калифорния

хриплым голосом кроет  
пустынный проспект  
тут и радость, и счастье, и боль его  
а не знающий горя глядит на просвет  
с любопытством фаната футбольного

месяц треснувших луж и семян лебеды  
ты на редкость хороший учитель, но  
мне ползти до тебя — от беды до беды  
слишком долго и слишком мучительно

это кажется только — вода да вода  
шли проклятья на жалоб подателя  
и тогда мы посмотрим  
взойдет ли беда

почему же так больно даже тогда  
когда предаешь предателя

\* \* \*

да нужно просто однажды набраться наглости  
не пожалеть хоть раз ни огня, ни воска  
и рассказать, как мы выжили в этом августе, —  
зачем собирал ты, Господи, наше войско?..

теряя силы, права, паспорта и метрики,  
но — не кураж свой *той еще*, той закваски,  
одни из первых на круг выходили, смертники,  
навстречу закату щурились из-под маски.

пока оставались верить и драться навыки,  
вслух матерились тихо, молились громко —  
мы выросли, и никто не возьмет нас на руки,  
за счастьем почти всегда наступает ломка.

застрявшие в прошлом веке некоронованном,  
руки друг другу тянем при встрече честно —  
давай без глупостей,  
поздно брататься снова нам.  
как стало тесно здесь, Господи, слишком тесно.

\* \* \*

плавит золото осень в последних кострах сентября  
у брусничных закатов отчетливый привкус безумия  
тает тень человека  
под окнами в комнате в зуме я  
не увижу тебя почему я не вижу тебя

на прозрачных запястьях следы от упругих ремней  
и родные предатели смотрят в глазок не по-доброму  
кто-то шепчет молитвы  
подобное рвется к подобному  
я не вижу тебя горе мне горе мне горе мне

а они усмеваются римского папы святей  
пьют и бьют зеркала и кривляются лютые бьются  
коронованный ужас  
до нового года три месяца  
не оставьте детей здесь нельзя не оставьте детей

дай мне руку мой мальчик не будем напрасно грубить  
здесь на выход и так обреченных бескрайняя очередь  
и смеяться не к месту  
и плакать в лицо им не очень ведь  
научиться любить их таких научиться любить

бестолковый сквозняк бьется-вьется листы теребя  
закрываются двери до скорого видно не зря чинил  
ты поешь о зиме  
смотришь в стену глазами незрячими  
я не вижу тебя почему я не вижу тебя



Сергей АНТОНОВ

## ДУРАК И ДУРОЧКА

Р а с с к а з

Февраль 1988

Телефонный звонок раздался, как всегда, неожиданно громко, резко, требовательно. Мишка сидел на кухне с горбушкой черного хлеба над банкой килек в томатном соусе и рассеянно смотрел лыжные гонки по телику. Он больше делал вид, что смотрит: ни лыжи, ни Олимпиада, ни спорт совершенно его не интересовали — так, беззвучное черно-белое мельтешение перед глазами. Из радиоточки перманентно встревоженный голос бубнил что-то о Карабахе. Телефон продолжал звонить, но никто не спешил поднять трубку.

— Ну что, никто не слышит, что ли? — прокричала мать из соседней комнаты. — Оглохли? Подойдите кто-нибудь!

Отец, сидевший рядом, закурил новую «примину» и равнодушно перевернул книжную страницу. Мишка покосился на него, сосредоточенно уставился в телик и начал энергичнее ковыряться в кильке.

Звонок не умолкал.

— Да что же такое! — опять крикнула мать, еще повышая голос. — Поумирали там все, что ли?

Судя по меняющейся громкости голоса, она довольно быстро приближалась к кухне, но, не выдержав надрывной телефонной трели, свернула в полутемный закуток коридора, к телефону.

— Да! Здравствуй, да. Сейчас! Мишка! — крикнула она. — Тебя. И не забалтывайся там особо, вдруг кто-нибудь нормальный позвонит!

Мишка, дожевывая на ходу, поплелся в коридор, шаркая стоптанными тапочками по грязному дереву некогда лакированного медового паркета.

— Але! Слушаю, — пробурчал он равнодушно, но, услышав ответ, невольно улыбнулся. — Привет!

— И почему ты до сих пор оттуда слушаешь? — спросила Катя дрожащим голосом. — Мы же договаривались. Можешь сейчас ко мне спуститься?

— Домой? Я уж думал, тебя в живых нет.

— Нет, что ты! Домой нельзя — тебя сразу сожрут, со мной за компанию.

— Не наелись тобой?

— Они никогда не наедятся, вампиры, блин. Давай спускайся, я к лифту выйду, постоим на лоджии.

— Ладно, сейчас что-нибудь придумаю, — ответил, понизив голос, Мишка и покосился на настенные часы.

— Я с собакой! — крикнул он в пространство и повесил трубку.

Оделся в две секунды. Фокстерьер, услышав волшебные слова, примчался, сдернул поводок с крючка и, не в силах сдержать восторг от внезапно свалившегося счастья, кругами носился с ним по коридору.

— Недолго только, — назидательно сказала, появившись в дверях комнаты, мать.

Смотрела с явным неодобрением и недоверием: «Чего это он добровольно с собакой пошел? Наверняка опять с *этой своей* что-то задумали». Но эта недолгая и короткая мысль тут же была вытеснена десятком других, более важных и близких.

За спиной сперва хлопнула входная дверь, потом лязгнула железом дверь секции. Пока ждал лифта, присел на ободранную батарею, привычно оглянулся вокруг и поежился: «Какая гнусь! Из каких только ям эти мародеры повывлезали!» Все, что оказалось можно снять, было украдено: плафоны, дверные ручки, стекла, даже кожухи радиаторов. А все, что отломать и открутить не удалось, — старательно испорчено. Исцарапанные стены, обгоревшая кнопка лифта, истыканный горелыми спичками потолок. Батарею тоже досталось — решетка была смята, отогнута и забита мусором. Кто это делал, каким инструментом и, главное, зачем — осталось неизвестным. Впрочем, к вандализму теперь относились спокойно, привычно не обращая внимания: никого же не убили, и слава богу.

Пришел лифт, такой же изгаженный, как и все в этом совсем недавно еще новеньком, современном, населенном исключительно интеллигентными и культурными людьми доме. Вот только стоять этому зданию пришлось в окружении попроще, и жители ближних домов, восприняв «небоскреб» под боком как личный вызов, упорно доводили его до привычного им убогого состояния.

Лифт принял Мишку в свои прокуренные объятия и резво потянулся вниз. На шестом этаже, где он остановился, было попримичней: видимо, хулиганов больше манила высота и середину дома они промахивали на лифте без остановки, сосредоточив весь свой интерес на последнем, Мишкином, этаже.

Невысокая белокурая девушка-подросток с заплаканными глазами шагнула в лифт, торопливо застегивая бежевый пуховик.

— Как тебя на улице отпустили? — удивился Мишка.

— Я как бы за почтой, на минуточку, — ответила она, грустно улыбувшись. — Да они и не заметят.

— А чего щеки такие красные?

— Ты еще мою задницу не видел, ей больше всего досталось.

Мишка сочувственно посмотрел на нее, но выдержать серьезность момента не получилось. Он заскрипел горлом и громко расхохотался.

Катя растерянно взглянула на него, но потом тоже рассмеялась:

— Чего ржешь, тебя бы так!

Лифт остановился, с жестяным грохотом распахнул двери, и собака, почуяв свежий воздух вожделенной прогулки, рванула поводок, утаскивая обоих ребят на улицу.

Был тихий зимний вечер после обильного снегопада. Двор сиял голубоватой белизной, все вокруг было присыпано свежим слоем чистого снега. Только узенькая вытоптанная дорожка шла от подъезда вокруг дома и выбегала под арку, на улицу. Фокстерьер натянул поводок и, как вездеход, пополз по сугробам. Он был настолько безбашенный и энергичный, что с поводка его никогда не спускали, а просто связали три разнокалиберных ремешка в один — пятиметровый.

Дворик для такого большого дома был совсем крохотный — четыре сотки газона: детская площадка у мусорных баков да пара скамеек среди десятка облезлых кустов волчьих ягод. Катя сразу полезла через снежную целину к скамейке, счистила рукавом снег и молча ждала, пока собака с Мишкой на прицепе не облазила весь двор по периметру.

— Ну, рассказывай, — потребовал Мишка, подтянув поводок и усевшись рядом с Катей на мерзлые доски скамейки, — что было, что еще будет.

— Да ничего хорошего не светит. Сегодня Вава звонила, все родителям рассказала, — пожаловалась Катя. — Ходить к нам она завязала, после того как в застрявшем лифте три часа просидела.

— Да, — рассмеялся Мишка, — классно было! До сих пор приятно вспомнить, как мы это провернули. Разыграли как по нотам, секунда в секунду — не зря всю неделю на соседях тренировались. А по темной лестнице она к тебе на шестой не полезет, не говоря уже про мой двенадцатый.

— Зато по телефону докладывает. А голос Юльки уже знает — раскусила, что Фролова не мать мне, а подруга.

— Надо пошевелить мозгами и придумать, как ее обезопасить.

— Не ее, а меня обезопасить — от всей этой школьной швали. Если бы только одна Вава была, а то там против меня целый педсовет собирают.

— Слушай, а на фигу нужно было красть классный журнал, да потом еще и жечь его на нашем чердаке?

— Я же подруг спасала. У них очень плохие оценки были, а сейчас журнал сгорел и все шито-крыто.

— Шито-крыто — это если бы тебя не поймали. И каких подруг ты спасала?

— Демину, Чернову, Катьку Зотову и Алену Авхадей.

— Тоже нашла подружек! Они же, поди, тебя и сдали.

— Ага. Представляешь, какая Вава сука? Вызвала Чернову и давай колоть: «Мы тебя из школы выгоним через комиссию по делам несовер-

шеннолетних! В ПТУ пойдешь, потом в тюрьму». А когда довела ее до слез, участливо так говорит: «Ты же сердечница, Лена, тебе нельзя волноваться. У тебя приступ может в любой момент случиться. А если скорая не успеет?»»

— Офигеть! — поразился Мишка. — Я и не знал, что она такая садистка. Ей бы в гестапо служить — советских пионеров мучить.

— Я думаю, что она где-то в таком месте и служит, только тайно, по заданию ЦРУ. У нее наверняка даже мундир в шкафу висит.

— Надо ее как-то разоблачить, — задумчиво проговорил Мишка, — спровоцировать, чтобы она сама себя выдала.

Катя молчала, смотрела на припорошенный снегом двухметровый забор из рабицы, отделявший двор от многолетней стройки. Ячейки в фиолетовой темноте блестели, будто пушистые снежные соты.

— Можно за ней проследить, — сказал Мишка, представив, как их классная отстукивает по батарее центрального отопления очередное сообщение в Центр — дворнику-радисту в подвальный этаж. А тот, подключив радиостанцию, замаскированную кучей тряпья, переправляет его за океан. — Она же выходит как-то на связь. Шпионы не могут без связи.

Катя с удивлением, словно очнувшись от своих мыслей, посмотрела на него и внезапно спросила:

— Слушай, Миша, а как все будет дальше, а?

— Выгнать могут из школы, — не задумываясь ответил он.

— Нет, я не об этом. Я о жизни вообще. Чувствую, проболтаемся мы с тобой лет до тридцати, а потом пойдем трамвайные пути ремонтировать. Нужен какой-то план на эти годы. Ты кем стать хочешь?

— Я? — задумался Мишка. — Не знаю даже... Понимаешь, больше всего я хочу куда-нибудь сбежать. Надоело это все — каждый день одно и то же перед глазами. Дома, люди, забор этот...

— Забор красивый, — возразила Катя. — Смотри, как его снежинки облепили — жрут железо, слетелись, как мухи на труп.

— Это он сейчас ничего. Поблестит три месяца, а потом опять станет такой же мерзкий, как всегда.

— А куда сбежать хочешь? В Америку?

— Не, до Америки далеко. Я лес очень люблю, укроюсь там.

— Как это? А жить где, а жрать что?

— Через полтора года собираюсь в лесотехникум податься. Еще через три года получу егерские погоны и кусок леса в свое управление. И никого кругом — представляешь, какой кайф!

Катя внезапно повернулась и молча, не мигая, уставилась на него в упор. Мишка растерялся, хотел что-то сказать, но никак не мог ничего придумать.

— Блин! — наконец прошептала она с восторгом. — Я тоже туда хочу! А девочек они берут?

— Я не знаю, — с облегчением выдохнул Мишка. — Наверно, берут. Почему бы и нет?



— Так это просто шикарный план — послать все куда подальше!

— Да, — кивнул Мишка, — вдвоем всегда сподручнее. Представляешь, жить в лесу, но рядом.

— Да это как из тюрьмы сбежать! — негромко крикнула она звездам и с улыбкой повторила, точно пробуя слова на вкус: — И в лесу, и рядом.

Они замолчали, оглушенные внезапно открывшейся перспективой. Словно случайно обнаружили даже не дверь, а лазейку в новую игру, где волшебным образом переплелись реальность и фантазия, так похожие на сбывающиеся желания.

Мишка по натуре был вдохновенным мечтателем, но старшие окрестили его бездельником и лентяем. Большой выдумщик, он редко какую из своих идей реализовывал: его больше интересовала теория, нежели практика. Катя же, обладая более рациональным умом, мгновенно загоралась, подхватывала любую затею на лету и разрабатывала путь ее воплощения до механической четкости. Даже сложно сказать, кто из них был более изобретательным. Познакомившись в девятилетнем возрасте, они сразу же так вцепились друг в друга, что характеры их как будто перемешались.

Новенький дом заселялся быстро и весело, дети новоселов, оторванные от привычных дворов, компаний и школ, передружились чуть ли не за один день. Застенчивый же Мишка долго, неделю за неделей присматривался к дворовой компании. В конце концов решительная и бойкая Катя, улучив момент, подошла сама и, взяв за руку, буквально втащила его в новый круг. С тех пор они почти не расставались, проводя все свободное время вместе. Безграничная фантазия порой уносила их далеко за пределы реального мира, отчего они нередко и оказывались на обочине дороги, проторенной рядами и колоннами советских пионеров. После чего их пинками возвращали в строй рассерженные учителя и взбешенные родители.

Потихоньку холодало. Мороз начал покусывать щеки и, пробираясь сквозь крупную вязку варежек, покалывать пальцы. Катя, пытаясь согреться, прижалась боком к Мишкиному замызганному полушубку, а робкую мысль, что, может, это не только из-за холода, — безжалостно прогнала. Так ей показалось настолько уютней и теплей, что она еще и положила голову Мишке на плечо.

— Замерзла, — сказал он, дыша в варежку. — Пора, наверно, двигаться домой!

— Нет, мне нормально, — откликнулась Катя. — Давай еще посидим.

— Не, я о собаке. Смотри, как жметя.

— Дурак! — Катя подняла голову с его плеча, но, испугавшись своего резкого движения, тут же положила обратно.

Мишка невольно улыбнулся, оценив комичность ситуации, но промолчал. Он давно уже чувствовал, что их дружба переходит в какую-то новую стадию, и подсознательно этому сопротивлялся, опасаясь про-

менять нынешние крепкие и ровные отношения на зыбкое легкомыслие романтических чувств. А любовному пылу, жару и угару он не доверял и был глубоко убежден, что все это не более чем всплеск эмоций, игра гормонов или просто случайное совпадение настроений. В классе он время от времени «влюблялся» то в одну девчонку, то в другую, но с Катей своими переживаниями не делился никогда. Та, конечно, обо всем сразу же узнавала — по Мишкиным жестам, взглядам, интонациям, — в душе сердилась, делала вид, что его влюбленностей не замечает. Она и сама иногда ненадолго теряла голову от какого-нибудь грубоватого старшеклассника на мопеде — хулигана с соседнего двора. Мишке, если не считать его неприязни к шпане, похоже, было все равно. Только однажды, когда ее очередная «любовь» дала трещину и отвергнутый воздыхатель в порыве ревности, взяв подмогу, изловил Мишку после школы и прилично его отлупил, он рассердился:

— Катя, это не по-дружески! Я-то при чем?

— Очень даже по-дружески, — ответила она невозмутимо, замазывая его синяки маминым тональным кремом, — за друга в глаз получить. Или лучше было бы, — она бросила тюбик обратно в холодильник, — чтобы он меня изметелил?

Мишка тогда только плечами пожал: умеет все-таки Катя вывернуть ситуацию пушистой стороной к себе!

Фокстерьер, умаявшись бегать на поводке вокруг скамейки, сбавил скорость и, привлеченный какой-то дрянью в снегу под кустом, начал остервенело копать смерзшийся наст. Вдруг в подъезде раздался громкий хриплый лай, выстрелом хлопнула одна из внутренних фанерных дверей. Мишка подскочил и начал поспешно наматывать пятиметровый поводок на руку безобразным комом.

— Опять этот Кохан со своим сраным ризеншнаудером! — крикнул он Кате.

Лай приближался, потом, словно от мощного пинка, распахнулась дверь подъезда. Огромный черный пес, вылетев на улицу и даже на миг не замешкавшись, рванул к ним. Катя с испуганным криком вскочила на скамейку, но ризен не обратил на ребят никого внимания, бросившись напрямик к фокстерьеру. Он был раза в четыре больше и, наверно, во столько же сильнее, и клубок из собак получился не равномерно двухцветный, а черный с редкими рыжеватыми подпалинами. Мишка бегал вокруг, не выпуская из рук бесполезного сейчас поводка, и безуспешно пытался разнять собак, пиная по черным бокам.

Из подъезда, шатко, нетрезво ступая, появился хозяин ризена. Потрепанная офицерская шинель без погон ниже сменялась полосатыми пижамными штанами, уходившими в новенькие серые валенки.

— Григорий Моисеевич, — подбежал к нему Мишка, — что вы своего Пилата опять без поводка спускаете? Каждый раз одно и то же!

Но тот даже лица не повернул. Неторопливо поковырявшись в кармане, достал сигарету и начал, ломая и роняя спички, прикуривать...

Вдруг рычание собачьей схватки сменилось истошным визгом. Клубок распался, и черный ризен бросился к хозяину, оставляя на снегу мелкие красные брызги. Мишка повернулся и увидел Катю с деревянной перекладной от скамейки в руках.

— Ты что делаешь, дрянь! — закричал Григорий Моисеевич. — Решила мою собаку убить?! Ты ее поранила, стерва! — Его крик сорвался на хриплый визг. — Я сейчас к твоим родителям пойду!

— Попробуйте только! — крикнула в ответ бесстрашная Катя. — Я скажу, что вы на меня своего пса натравили.

— Ах ты, сволочь! — зашипел сосед, шаря трясущейся рукой по шее смиренно стоявшей рядом собаки в поисках ошейника. — Да я завтра в милицию заявление напишу!

— Да пошел ты, гомосек хренов! Голубец паршивый! — звонко крикнула Катя и неожиданно громко заревела.

Григорий Моисеевич сразу как-то сник, тревожно оглянулся и, так и не нащупав ошейника, молча побрел, печально поскрипывая снегом, по дорожке под арку дома. Его собака, совершенно потеряв интерес к прежнему сопернику, потрусил рядом.

Мишка, с открытым ртом наблюдавший перепалку, кинулся к Кате. Она плакала, закрыв ладонями лицо. Приглушенные варежками рыдания больше смахивали на рычание раненого зверя.

— Катя... — позвал он тихонько, цепenea от ужаса. — Чего ты? Она тебя цапнула? Укусила?

— Если бы она меня цапнула, — ответила Катя, вытирая рукавом лицо, — я бы ее на куски порвала. И хозяина этого, падлу, тоже!

— Ну ты даешь! — с восхищением глядя на нее, воскликнул Мишка. — Палка-то с гвоздями. Он сейчас наверняка жаловаться пойдет. Ты знаешь, что он зам нашего райвоенкома?

— Генерал Кохан? Звучит! — рассмеялась уже совсем успокоившаяся Катя. — Никуда он не пойдет. Он, кроме винного отдела центрального гастронома, давно уже никуда не ходит. А завтра с утра вообще ничего не вспомнит.

— Ладно, все равно домой пора, — вздохнул Мишка. — Сейчас по сигаретке бы хорошо. Для полного восстановления нервной системы.

— Пошли, — подхватила идею Катя, — у меня есть.

На пятом этаже она приоткрыла щит электросчетчика и, недолго пошарив в пыли, вытащила мятую пачку «Родопи» и спички.

— Угощайся, — протянула она сигареты, — только сам не таскай отсюда. Не моя нычка, но иногда пользуюсь.

— А чья? — спросил довольный Мишка и протянул зажженную спичку к Катиной сигарете.

— Вальки из двадцать восьмой квартиры. — Катя выпустила дым узенькой струйкой в потолок.

— Ей же всего двенадцать, — поразился Мишка, прикуривая сам. — Офигеть, я в таком возрасте еще не курил!

— Акселерация. В двенадцать курить начинают, в тринадцать — пить, в четырнадцать рожают.

— Жуть! — Мишка разогнал ладонью клубы дыма, собиравшиеся в небольшие сизые тучки над их головами. — Пойдем лучше на лоджию, а то тут застучает еще кто.

На лоджии было не так грязно и значительно свежее. Снег замел мусор по углам нежным белым пухом и лежал на перилах узкими сугробами. Словно зимние грибки, торчали из них желто-коричневые окурки с пушистыми снежными шляпками на макушках.

— Не запалят тебя дома? — участливо спросил Мишка, стряхивая пепел с балкона. — Запах не унюхают?

— Не, у нас гости, дым коромыслом. Папа премьеру празднует — родители второй день на рогах. — Катя попыталась выдуть колечко. — Может, и заметят к утру, если я вообще не приду. А тебя?

— У меня папаша по две пачки «Примы» в день вытягивает, причем не отрываясь от других дел — даже еды и туалета. В квартире запах как на адской кухне — дым пополам с перегаром.

— Так и бухает?

— Ага. Все время, за редким исключением. Он или на работе, или мордой в стол.

— А как же работает?

— Не знаю, может, тоже лицом стол греет. Да мне это вообще по фигу. — Мишка сдул с огонька налет пепла и задумчиво покачал окурочек пальцами. — Свалить поскорее и забыть это все навсегда.

— Да, в лесу хорошо прятаться.

— Достали все — тот пьет, эта орет... Твой хоть не бухает!

— Не бухает, зато оба ненавидят люто.

— Слушай, — примирительно сказал Мишка, — может, не так уж ненавидят? И не всегда без повода? Как с классным журналом...

Катя промолчала и щелчком отправила окурочек в ночное пространство. Искорка поднялась в небо и, описав полукруг, ухнула вниз. Мишка запустил свой вслед Катиному, и они молча проводили его взглядом почти до самой земли.

— Пора двигать? — с сожалением спросил Мишка, поеживаясь. — Что-то я замерз.

— Да, давай. Блин, мне сейчас хоть вообще домой не возвращайся, — сказала с отвращением Катя.

— Сама же говоришь, что гости. Значит, до завтра, считай, свободна. С утра школа, а вечером, может, и не вспомнят уже.

— Это не вспомнят, новое придумают.

— Ничего, еще полтора года продержаться, а потом свобода, и уже навсегда.

— Полтора года — почти целая жизнь. Это в семьдесят для тебя будет как один день, а в четырнадцать это вообще до фига.

— А некоторым еще тринадцать, — осторожно заметил Мишка.

— Да два дня осталось. Придешь в субботу?  
 — Конечно. Что тебе подарить?  
 — А чего только сейчас спрашиваешь? Что ли, ничего еще не придумал?

— Придумал.

— Вот это и подари.

Они вывалились с общей лоджии к лифту и столкнулись с сухонькой старушкой в серой каракулевой шубе и цветастом платке, повязанном поверх меховой шапки. Старушка посмотрела на них с подозрением, а разглядев собаку, отступила на шаг.

— Вы с какой квартиры? — спросила она с напускной строгостью, в которой заметно просвечивал притаившийся страх.

— Не здесь живете? — спросила она вновь, так и не дождавшись ответа, и, решив, что дети молчат пристыженно, продолжила уже смелее: — На лифте катаетесь или пришли в подъезд гадить?

«Дети» молча переглянулись. Катя выжидательно смотрела на Мишку, и он, несколько замешкавшись, вдруг совершенно неожиданно для себя сказал:

— Мы к Вале Булановой. Вы не знаете, в какой квартире она живет?

Бабка отступила еще на шаг и, внимательнее оглядев визитеров, спросила вкрадчиво:

— А что вам от Валечки нужно? Я вас раньше здесь не видела.

Мишка опять посмотрел на Катю и, поймав ее восторженный взгляд, продолжил:

— Она нам золотое кольцо продать обещала.

Старушка от изумления открыла рот, хотела закричать, но, резко передумав, зачистила:

— Какое еще кольцо, материно? Нет, что вы, она ничего не продает! Идите, дети, идите домой, вы ошиблись. Да и нет у нас никаких колец.

— И вдруг, неожиданно включив полную громкость, перекрывшую все остальные звуки дома, крикнула, обернувшись к квартире: — Боря, сюда! — и бесстрашно замахнулась на них тряпичной продуктовой сумкой: — Пошли вон, бандюги!

Катя с Мишкой рванули по лестнице вверх и, пробежав Катин и по инерции еще два этажа, повалились на широкий подоконник, давась от смеха и с трудом переводя дыхание.

— Ну ты и сказочник! — смеялась Катя. — Чего ты вдруг Вальку приплел? Представляю, какой ей сегодня вечер пыток устроят! Это же бабушка ее!

— Да, я знаю. Так, экспромтом вырвалось. Думаешь, лишку хватил? Сейчас уже поздненько что-то исправлять.

— Да нет. В самый раз получилось, и притом очень смешно. Ты Вальку не особенно жалеешь, на ней вообще уже негде пробы ставить. Глядишь, родители ее попытают и спасут от чего-нибудь страшного.

— А мы, блин, типа тимуровцы — помогаем старшим, — криво улыбнулся Мишка.

— Да ладно, чего ты скис? — Она подошла почти вплотную и испытующе заглянула ему в глаза. — Здорово же повеселились!

— Нормально.

— А теперь можно и по домам. — Катя, не отрывая взгляда, попятилась и спустилась на одну ступеньку. — И лучше по лестнице.

— Пока, держись там! — Мишка дурашливо помахал ей варежкой.

— Пока, — Катя стянула свою и помахала в ответ. — До завтра!

— Ага...

— Чего не идешь? — Катя спустилась еще на ступеньку.

— Давай ты первая иди.

— Ладно. — Она в два прыжка перескочила лестничный марш и, повернувшись к Мишке, улыбнулась: — Пока!

Мишка поднялся на десять ступенек и крикнул:

— Пока!

Катя, не торопясь, спустилась еще на пролет:

— Пока!

Мишка поднялся еще на один и крикнул громче:

— Пока!

На десятом он крикнул в последний раз, но на следующей площадке с удивлением опять услышал Катину «пока». Они долго переключались так, пока Мишка наконец не дополз до своего двенадцатого. «Вот дурочка, — думал он, улыбаясь. — Будто я не знаю, сколько пролетов в двух этажах. Стоит там, на темной и безлюдной лестнице, и кукует».

## Февраль 1998

Телефонный звонок раздался, как всегда, неожиданно громко, резко, требовательно. Мишка сидел над стопкой чистой бумаги и задумчиво рисовал елочки в уголке. Он специально остался сегодня в редакции поработать — доделать обещанную статью, но писанина не ладилась. Долго не расходились коллеги, шумно распивали бутылку водки, заныканную на банкете по поводу пуска чего-то большого и железного. Потом забрел редакционный фотограф Толя Казематыч, получивший свое прозвище после двухдневной отсидки в КПЗ за отказ засветить пленки с корпоратива областного ГУФСИН, где он нащелкал пляски перепившихся генералов. Он долго сидел, мялся, вел какие-то пустячные разговоры. А после, видимо, набравшись решимости, попросил занять двести рублей до получки. Мишка, которого уже начинало мутить от скуки, с радостью откупился.

Статья и так шла косообоко, а к финалу забрела в какое-то совсем непроходимое болото. По совести, надо было вычеркивать как минимум треть, но Мишке было даже лень ее перечитывать. Уже дважды, под предлогом прикурить, заходила ответсек — проверить, не упилился ли он, не сбежал ли домой по-тихому. Полным ходом шла верстка завтрашнего номера, и на второй полосе по-прежнему белело пустое место для его статьи.

Теперь еще этот звонок. Мишка не спешил снимать трубку, но телефон не умолкал, и его резкий, хлесткий, дребезжащий трезвон далеко разносился по пустым коридорам редакции, отдаваясь эхом в дальних закутках безлюдных кабинетов.

«Нет, это невозможно терпеть!» — подумал Мишка и взял трубку.

— Алло, я слушаю.

— И почему ты до сих пор оттуда слушаешь?

— Катя, мне нужно материал закончить. Я тут еще часа на полтора застрял, наверно.

— Не пьешь?

— Нет, знаешь же, что не пью.

— Так и представляю, как там все со стаканами вокруг замерли и давятся смехом, ждут, пока ты трубку повесишь.

— Тут и нет никого. Только я и Ленин, — Мишка покосился на огромную гипсовую голову Ильича, которая матово отсвечивала в углу.

— Какая Лена? Комарова?

— Ленин, блин, Катя, Ленин! Владимир Ильич!

— Знаю я тебя. И Лену знаю, и Жанну, и Дашу.

— Катя, мне писать надо. Давай потом, дома продолжим.

— Последний вопрос. Что пишешь?

— Да судебное. Разбой, угон, тяжкие телесные. Ничего интересного.

— Ладно. Быстро ответил, верю. Давай, через полтора часа жду дома.

— Ага, — вяло согласился Мишка и с облегчением повесил трубку.

«Ну чего она опять завелась?» — подумал он, старательно заштриховывая нарисованную елочку. — Ни шагу ступить ни вправо, ни, блин, влево».

Мишка протянул руку и, не снимая трубки, набрал на телефоне «03», представив Катин голос: «Алло, скорая?! Мой муж выпал с пятого этажа. Да-да, падение с высоты. Ну там еще несколько ножевых. Он зачем-то крысиного яда нажрался, и у него крыша поехала — встал на подоконник и стал себя ножом тыкать, пока не упал... Нет, вряд ли живой, не должен быть». Это его немного развеселило. Не может Катя существовать спокойно — ей нужно всего чересчур; живет яростно, на грани срыва, истерики — энергетика у нее такая.

Мишка внезапно вспомнил тот ветреный августовский вечер два года назад, когда они, потерявшиеся на несколько лет, встретились вновь. Узнав, что она в беде, он просто приехал и забрал Катю к себе домой, в маленькую бабушкину квартиру, где уже полтора года жил один, наконец-то съехав от родителей. Она даже вещей не взяла, и прохожие, пока они ловили мотор, подозрительно косились на нее — босую и с едва поджившими ссадинами на лице. Вспомнил, как неделю она почти не разговаривала, лежала, спрятавшись с головой под одеялом, и только через месяц окончательно ожила, повеселела. Как вечерами они валялись под черным клетчатым пледом перед телевизором — пересматривали все филь-

мы за последние пять лет. Заново, но уже вместе. И тогда ему вдруг стало казаться, что наконец-то все наладилось и окончательно сложилось: и учеба, и дом, и работа.

Но что-то не везло ему в последнее время. Журналистика, к которой он так стремился, вдруг наскучила, а криминальная тема, которой чаще всего и занимался, стала вызывать отвращение. И вот сейчас он давился, но мужественно дописывал очередной опус в рубрику «Из зала суда». «Добрые восемьдесят процентов тяжких преступлений составляет бытовуха, и основная ее причина — низкий интеллектуальный и, вследствие этого, образовательный уровень населения...» — вымучил из себя еще одну фразу и вздохнул.

Сначала он так горел этими криминальными историями: мотался с ментами по операциям, сутками дежурил с прокурорскими, не пропускал в судах ни одного интересного дела. Но спустя пару-тройку лет вдруг выдохся и устал. Лужи крови и ошметки мозгов на стенах больше его не ужасали, бессмысленная жестокость преступников вызывала скуку, а очередной пойманный «зверь» — лишь настойчивое желание удавить его прямо на месте. Он даже сто раз представлял как — шнурком от капюшона через решетку «обезьянника».

— Это у тебя профессиональная деформация началась, — объяснила Катя. — Еще несколько лет поработаешь — сам по ночам маньячить начнешь. Вот только на кого охотиться, пока вопрос.

— На маленьких блондинок в цветастых шарфиках, — отшутился он, но сам понимал, что пора, пора бы ему передохнуть.

Плохо работать он не хотел, а хорошо без интереса не получится. Зря, наверно, после армии остался еще на три года контрактником, это был уже явный перебор. Все никак не мог завоеваться, идиот.

Мишка потряс головой: не отвлекаться, не отвлекаться! Статья провисает, люди ждут — надо как-то напрячься. Разложил на столе шесть исписанных листов, из двух последних безжалостно вычеркнул половину. Посидел минуту с закрытыми глазами, потом, подперев рукой голову, не отрывая взгляда от бумаги, быстро, за пятнадцать минут, исписал еще три листа.

Порыв ветра скрипнул жестяным подоконником, швырнул пригоршню снежинок в стекло. Мишка поднял голову — черничная темнота доверху залила широкое, почти во всю стену, незашторенное окно. Он подошел ближе. Глубоко, на белесом дне, светился мутно-желтыми огнями город. Сиротливый градусник за окном, казалось, сам скукожился от холода и, трясясь на ледяном ветру, показывал минус двадцать. Мишка поежился: могло быть значительно хуже. Пора одеваться, утепляться, а лифт ему, как глубоководному водолазу, снова отсчитывает этажами погружение на дно, в непролазную тьму зимнего города.

Из квартиры доносилась приглушенная двойными дверями ритмичная мелодия. Мишка на секунду прислушался: «...Революция! Ты научила нас верить в несправедливость добра!..» Он уже протянул руку к звонку,



но передумал и достал ключи: Катя все равно не услышит, не умеет она слушать музыку тихо. Два оборота нижнего замка и два оборота верхнего в железной двери; внутренняя, обитая дерматином, распахнулась сама. Метавшаяся в маленькой квартирке песня радостно вырвалась в общий коридор, пробежалась по стенам и с облегчением покатила вниз по лестнице. Мишка вошел и замер — в небольшом белом коридорчике однокомнатной квартиры спиной к нему танцевал голый мужик. Ну, не совсем голый: короткое махровое полотенце стискивало его бедра, а правая рука — бутылку пива, которой он старательно дирижировал. Да так яростно, что из бутылки, недовольно ворча, вылезала разбуженная пена и, спускаясь по влажному зеленому склону, переползала на руку дирижера. Мишка инстинктивно отступил назад и взглянул на дверь снаружи, будучи готов увидеть какой-нибудь чужой номер — с другого этажа или даже подъезда. «Не понял, — прошептал он и добавил уже про себя: — И кстати, полотенце-то мое».

В это время раздетый парень краем глаза увидел в зеркале чью-то фигуру позади себя и резко обернулся, подхватив заскользившее полотенце рукой.

— Ой, извините! — крикнул он и, боком прыгнув в открытую ванную, захлопнул дверь.

— А где Катя? — спросил Мишка, медленно расстегивая дубленку.

— В магазин выскочила, — тут же ответил незнакомец, лихорадочно одеваясь и отчаянно шурша одеждой.

— Давно?

— Вы извините, что так получилось. Я не думал, что кто-то придет. Мы вас так рано не ждали.

«Мы не ждали, — повторил про себя Мишка. — Неплохое начало вечера».

Прикрыл входную дверь, скинул дубленку, теплые ботинки и, зайдя в комнату, первым делом выключил музыку. Накурено — угореть можно. Отдернул шторы, распахнул форточку и, повернувшись, увидел расправленный диван. Подушки — всмятку, простыни — в валик, одеяло сползло на пол. «Блин, — огорчился Мишка. — Ох уж эта Катя, ну и сюрприз! Как, интересно, она будет это разруливать?»

Незнакомец по-прежнему возился в ванной. Мишка неслышно прошел на кухню и, заглянув под крышки горячих кастрюль, машинально поставил на газ большой желтый эмалированный чайник.

Во входной двери впустую заскрежетал ключ, два оборота — закрыть, два — открыть. На пороге — удивленная Катя:

— Привет, а что двери открыты?

— Не знаю, — ответил Мишка как можно равнодушной. — Сам только пришел.

Катя завертела головой, что-то высматривая.

— Сбежал? — спросил Мишка с улыбкой.

Она молча посмотрела на него в упор, но тут в санузле грохнуло, и, судя по звукам, стая флакончиков лавиной покати́лась в ванну. Катя улыбу́нулась и, повернувшись к двери, спросила строго:

— Ты там, что ли? Прячешься?

— Ничего я не прячусь, просто руки мыл, — ответил, выглядывая, уже одетый парень.

— Вот, познакомьтесь. Это Дима, мой бывший однокурсник по театральному. Живет в Тюмени, приехал по делам на два дня. Пустила переночевать.

— Я еще раз прошу прощения, — вежливо ответил Дима. — Я совершенно забыл, что она замужем.

— Ага, — заулыбался Мишка, — это многое объясняет.

Катя, почувствовав, что она кое-что пропустила, переводила напряженный взгляд с одного на другого. Но, так и не догадавшись, махнула рукой:

— Давайте, мальчики, я вас покормлю.

Нож в ее руке сверкал серебристой молнией. Сыр и колбаса уже лежали веером на цветастой тарелочке, настала очередь лимона. Небольшая уютная кухня словно замерла в предвкушении праздника, зеленое бра над маленьким желтым столиком призывно подсвечивало какие-то упомогачительные тарелки синего стекла. Катя, еще будучи студенткой, наткнулась на них на складе реквизита в Ижевском драмтеатре и, не в силах устоять, попросту грубо их украла — вынесла, спрятав под свитер.

Дима в ожидании ужина сражался в комнате с выделенным ему на ночь креслом-кроватью, пытаясь разгадать непростой механизм и все-таки его разложить. Первые две попытки были безуспешны, и он, потирая прищемленный палец и тихонечко, скороговоркой, будто читая молитву, матерясь, собирался приступить к третьей.

На кухне Мишка подошел к Кате и, обняв сзади за талию, поцеловал в макушку.

— Кать, я все, конечно, понимаю, — начал он полупшепотом, — но такой дерзости от тебя не ожидал. А если бы я на полчаса раньше пришел?

— А что такое? — Она, счастливо улыбаясь, сосредоточенно нарезала лимон тоненькими кругляшами. — Ну и пришел бы. И что?

— Ты в комнату-то загляни, — Мишка обнял ее сильнее. — Или скажешь, что это подушки одеяло изнасиловали? Неплохой подарок себе на день рождения отхватила. С наступающим, кстати!

— Нет, ты что! — Катя рассмеялась во весь голос. — Это я с утра диван не заправила. Ну прости неяху — проспала, торопилась, опаздывала.

Мишка почувствовал в ее голосе какие-то непривычно торопливые нотки и продолжил:

— Кать, я ведь, в принципе, не против — мы свободные люди. Ты меня просто предупреждай.

Она крутанулась в Мишкиных объятиях и, сцепив руки на его спине, медленно и четко проговорила:

— У меня с ним ничего нет. И не было. И мы с тобой не свободные, а женатые люди.

Он через рубашку ощутил холодное и мокрое лезвие ножа вдоль своего позвоночника.

— Я, в отличие от тебя, ни от кого ничего не требую и ни к чему не призываю — это и есть свобода. Катя, послушай...

— Нет, ты меня послушай! Мне эти закидоны уже начинают надоедать. Не думай, что я ничего не знаю про твои измены.

— Измены — это когда врут, скрывают, выворачиваются. Я же... — Мишка осекся, получив чувствительный укол острием ножа.

— Подростковая озабоченность — для подростковых мозгов. Не могу я уважать человека, который под каждую юбку лезет.

— А любить?

— А ты меня разве любишь? Зачем ты на мне женился? — Катя начинала сердиться.

— А на ком еще?

— У тебя же баб полно вокруг! В очередь встанут, особенно эти практикантки — первокурсницы журфака из глубинки.

— Любовь и секс — это разные вещи. Как... — Мишка почувствовал еще один укол ножа в спину, посильнее предыдущего.

— А для меня — нет, — перебила его Катя. — Я в первом браке этого говна нахлебалась, в вендиспансер раз в два месяца ходила анализы сдавать. А теперь ты за меня принялся?

— Так ты же мужу тоже изменяла... Харэ колоться, зарежешь, на фиг! — повысил голос Мишка, ощутив еще один укол ножом под лопатку. Ему даже показалось, что по спине под рубашкой поползла красной змейкой ниточка крови.

— Да потому, что я несчастна была, искала любви и защиты. Или ты тоже любви ищешь? Признайся сразу, это сэкономит нам кучу времени и избавит от многих глупых и отвратительных моментов.

— Знаешь же, что я тебя люблю. Просто я не ревнивый. И веселый. И не пью.

— Лучше бы ты пил, с пьянством я еще могу справиться. А с этим твоим членоблудием... Может, ты мне мстишь, что не девочкой тебе досталась?

— Это после развода-то — девочкой? Да я с пятнадцати лет всех твоих любовников помню — всю «золотую сотню», — усмехнулся Мишка. — Или не всех?

— Не хаами.

Он примирительно потянулся к Кате и попытался ее поцеловать. Но в последний момент она ловко повернула голову, подставив ему для поцелуя ухо. Мишка, не выпуская Катю, снова попытался поймать ее губы, но она опять вывернулась, оцарапав ему сережкой подбородок.

Игра это с ее стороны или нет, уже было не так важно, погоня за поцелуем разогрела кровь. Так они и стояли, крепко сцепившись и мотая головами, как заведенные. Наконец он не выдержал, ухватив на затылке, намотал на запястье золотистую прядь Катиных волос и резко потянул вниз. Охнув, она невольно подняла лицо, и Мишка впился в ее губы, как изголодавшийся по женской плоти маньяк, насильник и людоед. Катя закрыла глаза и ответила на поцелуй, сначала вроде бы неохотно, но все больше и больше распаяясь. Мягко стукнул рукояткой в линолеум и отскочил рикошетом под стол нож, выпавший из ее ослабевших рук.

Когда Мишка наконец оторвался от Катиных губ, она, так и не открыв глаз, прошептала, тяжело дыша:

— Отпусти!

— Чего? — спросил Мишка на выдохе, как запыхавшийся бегун.

— Волосы отпусти, дурак, больно!

— А мне показалось, тебе понравилось, — сказал он, разжимая пальцы.

Когда Катя подняла лицо и посмотрела на него, Мишка вдруг вместо ожидаемых веселых искорок увидел в серо-голубом подтаявшем льду ее глаз, в черных бездонных колодцах зрачков такое отчаяние, боль и обиду, что, испугавшись, зашептал:

— Прости... прости, Катя...

Хотел опять ее поцеловать, но она лишь крепко, до белизны, сжала губы.

Вдруг раздался вежливый стук в стекло открытой кухонной двери.

— Я, конечно, извиняюсь, ребята, — проговорил с улыбкой, кажется, уже чуть поддавший Дима, — но не пора ли нам накатить?

И призывно помахал темной коньячной бутылкой.

«Это было бы очень кстати», — подумал Мишка, выпуская Катю из объятий, но лишь молча кивнул ему: давай, мол, наливай.

Дима за столом балагурил, шутил, болтал без умолку — анекдоты и действительно смешные истории сыпались из него, как драже из надорванного пакета. Мишка, конечно, понимал, что все это предназначено в первую очередь Кате, но и сам с удовольствием его слушал. Катя, усевшаяся за маленький кухонный столик напротив Мишки, рядом с Димой, сначала все больше молчала, не сводя глаз с колбасной нарезки. Но после третьей рюмки взгляд ее, наконец-то оторвавшись от закуски, повеселел, щеки порозовели, будто кто-то приложил к ним по теплему камешку. После пятой она, случайно смахнув пепельницу на пол, окончательно развеселилась.

Мишка откровенно ею любовался. Именно такой он и любил ее, и скучал по ней больше всего: легкой, бесшабашной, шумной и смешливой. Какой она всегда и была в детстве. Но с возрастом ее ощущение бескрайнего счастья потихоньку улетучивалось, праздничные дни выцветали, да и становилось их все меньше и меньше.

— А ты почему не пьешь? — спросил Дима Мишку, пододвинув к нему поближе непечатую стопку коньяка. — На антибиотиках сидишь?

— Не, просто не пью, и все. Завязал.

— Да ну, совсем? В смысле, надолго?

— Он не помнит точно на сколько, — засмеялась Катя. — закодировался по пьянке, а теперь герой — пить бросил.

— Как это? — удивился Дима. — Так не бывает.

— Не бывает у нормальных людей, которые по три дня с психотерапевтами не бухают, — ответила Катя. — А тут особый случай. У него на все особый случай — карма такая.

— Да просто спор вышел, — объяснил Мишка, — возьмет меня гипноз или нет. Был уверен, что ничего не выйдет.

— И как оно? — заинтересовался Дима. — А если собрать волю в кулак и намахнуть?

— Да никак. Невкусно и неприятно. Больше одной не выпьешь, а с нее не захмелеешь.

— Фигня это все. Ты просто очень внушаемый. — Катя, выбросив окурки в помойное ведро, брякнула массивной стеклянной пепельницей по пластику стола. — Устроили тебе пьяный цирк с конями, а ты и повелся. А помнишь, — она за плечо развернула к себе сидящего рядом Диму, — у нас в театральном декан-алконавт был? Вот уж что он только ни делал, как ни кодировался, к светилам столичным каждый год ездил — ничего не вышло.

— Пятниченко? Да как не помнить! — ответил Дима. — Я его в Центральном гастрономе на Ленина два раза подбирал, на руках домой нес.

— Ты носил декана на руках?! — опять засмеялась Катя. — Тебя, значит, пьяные заводят? Вот не знала раньше-то.

— Нет, только старички, — ответил серьезно Дима и стал изображать Пятниченко. Причем настолько комично, что от смеха у Мишки выступили слезы, а Катя от хохота прямо валилась, правда, все больше на Диму.

Когда гость спрятал за ножку стола пустую бутылку и достал вторую, Катя, внезапно протрезвев, решительно отказалась:

— У меня на радио завтра утренний эфир. Хочу хотя бы выспаться, раз похмелья все равно не избежать. Вы сидите, если охота, а я — спать.

— Ты из театра совсем ушла, безвозвратно? — спросил Дима, прикуривая новую сигарету.

— Да, совсем, — вдруг посерьезнев, ответила Катя. — Ненавижу актеров.

Мишка, совершенно неожиданно для себя, издевательски рассмеялся, а Катя, слегка покраснев, зло на него посмотрела.

— Я тоже пойду, — встал из-за стола Мишка. — У меня завтра суд в девять. Опоздавших в зал не пускают.

— Ладно, о'кей, — не возражал Дима. — А я покурю еще. Спокойной ночи!

Мишка долго умывался. «Вот как с ней говорить?» — расстроился он, припомнив сегодняшнюю размолвку с Катей. — Ничего даже и слушать не хочет. Всегда была сумасбродкой, но чем старше, тем становится жестче и требовательней».

Он вспомнил, как, загремев в армию, через полгода перестал получать ее письма. Потом мать как-то вскользь, между строк, упомянула, что Катя вышла замуж и навсегда уехала на Кавказ. Мишка долго недоумевал. Поступок, конечно, очень Катин, но все-таки представить ее в объятиях какого-нибудь Теймура он не мог. Потом оказалось, что не Теймур, а Леха — молодой, но многообещающий художник с местного Арбата, и не Кавказ, а Крым, и не навсегда, а на три года. И характерами совпали — все чувства наружу, нервы будто оголенные провода: чуть задел — и каюк. Жили как на фронте, дрались вусмерть, причем по любому поводу. И все бы ничего — пусть резвятся люди, если нравится, — но все кончилось едва не трагически: Катю с переломами ребер и торчащим в глазу осколком стекла от разбитых очков увезли на скорой, а исцарапанного супруга — в ментовку. Уголовное дело удалось замять, а вот семейную ссору — нет. Леха ушел в творческий запой, и Катя сидела в гордом одиночестве в разбитой квартире над поверженным алкоголем телом мужа.

Мишка даже боялся представить себе, что могло бы еще случиться, не встретить он случайно в магазине Катину маму. «И помощи не попросила, даже не позвонила, чтобы просто поплакаться! — Мишка с силой воткнул зубную щетку в стаканчик. — Гордая, как “Варяг”...»

Когда он зашел в темную комнату, Катя уже лежала у стены, закутавшись в одеяло. Молча разделся и лег. Накануне он совсем не выспался и сегодня целый день зевал. Мечтал пораньше лечь, но опять ничего не вышло, и вот, наконец добравшись до мягкой горизонтали, он с наслаждением вытянулся на правом боку и приготовился отключиться. Свет с кухни освещал коридор через стекло закрытой двери и, отражаясь от белых стен, совсем чуть-чуть подсвечивал комнату, делая темноту уютнее.

— Миша, — тихонечко позвала Катя.

— Ага, — ответил он сонным голосом.

— Миш, — Катя обняла его, прижалась к спине, уткнувшись лбом в стриженный затылок. — Миш, я тебя очень люблю, ты самый-самый родной человек на свете. Но иногда становишься таким чужим, что хоть из дому беги. Не хочу ссориться, но порой я готова тебя просто убить.

Мишка уже балансировал на грани сна, но Катин голос точно удерживал его на последней ниточке, не давая окончательно ухнуть и показаться вниз, к такому долгожданному забвению.

— Да-да, — ответил он медленно, словно выпутываясь из клейкой сонной паутины — переплетения сна с явью. — Конечно, Настя, как хочешь.

Катя вздрогнула, ее рука инстинктивно, по-кошачьи, замахнулась наманикюрными коготками. Она уже тронула самыми кончиками Мишкину грудь, намереваясь вырвать его предательское сердце, но, вне-

запно передумав, втянула когти и отвернулась к стене. Плакать не решалась, хоть рыдания и душили ее, перехватывая дыхание. Она бесшумно царапала ковер, что свисал со стены толстым пушистым краем до самого одеяла, и молча глотала слезы.

Мишке снилась работа: подъезд областного суда, где закамуфлированный омоновец пропускал всех входящих через рамку металлоискателя. Ему никак не удавалось беззвучно ее миновать. На столе охранника лежала не только Мишкина папка, но и ключи, ремень, горсть мелочи и даже зажигалка. Позади собралась недовольная очередь, и омоновец, сам потеряв терпение, решил Мишку обыскать и из его заднего кармана брюк совершенно неожиданно вытащил пистолет Макарова. Мишка с удивлением смотрел на пистолет и, вдруг разглядев знакомую царапину на стволе, узнал его и понял, что это его служебное оружие, которое он забыл сдать при увольнении и все эти годы, оказывается, таскал с собой в кармане. Он только открыл рот, чтобы что-то объяснить, как обрадованный находкой омоновец со всей дури жажнул найденным пистолетом по столу:

— Теперь проходи!

От этого грохота Мишка проснулся и в ту же секунду услышал, как кухонный стол гулко стукнул в стену комнаты. Он поднял голову над подушкой — дома стояла мертвая тишина. Лег обратно и, уже засыпая, вдруг услышал на кухне какую-то возню, шепот и приглушенный смех. Мишка провел рукой по Катиной половине дивана — пусто. «Вот дуручка, — подумал он, поуютней заворачиваясь в одеяло. — Вот какой ей завтра утренний эфир!»

## Февраль 2018

Телефонный звонок раздался, как всегда, неожиданно громко, резко, требовательно. Мишка сидел на корточках над маленьким бланком и торопливо заполнял его, пристроив на коленке. Скучающие в очереди люди обернулись с любопытством. И он, вежливо и виновато улыбнувшись, прижал телефон к уху.

— Алло, я слушаю!

— Почему ты все еще там слушаешь? — раздался веселый голос. — Ты где?

— Привет, Катя! — обрадовался Мишка. — На таможне застряли. Самолет опоздал, да, похоже, не только наш. Тут теперь столпотворение. Уже сорок минут стоим, а еще столько народа впереди.

— Адрес не посеял?

— Скоро увидимся, Катя, все нормально.

Солнце тускло светило сквозь густые облака, плотная влажная жара окутала все тело. В такси, впрочем, было еще терпимо: кондиционер шпарил на полную катушку, главное — не открывать окон.

— Папа, далеко еще ехать? — спросила Мишку двенадцатилетняя девица в темных очках и соломенной шляпе, украшенной разноцветными ракушками.

— Не знаю, — ответил он. — Около часа, наверно.

— Мне холодно, — вставил семилетний белобрысый мальчик, старательно трясясь и изображая замерзающего.

— Тебе всегда что-нибудь не нравится, — ответила ему девица, добавив в голосе металлической строгости. — То очень жарко, то слишком мягко... — и, понизив голос, неразборчиво продолжила по-английски.

Мальчик что-то невнятно ответил, и дальше их диалог зажурчал уже на иностранном языке. Мишка обычно одергивал детей, стараясь сохранить у них хотя бы разговорный русский, но сейчас совершенно не обратил на это внимания, задумчиво смотрел сквозь тонированные окна тайского такси на проскакивающие мимо тропические пейзажи.

Наконец слева вдалеке вынырнули из зарослей и понеслись навстречу несколько одинаковых синих крыш, а справа, среди буйной зелени, стало проблескивать голубыми осколками море. Машина, резко свернув на неожиданно выпрыгнувшую из-за стены живой изгороди дорожку, прокатилась еще метров двадцать и встала. Дети притихли и, прильнув к окнам, подозрительно рассматривали небольшие, один к одному, нарядные домики, словно добрых великанов, обступивших их машину в нетерпении увидеть новых гостей.

— Ну, что сидим? — крикнул детям Мишка. — Приехали, выходим!

Те мгновенно, будто только и дожидались команды, выпрыгнули из машины, картинно потягиваясь и щуря глаза, как заспавшиеся кошки. Мишка, расплатившись с таксистом, повернулся и замер, столкнувшись лицом к лицу с Катей, молча стоявшей за его спиной.

— Здравствуй, Катя! — Он кинулся к ней. — Подкралась, не теряешь своих кошачьих привычек...

Они обнялись, слились вместе от коленок до макушек, совместились, как пазлы, образовав одну неопрятно-толстую фигуру.

— Катя, Катя! — шептал Мишка, уже проглотив слезливый sentimentalный комок в горле и стараясь выровнять предательски дрожащий голос. — Как же я соскучился! Ну что же ты молчишь?

А Катя, прижавшись лицом к Мишкиной цветастой рубашке, вдыхала его такой знакомый, разбудивший целый хоровод воспоминаний, словно фотоальбом пролистала, запах — и закусила губы, чтобы не разреветься. Хотя пара слезинок все же сбежала с ее ресниц и мгновенно впиталась в яркую ткань.

— Привет, девочки, — вежливо поздоровался Мишка из-за Катиной головы с двумя девчущками, которые молча стояли поодаль, с любопытством рассматривая приехавших. И, махнув головой назад, добавил: — Знакомьтесь — это Павлик и Полина. А я Миша.

— Меня зовут Маша, — представилась девочка постарше. — А это, — она указала рукой на сестру, — Рита. Ей семь, и она очень стеснительная.

Младшая, насупившись, с тревогой смотрела на мать. Катя, наконец отпустив Мишу, повернулась к дочерям, и Рита, увидев ее счастливое лицо, вслед за ней заулыбалась и подошла ближе.



...Солнце еще только проснулось и, потягиваясь, вылезало из-за дальнего холма. Волны, совсем крошечные, притворяясь взрослыми и сильными, терзали — а на самом деле ласкали — желтый, поблескивающий слюдяными осколками песчаный берег. В тени грибка из серых пальмовых листьев в шезлонге лежала Катя и сквозь антрацитовые стекла солнечных очков рассматривала верхушку какого-то разлапистого дерева, где на длинной ветке, толкаясь и крича, бесстрашно прыгала парочка маленьких обезьян. «Вот как, — думала она, прикрыв глаза, — как можно не любить пляж? Ты точно растворяешься в этом пейзаже. Распадаешься на атомы, и ветер раздувает их, перемешивая с песком, травой, цветами, солнцем и морем. А в следующую минуту другим порывом он собирает их обратно, но часть атомов перепуталась, и в тебе появилось нечто новое — немножко моря, солнца, цветов. Ветру по фигу, какой с него спрос?..»

Но тут что-то холодное капнуло ей на живот. Катя, не открывая глаз, инстинктивно стерла каплю рукой. Капнуло еще. Через секунду — еще... А потом хлынуло тропическим ливнем! Она подскочила, села и, сорвав очки, огляделась вокруг. Над ней стоял мокрый, только что вылезший из моря Мишка и задумчиво поливал ее водой из маски для ныряния.

— Миша, блин! — закричала Катя. — Совсем обалдел?! — Но, спохватившись, рассмеялась: — Это у тебя еще детство продолжается или уже ранняя деменция началась?

— Я не знаю, — серьезно ответил Мишка. — Я всегда таким веселым был. Ты, видимо, за двадцать лет уже забыла.

— Ложись рядышком, — Катя махнула на свободный шезлонг. — Ничего я не забыла, просто отвыкла немного... — И, помолчав, будто подбирая слова, добавила: — От твоего дуракаваляния.

Он бросил маску на песок, подвинул шезлонг вплотную к Катиному и, подставив спину солнцу, с удовольствием растянулся на горячем темно-синем матрасике. Катя перевернулась на живот и с интересом стала разглядывать Мишку: «Да, постарел, конечно. Фигура чуть поплыла, но не разжирел, лицо покрылось морщинами, но шевелюра по-прежнему густая, и седины совсем нет...»

— Что ты меня рассматриваешь? — спросила она, отвернувшись. — Постарела?

Мишка с удивлением повернул к ней голову.

— Не постарела, — неторопливо произнес он. — Изменилась, конечно. Но нормально выглядишь, в пределах... — тут он сделал трехсекундную паузу, — невозможного.

И, прихватив рукой завязку Катиного купальника, медленно потянул, развязывая узел.

— Эй, — строго, но негромко крикнула Катя, — мы так не договаривались! Где дети?

— Старшие где-то в зоне вай-фая. А младшие — вон, в прибое сидят, крабов ловят. Очень, кстати, дружно. Мне кажется, они на нас похожи. Чем-то.

— Не дай бог, — Катя, оглянувшись, внимательно посмотрела на детей. — Надеюсь, только внешне.

— Что плохого-то? — Мишка тихонечко потянул за веревочку развязанного верха ее купальника. — Может, у них что-нибудь сложится.

— Если похожи, — Катя ухватила рукой ускользающий лифчик и потащила обратно, — то вряд ли!

— Да ладно, — Мишка дернул лямку и потянул сильнее. — У нас просто было неудачное стечение обстоятельств и твой юношеский максимализм в хронической форме.

— Мой максимализм?! И почему неудачное стечение? Я вполне счастлива! Или ты о себе — жалеешь, что твоя австралийка увезла тебя, на фиг, на край света?

— Никто меня силком не тащил. Ей вообще в России все очень нравилось. Это я настоял, чтобы она вернулась обратно в Мельбурн.

— С тобой вместе.

— Конечно. Мы же женаты, да и я всегда мечтал куда-нибудь из Раши свалить.

— Что же ты мне тогда ни разу не предложил? Я с пол-оборота бы собралась.

— И что было бы дальше? Все равно бы ты меня бросила из-за своей глупой ревности. География тут ни при чем.

Катя молчала.

— А что твой Дима? — продолжал Мишка. — Совсем не смотрит налево?

— Совсем. Я бы сразу заметила.

— И не пьет?

— Почти, — медленно выговорила Катя. — Его срывает иногда, но я всегда на стреме. Держу под контролем. Бывает, вступаю в рукопашную схватку.

— Все как ты хотела.

— В смысле? Этого уж я точно не хотела, не ври. Такого и врагу-то не всякому пожелаешь.

— Я помню, ты мне однажды сказала: «Лучше бы ты был алкашом, чем бабником».

— Ну а ты что — получил, что хотел? — начала закипать Катя. — Или своей австралийке тоже изменяешь?

— Она русская, — примирительно ответил Мишка, — просто родилась там. Нет, не изменяю — у нас свободные отношения.

— О... господи! — застонала Катя. — Оба налево ходите?

— Не ходим, — спокойно продолжил Мишка. — Просто если что-то у кого-то случится на стороне, то это не будет поводом для разборок. Это дает дополнительную свободу, и дурацкая ревность никому жизнь не портит.

— Мне дополнительная свобода не нужна, у меня семья. Я просто не переносу распутства в браке. Понять не могу, как вы так можете? У вас же дети, они на ваши оргии смотрят. Кто потом из них вырастет?

— Какие оргии, Катя?

— Да хрен вас, свингеров, разберет! — Катя изобразила лицом губочайшее отвращение. — Все, меня сейчас стошнит.

— Свингеров — кстати, хорошая фамилия, надо запомнить, — засмеялся Мишка. — Все, Катя, выключай театр, актерский диплом сто лет назад уже защитила.

Но Катя, свесив голову с шезлонга, продолжала изображать неудержимо блюющего человека.

— Тебе уже столько лет, а понятия так и остались подростковыми. Мезозой какой-то. Да еще и других судишь! — начал злиться Мишка. — Тебя вот, смотри, от одного упоминания секса тошнит, как тут не запьешь! Я твоего Диму очень хорошо пони...

Не успел он договорить, как в лицо ему влетела горсть песка, забивая нос и рот. Глаза он успел закрыть, а моргнув, увидел Катю, загребавшую песок для второго броска. Мишка инстинктивно отклонился от следующей горсти и, перевесившись с лежанки, упал спиной вниз, беспомощно задрал ноги. Но, тоже набрав пригоршню, бросил в ответ. Катя вошла в раж и осыпала Мишку песком без перерыва, не давая ему даже открыть глаза. Тогда он сдался и побежал, а разъяренная Катя бросилась вслед. Мишка обернулся и, громко засмеявшись, крикнул:

— Грудь подбери! В Таиланде нудизм запрещен. — И, получив колючей ракушкой по спине, прибавил скорости.

Маша с Полей, с ноутбуком на коленях, поделив наушники пополам, сидели в дырявой тени корявого мангрового дерева и, судя по «пританцовывающим» глазам, смотрели музыкальные клипы.

— Посмотри-ка, — Поля махнула рукой на проносящихся мимо родителей. — Нет, ты только полюбуйся на этих крэйзи идиетс!

— Да фиг с ними, крэзи-фрэйзи, — равнодушно ответила Маша, стараясь копировать Полин акцент. — Давай еще что-нибудь с Билли Айлиш посмотрим.

Мишка бежал легко, вполноги, то и дело оглядываясь и показывая преследовательнице язык. Она же неслась изо всех сил, но ужасно мешали развязанные лямки купальника и полные пригоршни песка. Иногда Кате казалось, что она почти уже его настигла, но, стоило ей размахнуться для броска, Мишка снова резво уходил вперед.

Маленький крабик в большой коричневой ракушке на вырост, словно гномик, вынужденный донашивать за старшими большую, не по размеру, шапку со сломанным козырьком, ошалело озирался, выпучив черные булавочные глазки. Как только он начинал бежать, на его пути вдруг ниоткуда появлялась песчаная стена. Краб резко сворачивал, выбирал случайные направления, пытаясь обмануть судьбу, но дорога неизменно оказывалась перегорожена. Не теряя упорства, он сворачивал снова и снова, огибая бесконечную стену...

Рита с Пашей выстроили уже целый лабиринт, и крабу оставалось сделать еще три поворота до финишной прямой, ведущей к спаситель-

ной линии воды, когда мужская нога разметала, превратив в пыль, целый квартал песчаного города.

— Папа, — укоризненно закричал Паша вслед убегающему отцу, — что ты наделал!

Краб на секунду замер, обрадованно завращал глазками и ринулся было к воде через пролом, но тут женская нога вдавила его в мягкий влажный песок по самую раковину, взвизгнула и понеслась, подпрыгивая, дальше.

— Мама, — слезно крикнула Рита, — ну сколько можно!

Мишка свернул к мелководью и сбавил скорость. Как только Катя приблизилась, он обхватил ее за талию и рухнул в воду, утянув ее за собой. Ее оглушило, резануло зеленью по глазам. Через секунду Катя, отфыркиваясь и плюясь, села — мелкие волны плескались чуть ниже плеч.

— Лифчик уплыл, — весело сообщил Мишка, стоя рядышком на коленях.

— Дурак! — деланно рассердилась Катя и хлопнула рукой по воде, обрызгав Мишкино лицо. — Лови давай!

— Ты совсем ненормальный, — выговаривала Мишке Катя полчаса спустя, намазывая его заметно покрасневшую спину солнцезащитным кремом. — Вообще очумел в своей Австралии. Дети кругом!

Мишка, распластавшись на лежаке, только блаженно улыбался и согласен моргал.

— Мой Дима не ревнив, мне доверяет, поэтому спокойно и отпустил одну. Но детям же в двух словах не объяснишь, почему мы так себя ведем и что из этого не нужно рассказывать дома.

— То есть все же хорошо, что Дима нас не видит? — вставил Мишка.

— В смысле? — переспросила Катя.

— Ты помнишь, когда мы впервые поцеловались?

— Конечно. — Она ответила не задумываясь, будто была готова к этом вопросу. — На нашей свадьбе. После «бла-бла-бла, можете поцеловать невесту».

— Не-а, — прошептал Мишка, — значительно раньше. Когда мы летом на твоей даче жили, спали под одним одеялом и ни на минуту не расставались.

— Да ладно сочинять! — недоверчиво усмехнулась Катя. — Поцелуй в двенадцать лет я бы запомнила. Я первый раз поцеловалась в четырнадцать с... этим, как его?..

— С Андреем Ляшко, — подсказал Мишка. — Флегмой с соседнего двора. Это я помню, ты же мне тогда первому и рассказала. Лучше вспомни то самое лето, два тощих матрасика на полотах и одно большое жаркое одеяло, которое ты под утро с меня стаскивала и заворачивалась в него, как мумия. А я с рассветом просыпался от холода и грелся о твою спину — развернуть тебя было нереально.

— Прости, — грустно улыбнулась Катя. — Зато ты пинался. И бабушка внизу храпела всю ночь.

— Во, — обрадовался Мишка, — помнишь! И ты всегда засыпала первой. Когда переставала отвечать на вопросы, я, выждав еще пару минут, наклонялся и тихонечко целовал тебя в губы. И думал, что...

— Ах ты, насильник-педофил! — прервала его со смехом Катя. — А я так тебе доверяла!

— ...думал, что спишь, — продолжил Мишка, — но в какой-то момент я губами почувствовал, что ты улыбаешься. И мне стало казаться, что каждую ночь ты предвкушаешь этот момент. Затихаешь — типа, уснула — и ждешь. И я жду от тебя этого сигнала, что можно целовать. Тишина. Только два детских сердца бух-бух-бух...

— Какая тишина, бабушкин храп любой бух-бух заглушал! Красиво, конечно, — Катя похлопала его по плечу, — но я просто тупо спала. Может, и улыбалась во сне, а только никаких поцелуев не помню. Напридумывал себе целую любовную линию.

— Ну вот! — расстроился Мишка. — Знал бы, что ты все-таки спишь, был бы понастойчивей. Разбудил бы спящую красавицу.

— Да, — согласилась Катя, — жаль, что ты целовался в одиночку. Если бы я тогда знала, что ты меня любишь, наверняка все и сложилось бы по-другому. Что ты мне раньше этого не рассказывал?

Он лишь молча пожал плечами. Катя грустно улыбалась. Делая вид, что размазывает крем, она просто гладила его по спине. Движения стали медленней, а прикосновения — нежнее.

— Завтра идем на дайвинг! — вдруг радостно и громко объявил Мишка.

— Э, нет! — замотала головой Катя. — Я, наверно, все-таки пас.

— Катя, блин! — Мишка приподнялся на локтях. — Это мой подарок тебе на день рождения! Я еще вчера с инструктором договорился. Не бойся, там нечего уметь — он тебя за руку будет держать всю дорогу. Ну и я за другую.

— Я должна подумать, завтра скажу, — ответила Катя, добавив еще крема на его спину.

— Только попробуй захлыздить, — мрачным голосом продолжил Мишка. — Эй, не царапайся, втяни когти! А помнишь, как на твоей даче мы плот строили из отцовских досок? Собирались все озеро обойти и найти выход в море. Ты тогда ничего не боялась — ни родителей, ни глубины.

— Во фантазеры были! Да у меня и сейчас, если поймаю это ощущение, — щенячий восторг в душе. — Она замедлила движения и мечтательно вздохнула. — Такое счастье накрывает, будто мне опять двенадцать. Жаль, плот тогда так далеко и не уплыл... А за доски, кстати, мне здорово влетело.

Катя вдруг, закинув ногу, оседлала Мишкину поясницу и принялась энергично размазывать по его спине уже третий слой крема.

— Я знаю, что нам нужно делать!

— С плотом? — усмехаясь, спросил Мишка, покосившись на нее из-за плеча.

— Почти, — кивнула Катя. — Нам нужна своя яхта.

Мишка на пару секунд замер, переваривая услышанное, потом, маслено блеснув кожей, провернулся, очутившись на спине, и снизу вверх в изумлении уставился на Катю.

— О, какой верткий! — засмеялась она. — Хорошо же я тебя смазала. Как тебе идея? — И так как он по-прежнему молчал и лишь глупо улыбался, скороговоркой добавила: — Небольшая, но океанского класса. Не новая, но надежная. И стоянка здесь, на Самуи, будет, не на Балтике же ее ставить. Поучимся, подготовимся, права получим...

— Кругосветка? — только и выговорил Мишка.

— Ага, — блаженно жмурясь, кивнула Катя, — наконец-то найдем выход к морю.

Мишка приподнялся и, обхватив Катю за плечи, повалил на себя, пытаясь поцеловать. Вышло смазанно. Она сначала растерялась, поддалась, но тут же, вывернувшись, накрыла ладонью его губы и строго сказала:

— Давай только без этого, Миша. Все это у нас с тобой уже точно в прошлом.

«Вот дурочка, — подумал Мишка, щурясь на выглядывающее из-за Кати солнышко. — Как же — в прошлом! Куда мы, на фиг, потом денемся с этой яхты?! С лодкой, конечно, будет много возни, но идея все же гениальная... Хотя столько сложностей, и не только технических... но это ладно, было бы желание».

И он вдруг явственно представил себе стройную красавицу яхту в этом самом заливе, белоснежные паруса на фоне бирюзового неба. И люди стояли на палубе. Мишка не мог их как следует рассмотреть, но ему показалось, что у этих людей все наконец-то хорошо...



Игорь АЛЕКСЕЕВ

## ВРЕМЯ УПРАВЛЕНЦА

Р а с с к а з ы

### Грамота

*Плохой тот солдат, который  
не думает стать генералом.*

А. Ф. Погосский

— Почему один человек подчиняется другому? — задала вопрос начинающим директорам преподаватель курса по менеджменту.

— Потому что есть либо социальные, либо возрастные отличия, — послышался вариант ответа от молодого директора большой школы в областном центре.

— Не-а. — Вопрошавшая игриво цокнула языком.

— Из-за страха пред наказанием? — предположила моя коллега из района.

— Нет.

— Может, человеком двигает алчность, и он готов «прогнуться» ради выгоды? — выдвинула гипотезу староста нашей группы.

— Не то.

В аудитории стало тихо. Лектор победоносно оглядела начинающих управленцев и менторским тоном произнесла:

— Человек подчиняется другому, потому что *сам так хочет*. Если нет желания — ничто его не заставит.

Мне в этот момент позвонили по телефону. Беспокоила сотрудница из моего Дома детского творчества — педагог по вокалу. Я сбросил вызов. Неудобно было сейчас разговаривать о работе.

— И как сделать так, чтобы у подчиненных возникло желание исполнять приказы? — спросил кто-то из аудитории.

— Готовых ответов нет, — сказала преподаватель и улыбнулась. — Каждый человек индивидуален.

Мне опять позвонили с того же номера. Я вновь сбросил. Набрал шаблонную СМС: «Занят, перезвоню» — и отправил.



— Чтобы управлять, вы должны хорошо знать внутренний уклад своего коллектива, — продолжала лектор.

— Что это значит?

— Это значит — понять устоявшиеся традиции. В какое время сослуживцы любят пить чай, какие праздники отмечают, привыкли ли пораньше уходить с работы...

— Ну пораньше-то без разрешения — это наглость будет!

— Не всегда. Например, без обеда работает человек.

Мне в третий раз позвонили. Значит, что-то случилось и надо ответить.

— Извините, — сказал я и вышел из аудитории.

Кураторы курса не осуждали нас, если мы отвлекались на телефонные вызовы. Они понимали: учреждение всегда находится рядом с директором, куда бы он ни поехал.

— Здравствуйте, Игорь Семенович! — услышал я в трубке взволнованный голос педагога по вокалу.

— Добрый день. Слушаю вас, Ирина Павловна, — ответил я, уже предчувствуя неприятности.

— Да не добрый он! Узнала от вашего зама, что грамоту в День учителя мне не дадут, а вы говорили, что оформили на меня наградной лист. Как это понимать?

— Все документы, Ирина Павловна, я отдал секретарю управления образования. Там решают, передавать их в министерство или отклонить.

— Я звонила секретарше. Она сказала, что никаких бумаг на меня вы ей не приносили! Обман! Кругом обман! Разве так можно?!

— Успокойтесь, пожалуйста. Я приеду из командировки и разберусь во всем. Документы я отдавал.

В трубке послышались гудки.

Ирина Павловна Загорская работала педагогом в нашем Доме детского творчества уже более трех десятков лет. Как она сама говорила, «шесть директоров пережила». Близился выход Загорской на пенсию, и было решено отметить ее заслуги министерской грамотой, о чем и объявили на педсовете. Собрали нужные бумаги. Я сам лично отнес их в управление. Что за фокусы?

— Алло, Наталья Ивановна? — позвонил я секретарю управления образования. — Что там с документами Загорской? Почему она мне говорит, что я не подавал награды на нее?

— Игорь Семенович, тут такое дело... затерялись ее документы в наших кабинетных дебрях.

— Вы их потеряли, а я виноват оказался. Кричит в трубку, что я не относил вам бумаги на нее.

— Решим проблему, не берите в голову. Учитесь спокойно.

— Так получит она грамоту или нет?

— В День учителя — уже нет. Дадим после Нового года, на январской конференции.





Я перезвонил педагогу:

— Ирина Павловна, я разобрался. Ваши документы потерялись в управлении не по моей вине. Так бывает. Вам грамоту от министерства обязательно дадут, но позже.

— Ложка хороша к обеду. Не надо мне никаких грамот! Я не верю вам больше. Вы хотите войны — вы ее получите!

— Ирина Павловна, соблюдайте, пожалуйста, субординацию.

Бросила трубку.

Я глубоко вздохнул и вернулся на лекцию по менеджменту.

Коллегам раздали письменное задание — сделать психологический паспорт своего коллектива. Тест содержал несколько портретов личностей. Меня заинтересовал один, именуемый «Звезда». Он очень подходил Ирине Павловне и был актуален как никогда. «Затмить нельзя уволить», поставьте сами запятую, куда хотите, — так можно было охарактеризовать этот образ.

Честно говоря, хотелось уволить. Результаты работы «звезд», конечно, впечатляют, яички эти курочки несут золотые — победы на краевых и всероссийских конкурсах. Но взамен хотят тоже немало: требуют особых условий труда, игнорируют общие правила, нарушают нормы делового общения, не признают заслуги других.

Снова звонок. На этот раз от руководителя управления образования. Такой вызов не сбросишь в режим ожидания. Я извинился и снова вышел.

— Слушаю, Оксана Викторовна. Здравствуйте!

— Здравствуй, Игорь! Ты в курсе, что твоя Загорская ходила на прием к нашей новой главе, лила слезы в ее кабинете, рассказывала, какой ты никчемный директор, и вдобавок накатала на тебя жалобу в министерство?

— Мы же с Ириной Павловной только что беседовали по телефону! Я все ей объяснил. Когда успела? — опешил я.

— Она еще до разговора с тобой это сделала. Сегодня с утра.

— А я, как дурачок, расшаркиваюсь пред ней, узнаю про ее наградные документы...

— Наградные — это только один из пунктов петиции. Там такое про тебя написано, что волосы дыбом! Отмываться долго будем.

— Можно почитать, в чем меня обвиняют?

— Пока в этом нет необходимости, побереги нервы. Я тебе сброшу на электронную почту, какие документы надо подготовить и с кого необходимо взять объяснительные. Будем «Войну и мир» с тобою писать — в смысле, по объемам.

— Я же не в городе сейчас, я на курсах.

— Дай задание заму подготовить ответ на жалобу. А то она у тебя, похоже, сама править любит во время твоего отсутствия. Конфликты подогревает в учреждении.

— Я ей как себе доверяю.

— Доверяй, но проверяй. Ты вот говоришь, представление к награде на Загорскую нам отдавал. А расписку у секретаря взял?

— Нет...

— Вот она и заявляет, что никаких документов не видела и ничего не теряла.

— Она же призналась мне!

— Тебе-то — да. Совести, значит, еще чуть-чуть осталось. А мне совсем другое поет.

— И как теперь нам работать вместе?

— Как и раньше. Делай вид, что ничего не случилось, улыбайся, но держи ухо востро.

— Я про Загорскую.

— Так же. Улыбайся и жди ее промаха. А как ошибется — раскрути по полной.

Для моей карьеры начинающего директора ситуация складывалась крайне опасная. Мы поссорились с нынешней главой города еще до назначений на должности (тогда она работала редактором местной газеты и была депутатом горсовета). Выказались нелицеприятно о взглядах друг друга на воспитание детей. У главы ко всему образованию были свои счеты: сказала не слишком успешная учеба сына в школе в прошлом. Вины учителей в этом не было, но разве докажешь матери, что ее ребенок оболтус? Наша словесная перепалка проходила на общественном сайте, а потому смаковалась и широко обсуждалась горожанами. С тех пор, встретившись на улице, мы даже не здоровались. Теперь она — глава города, избранная народом, а я — директор Дома детского творчества, назначенный ее предшественником. Не надо долго размышлять, чтобы предугадать ее реакцию на кляузу Загорской. А плюс еще жалоба в министерство...

Браво, Ирина Павловна! Вы профессионал. Вырубили соперника еще до того, как он вышел на ринг. Будет мне наука на будущее!

В аудиторию я вернулся понурый. Лектор это сразу заметила.

— Что-то случилось, Игорь Семенович? — спросила она.

Я вкратце поведал историю с грамотой.

— Ох и тяжело вам будет. Держитесь! Даже не знаю, чем помочь, — в голосе преподавателя курса сквозила неподдельная тревога, точно она узнала, что я неизлечимо болен и спасти меня может только чудо.

«Вот тебе и менеджмент, — подумал я. — Страшно далек он от реальности!»

Ночью долго не мог уснуть. В голову лезли беспокойные мысли. Загорская, словно «бумажный» террорист, бросила в наше учреждение «чернильную бомбу». Сколько людей по ее милости теперь оторваны от своих дел: пишут объяснительные, собирают документы непонятно ради чего...

Хотелось бежать, решать, звонить — хоть как-то остановить это безумие с грамотой. Я пытался найти оправдание поступку педагога. Столько



лет работала... Ждала, наверное, готовилась: новое платье купила, чтобы выйти на сцену за грамотой, репетировала ответную речь, а тут — раз, и ничего не будет. Обидно стало женщине, вот и отомстила. Но понимание этих причин не делало Загорскую симпатичнее в моих глазах.

Ирина Павловна славилась своей любовью к скандалам. Каждый из директоров нашего учреждения хоть как-нибудь да пострадал от нее, вот и я не оказался исключением. Ее не раз пытались уволить, но не смогли. Не хватило твердости. Вокальный детский коллектив «Домисолька» под руководством Загорской насчитывал больше семидесяти детей, у каждого ребенка мама и папа, бабушка и дедушка. За долгие годы работы — сотни выпускников. Все они боготворили своего педагога (другого отношения она не признавала). Стоило задеть Ирину Павловну — и вся детско-родительская рать вставала на ее защиту, даже не пытаясь разобраться в ситуации. Загорская умело дирижировала общественным негодованием.

Я вспомнил счастливые дни, когда работал простым методистом. Ни забот, ни хлопот. Придешь в наш Дом детского творчества, получишь задание на неделю, сделаешь его за два часа, а дальше — изучай документы, самообразовывайся, моделируй новые проекты. Благодать! И чего меня потянуло в управленцы?..

В памяти всплыл разговор с бывшим директором, состоявшийся чуть больше полугода назад.

— Как дела, Игорь? — спросил он обыденно.

— Все прекрасно, — ответил я, не чувствуя подвоха.

— Не слышал сплетни, кого директором в десятую школу назначают? Селиванова недавно уволилась. Два месяца всего проработала.

— А чего уволилась-то?

— Говорят, по ночам спать перестала.

Я засмеялся.

— Сплетен не слышал, но тебя точно не назначат, — сказал я директору прямо, не подумав. Мы с ним были старые приятели.

— Почему так считаешь?

— Ты здесь нужен и незаменим. Нам с тобой хорошо. Спокойно.

Я посмотрел на директора. Он хитро улыбался. И тут — озарение!

— Что, тебя назначили? Уходишь от нас? — ошеломленно выпалил я.

— Меня. Но это пока секрет.

— А на твое место кого?

— Я тебя рекомендовал. Ты здесь трудишься уже больше десяти лет, знаешь все от и до, в коллективе тебя уважают. Сегодня в час дня тебя ждет на собеседование руководитель управления образования, а вечером — глава города. Думаю, что решение по поводу твоего назначения будет положительным.

— Как же так? — От волнения у меня свело живот. — Неожиданно как-то...

— Что, нет желания поручить?



— Да свыкся я с нынешним положением. Лет до тридцати пяти хотел стать директором, а сейчас, после сорока, и не надо... А если откажусь, то кого поставят?

— Есть две запасные кандидатуры, и они тебе не понравятся. Обе дамы работают в школах замами по воспитанию, систему нашу знают плохо. Будешь с ними постоянно в контрах.

— Значит, выбора нет?

— Решай сам, есть он или нет.

— Допустим, я согласился. Что посоветуешь?

— Для начала изучи нормативку: «Закон об образовании», «Устав учреждения» и «Коллективный договор». Запомни, ты всегда должен знать больше законов, чем педагог. В этом твоя сила. И еще: никогда не доверяй Загорской. Как бы Ирина ни улыбалась тебе, ни льстила твоему таланту и уму, наступит момент, когда она предаст и вцепится в спину.

— С Ириной Павловной у меня хорошие отношения.

Директор скептически хмыкнул, словно уже тогда предвидел события сегодняшних дней.

— Больше рекомендаций не будет? — спросил я.

— Остальное поймешь в процессе. Звони, спрашивай. Всегда рад помочь.

Первые два месяца после назначения руководителем я просыпался по ночам и не понимал, сплю или бодрствую. Засыпая, думал о работе, во сне видел работу, мысли после пробуждения были о работе. Нервы гудели, как провода под высоким напряжением. Я не отдыхал даже в выходные. Меня постоянно мучили вопросы, заключены ли контракты на тепло и вывоз мусора, составлены ли сметы на ремонт, внесены ли изменения в план финансово-хозяйственной деятельности. Теперь я не смеялся над Селивановой и хорошо понимал: сломалась она, не выдержала психика.

Но прошло время, и тревога затихла. Растворилась в потоке жизни. Нервная система адаптировалась.

И вот новое испытание — чтобы не расслаблялся.

Командировка закончилась. Я вернулся к привычной рутине, какой является работа директора учреждения дополнительного образования.

Загорская прошла мимо по коридору и не поздоровалась.

— Ирина Павловна, почему не здороваетесь? — спросил я.

— Не захотелось что-то, — дерзко ответила она, ничуть не стесняясь.

— Мы с вами на работе и должны соблюдать этикет независимо от наших эмоций.

— А у меня нет сил сдерживаться! Я женщина, и меня унизили!

— Вы же знаете, моей вины в этом нет.

— Я в растерянности — кому из вас верить? Секретарь убеждает, что вы не приносили документы, а вы говорите, что отдавали.

— Вот видите, вы не разобрались, а уже везде жалобы пишете.



— Это мое право — писать куда хочу.

Я вздохнул и закончил разговор. Человек не был готов признавать свои ошибки. Да и только ли ее это ошибки? Ведь я тоже виноват: не проконтролировал, пустил на самотек. Подвела меня слепая уверенность в том, что наверху все сделают правильно.

В конце рабочего дня в дверь моего кабинета осторожно постучали. На пороге стояла высокая полная женщина в очках. Глаза ее были заплаканы.

— Можно войти?

— Проходите, — сказал я. — Что случилось?

— Мой сын уже пять лет ходит в кружок к Ирине Павловне. Он подросток, у него начинает ломаться голос, и она его из хора выгнала. Мы доказывали, возражали, а Загорская устроила судилище на родительском собрании, на котором и дети присутствовали тоже. Выставила при всех моего ребенка бездарем, а нас, его родителей, идиотами. В выражениях не стеснялась. У меня есть аудиозапись этого собрания...

Женщина продолжала, всхлипывая, говорить. Я слушал ее и параллельно размышлял. Сделать вид, что ничего страшного не произошло, нельзя, ведь пострадал ребенок. Попытаться сгладить конфликт? Ирина Павловна не пойдет на компромисс и не станет извиняться. Мать, кажется, тоже настроена решительно. Не среагирую адекватно ее ожиданиям — пойдет с жалобой в прокуратуру. Что же делать? Вспомнились слова Оксаны Викторовны: «Дождись ее ошибки и раскрути по полной...»

— Изложите, пожалуйста, ваши претензии на бумаге, — сказал я женщине. — Перечислите ваши требования письменно. Я разберусь и дам вам ответ в установленные сроки.

Женщина утерла слезы.

— Я дома напишу и завтра вам принесу, — сказала она.

Мы попрощались.

Я оделся и вышел на улицу. Конец сентября выдался холодным и пасмурным. Опавшие листья устилали тротуары. Люди ежились, поднимали воротники и спешили по узким грязным дорожкам в свои теплые квартиры.

По пути домой я случайно встретился с бывшим директором нашего Дома детского творчества. Мы отступили чуть в сторону с тропинки и разговорились. Я поведал о жалобе матери подростка, которого Загорская выгнала из хора.

— Не знаю, что предпринять, — закончил я свой рассказ.

— Хорошим для всех не будешь. Всегда кто-то останется недовольным. Поэтому, как говорил римский император, «делай, что должен, и будь что будет».

— Не хочу ничего делать, хочу в норку зарыться и спрятаться.

Мой приятель подмигнул мне и, хлопнув по плечу, весело спросил:

— Ну что, теперь понял, сколько весит шапка Мономаха?

— Носить ее с прямой спиной не получается, — ответил я.



— Для дела позвоночник всегда должен быть гибким, — пошутил бывший директор. — Не унывай! Обойдется. Все рано или поздно заканчивается.

Мы попрощались, пожелав друг другу удачи.

На следующий день делопроизводитель принесла мне завизированную жалобу на Загорскую.

Я рекомендовал Ирине Павловне самостоятельно загладить конфликт с родительницей, но она сочла это предложение для себя оскорбительным.

— Мне что, на колени встать перед этой семьей, чтобы они оставили меня в покое и забрали от вас свою писульку? — бросила Загорская с вызовом.

— А хоть бы и так. Ирина Павловна, вы не оставляете мне выбора.

— Делайте, что хотите, *уважаемый* директор, — сказала она, интонационно выделив слово «уважаемый» так, чтобы сразу стало понятно, что в ее глазах как руководитель я ничего не значу.

Я в бессилии развел руками, показывая Загорской жестом, что сделал для нее все, что смог. Ирина Павловна пренебрежительно усмехнулась в ответ и вышла из кабинета, хлопнув дверью.

Началось долгое и неприятное разбирательство. Я создал комиссию, затребовал объяснительные, выслушал свидетелей. Мои действия вызвали у Загорской новый всплеск негодования. Мне вновь пришлось отвечать на кляузы, разосланные ею в разные инстанции.

Родители детей из учебной группы «Домисолька» постоянно атаковали мой кабинет, задавали нелюбезные вопросы, хамили, ничуть не считаясь с тем, что я директор учреждения. Мою позицию и аргументы они не хотели слушать. Не вызывал у них сочувствия и пострадавший ребенок.

— Он сам виноват! — кричали мамочки. — Вы не знаете, какой это мальчик и как отвратительно он ведет себя на занятиях у Ирины Павловны. И мать с отцом его не лучше! Не нравится в кружке, так пусть уходят, а не сочиняют мерзости про педагога.

— Зачем вы на них наговариваете? Я запрашивал характеристики. Классный руководитель отзывается о ребенке и его семье положительно.

— Вранье! Ничего не знает ваш классный руководитель.

Я был в шоке от такого поведения родителей. Почему они так слепо и фанатично защищают Загорскую? Неужели не понимают, что завтра могут пострадать их дети? Но, похоже, не понимали. Они, как зомбированные, твердили одно и то же:

— Руки прочь от нашего педагога! Отмените дисциплинарное взыскание!

Я отвечал отказом.

Никто в нашем учреждении не остался в стороне от конфликта. Загорскую хватало на всех. Она специально задевала других педагогов и технический персонал, провоцируя их на скандалы. Люди постоянно



жаловались на ее неадекватное поведение. Председатель профсоюза Дома детского творчества организовала собрание, на котором работники открыто осудили поведение Ирины Павловны. Загорской предложили уволиться. Она смеялась всем в лицо и говорила, что с удовольствием погуляет, провозжая на пенсию каждого из нас, а ее увольнения мы не дождемся.

Назревал конфликт «вселенского» масштаба. Оксана Викторовна была крайне озабочена разросшейся смутой. Глава города позвонила ей и отчитала за неумение работать с подчиненными, явно намекая, что пора воздействовать на меня репрессивными методами.

— Игорь Семенович, ты должен успокоить Загорскую, или она долбаит нас своими жалобами, — сказала мне руководитель управления образования в личном разговоре.

— Подскажите, каким образом?

— Не подкидывай дров в огонь. Не отвечай на ее выпады. Усмири коллектив.

— Я не просил поддерживать меня. Это инициатива педагогов.

— Радуйся, что они за тебя. Только это остановило главу принять окончательное решение не в твою пользу. Но помни: это ты должен управлять коллективом, а не они тобой. Погаси конфликт.

— Как быть тогда с ребенком и родителями, которых унизили в присутствии других людей?

— Ты наказал уже Загорскую за это, объявив ей выговор.

— Дело тянет на увольнение.

— А вот увольнять не надо.

— Почему?

— Ты готов, извиняюсь за грубое выражение, к тому дерьму, которое потечет огромными реками в нашу сторону?

— Оно уже течет.

— О! Это только ручейки! Игорь, мой тебе совет — хватит, заканчивай. Не факт, что ты выиграешь эту войну. В министерстве крайне недовольны ситуацией. Вчера они получили новую жалобу на тебя от коллектива родителей «Домисольки».

— Может, я действительно не справляюсь и надо сложить полномочия?

— Усвой простое правило: если кому-то не нравится, как им руководят, — уйти на другое место работы должен он, а не директор.

После разговора я пришел в свое учреждение опустошенным. Устало бросил забрызганное грязью пальто на кресло. Оттирать пятна не было сил.

Моя репутация трещала по швам. Я чувствовал себя беспомощным. «Король — самая слабая фигура и нуждается в постоянной защите» — по-моему, так говорил кардинал Ришелье из фильма «Три мушкетера». Я — самая слабая фигура в учреждении. Меня больше уважали, когда я был методистом. У современных управленцев мнимая власть. По сути,



нет никаких рычагов, чтобы обуздать распустившегося подчиненного. Нет этой возможности и у коллектива — так, видимость, что люди что-то решают. Невоспитанный и беспринципный человек, ловко балансируя на красной черте, может до бесконечности будоражить любое учреждение. Как противостоять таким и не потерять лицо?

Психологи утверждают, что конфликт должен достигнуть предела, наивысшей точки кипения — только тогда он пойдет на спад. Значит, необходимо высказать друг другу все обиды в лицо, обнажить подводные камни.

Я взял тайм-аут длиной в три дня, а потом пригласил Ирину Павловну в свой кабинет.

— Хочу поговорить с вами откровенно, напрямую изложить свою позицию. В ответ рассчитываю услышать вашу. Надоело юлить и отвечать витиевато на бумаге, — начал я разговор.

Загорская взглянула на меня свысока.

— Скажи мне, ты хочешь здесь работать? — спросила она.

Обращение на «ты» меня обескуражило. Появилось ощущение, что это я ее подчиненный, а не она — мой.

— Хочу и буду, — ответил я. — Не вам это решать. И потрудитесь не тыкать мне.

— Худшего директора в нашем Доме творчества я еще не видела. Да и директор ли *вы*? Методистом хорошим были, а вот управленцем стали плохим! Вы должны защищать педагогов, а не раздувать пожара!ца!

— Жаль, что вы не поверили мне, Ирина Павловна. Доверие — основа взаимоуважения. У нас же с вами прекрасные отношения были. И это вы не захотели их сохранить.

— Так и *вы* не встали на мою сторону. Я же объясняла, что мамочка наговаривает на меня! Не оскорбляла я их семейку.

— Ирина Павловна, есть аудиозапись собрания. Там очень хорошо слышно, что вы говорили.

— Я в суд пойду! Запись без моего согласия — это нарушение закона. Я и на вас, Игорь Семенович, исковое напишу. Хотите, чтобы я уволилась? Давите на меня! Заперли тут, в кабинете!..

— Ну, во-первых, вас никто не запирал, можете встать и уйти в любое время. Во-вторых, не нравится директор — поищите другого и в другом месте. И в-третьих, сутяжничество — это грех.

— Родители на вас жалобу в министерство написали и еще в газету статью. Ославьтесь на весь город. Снимут вас, помяните мое слово!

— Отвечу и на эту клязу, дам опровержение в газету. Замарать меня не удастся. Раз вы выложили козырь, о котором я не знал, — про газету, то и я покажу вам свой. Мама ребенка, которого вы выгнали из учебной группы, подала на вас заявление в прокуратуру. Она утверждает, что вы ежемесячно собирали деньги с родителей якобы на костюмы для номеров самодеятельности, а на деле тратили их по своему усмотрению.

Загорская вздрогнула. Впервые я увидел испуг на ее лице. Значит, мои слова попали в цель!





— Да как она смеет! Я же... мы же... все для выступлений!..

Ирина Павловна заплакала. Я протянул ей бумажные платки.

— Да сколько же можно терпеть такое унижение! — продолжала причитать Загорская.

Я глядел на Ирину Павловну и не мог понять, искренне она плачет или устраивает очередное представление. Но в одном я был уверен точно: Загорская денег себе не присваивала — наоборот, часто вкладывала свои, чтобы концерт состоялся.

— У вас есть протоколы родительских собраний с решением о сборе денег на костюмы? — спросил я.

— Нет...

— Ведомости с подписями родителей о сдаче денег и чеки?

Загорская отрицательно помотала головой.

— Заявления родителей о пожертвовании?

— Не делали мы этого. Все на доверии.

— Сделайте. У вас еще есть время.

Ирина Павловна перестала всхлипывать и изумленно посмотрела на меня.

— Вы мне помогаете? — недоверчиво спросила она.

— Я бы, конечно, мог поступить иначе. Признаюсь честно — было такое желание. Но меня остановили дети из вашего кружка. Они приходили ко мне вчера и просили за вас. Я, конечно, понял, кто вложил текст в их юные уста, но увидел также и другое. В отличие от взрослых, дети искренне вас любят. А еще они любят петь. Лиши я их педагога, куда они пойдут? Кто научит их так хорошо чувствовать музыку? Вот я и решил, что буду действовать, исходя не из своих и не из ваших интересов, мною будет двигать забота о детях. Именно поэтому я и помогаю вам. Предлагаю, Ирина Павловна, обнулить наши отношения. Начать их сегодня с чистого листа, как будто до этого дня ничего не было. Все, хватит — ставим точку!

Я сделал паузу, но Загорская молчала и ничего не говорила в ответ.

— И извинитесь, пожалуйста, перед родителями и ребенком, которых вы обидели, — продолжил я. — Мальчик не понимает, за что вы его наказали. Он не вернется больше к вам в кружок, но пусть и камня на его сердце не останется.

Загорская встала, выразительно посмотрела в мою сторону, но передумала отвечать и молча вышла из кабинета.

Что ж, худой мир лучше доброй ссоры.

После нашего разговора Ирина Павловна не смогла сразу остановиться. Она прислала мне еще несколько жалоб, но в них уже не было той ярости, когда словом можно задушить соперника. Все эти претензии напоминали скорее затухающее эхо взрывов, чем серьезные требования. Я начал спокойнее реагировать на письма Загорской, отвечать ей сухо и бюрократически: «по вашему вопросу можем пояснить следующее... примем к сведению... обсудим... решим...» и т. д. и т. п. Она читала мои от-

веты, хмыкала и постепенно успокаивалась: поняла, что увольнение ей не грозит. Мы стали здороваться, а иногда даже улыбаться друг другу. Я поговорил с профсоюзным лидером, объяснил, что обстоятельства изменились, и коллектив затих. Наш, казалось, бесконечный конфликт истощился и пошел на спад.

Однако статья от родителей в газете все же вышла. Ее не успели (или не захотели) снять, но результат эта публикация имела обратный. Я дал опровержение, из которого глава города узнала подробности инцидента о пострадавшем ребенке. Она, пусть, возможно, и нехотя, заняла мою сторону в конфликте. Я сохранил свой пост и достойно вышел из этой ситуации.

В следующем учебном году в управлении образования решили исправить ошибку, подсуетились, согласовали все в верхах — и к Дню учителя Ирина Павловна за многолетний труд и многочисленные заслуги получила министерскую почетную грамоту. Она до сих пор продолжает трудиться в нашем коллективе и в обозримом будущем уходит на пенсию не собирается.

Если бы сейчас я был ведущим курсов по менеджменту, то мои занятия для молодых управленцев начались бы со слов: «Желающий быть счастливым не стремится к власти». А потом бы я добавил: «Хотите управлять людьми — научитесь прощать».

## Котел

*...Увезите меня на Дип-хаус,  
Я здесь усну и там проснусь.*

Современная песня

Не люблю, когда звонят рано утром! Не оттого, что собираюсь на работу и мне некогда отвечать (хотя и это тоже), а оттого, что в ранних звонках обычно нет ничего хорошего. Утренняя трель телефона — чаще всего беда! Не станут люди просто так звонить на рассвете. Вот вечером звонки всякие бывают, и все больше пустые, как эхо дневных забот и тревог.

Я посмотрел на часы. Начало восьмого.

— Ну чего ты звонишь?! — злобно прошипел я телефону, который вибрировал на комод.

На экране высвечивался номер завхоза.

— Слушаю! — выдохнул я грозно, чтобы скрыть волнение в голосе.

— Игорь Семенович, котел потек! — кричала завхоз.

Опасения подтвердились. Говорю же, от утреннего звонка хорошего не жди.

— Он уже месяц течет.

— Сильно льет! — голосила завхоз.

— Насколько сильно?

— Как сквозь решето вода утекает! Мы ее заливаем, а она ручьем из котла... Почти три куба за ночь влили в систему!

— Трубы в корпусах теплые?

— В медпункте теплые, а в столовой и корпусе холодные.

— По ходу, теплотрассе... — Я проглотил рвущееся из горла ругательство.

Мне выразиться не полагалось по статусу. А ведь моей психике сейчас просто необходима была разрядка. Ну что за профессию я себе выбрал — педагог?! Да еще год назад стал начальником загородного детского лагеря отдыха. Теперь ни выпить по-человечески, ни сматериться.

— Держитесь там. Сейчас буду решать проблему, — ответил я и оборвал разговор.

Котел потек! Что делать? Куда звонить? К кому бежать за помощью? Я отчаянно пытался собраться с мыслями.

О том, что котел прохудился и был залатан, я известил главу города еще летом. Просил денег на новый. Логически стройно обоснованный ответ градоначальника гласил: денег нет и не будет, решайте проблему сами. А что мы могли решить? Весь доход с детских путевок ушел на подготовку лагеря к сезону: обработку огнезащитным лаком деревянных корпусов, оборудование нового медицинского блока и многое другое. Прибыли не осталось никакой. Даже на краску денег не хватало, чтобы корпуса в порядок привести, не то что на новый котел. Просили в долг у местных предпринимателей, но они «бюджетникам» уже мало верят.

— По судам, — говорят, — устали ходить, долги выбивать.

Городская власть, похоже, надеялась, что зиму котел простоит, а там придет лето — и проблема отпадет сама собой до следующей осени.

Знающие люди предупреждали:

— Запаянному котлу морозы не страшны, для него весна опасна, когда ночью минус двадцать, а днем плюсовая температура. Вот тогда бойтесь!

А весна в этом году ранняя пришла, еще в феврале, будь она неладна. Котел и потек. Сначала потихоньку, редкой капелью... Мы подливали в отопительную систему воду — носили ее ведрами из ручья. Мужики-испытники матерились, грозились уволиться, но держались до последнего. Только изливали мне свою обиду:

— Семеныч, долго мы этой лабудой будем заниматься?! Сил уже нету! Покупай новый котел!

— Мужики, потерпите чутка. Я не бездействую, я деньги ищу, — оправдывался я.

— Да что они там, наверху, совсем ничего понимать не хотят?! Сами миллионами тырят, а мы тут загибаемся...

Я покорно слушал, поддакивал, обещал, а сам понимал — никто «там, наверху» ничего решать не будет. От этого в душе неуклонно ширилась пустота. Мир переставал быть логичным и понятным. Я разочаровывался в нем, а заодно и в самом себе.

Течь усиливалась с каждым днем. Котел жрал уголь без меры, при этом плохо топился и еле грел трубы.

Я позвонил первому заместителю главы города:

— Андрей Сергеевич, выручайте! Беда с котлом!

— Не паникуй, Игорь, — ответил замглавы. — Подъезжай к трем в лагерь. Я знающих мужиков с собой возьму. Посмотрим, что можно сделать.

В отличие от мэра его первый заместитель был мужик простой. Витиеватыми и умными фразами изъясняться не любил (или не умел), говорил просто и по делу, часто сдабривая свою речь крепкими русскими выражениями.

В назначенное время около лагерного котла собрались нужные люди. Каждый из приглашенных по очереди степенно, с серьезным лицом оглядел агрегат, проверил течь, многозначительно хмыкнул, матюгнулся, перекинулся несколькими фразами с рядом стоящими и погрузился в раздумья. «Котельный консилиум» начался.

— Что сделать можно? — обратился ко всем присутствующим заместитель главы города.

— Менять надо котел, — сказал угрюмый мужик — главный мастер городских теплосетей.

— Зимой как его менять? Теплотрассу же разморозим, — возразил индивидуальный предприниматель, который специализировался на ремонтном бизнесе. Звонкий голос и небрежно насаженная на макушку шапка делали его похожим на вечного дембеля.

— За семь часов ничего не случится, — парировал руководитель «Жилкомуслуг», которого Андрей Сергеевич в шутку называл доктором сантехнических наук.

— Я котел так быстро сменить не смогу, — отреагировал на реплику индивидуальный предприниматель.

— Почему? — нахмурился замглавы.

— Пока старый вытащим — он полторы тонны весит, — пока новый вкатим... Потом переходники ставить надо, тут трубы другого диаметра. А это долго, — ответил «вечный дембель».

— А что, если электрокотлы, по сто ватт каждый, врезать в трубы? — сказал мастер теплосетей. — У нас на складе есть такие. Правда, старые, но ничего — сойдут!

— Не вариант! — ответил ему «доктор сантехнических наук». — По кубатуре не потянут, трубы холодными останутся. Да и котлы эти по расходу электричества «золотые» будут.

— Хорошо бы сюда точно такой же новый котел поставить, — предложил предприниматель. — Тогда быстро заменить можно.

— Да он тысяч четыреста стоить будет, — сказал заместитель главы города.

— Где же столько денег взять?! — не выдержал я.

Нить дискуссии давно уже была мною потеряна. Все эти технические термины для меня, гуманитария, звучали как китайская грамота.

Все разом прекратили обсуждение и поглядели на меня, точно на аномалию, неизвестно откуда взявшуюся в их разговоре.

— Ну так что, мужики, делать будем? — спросил опять замглавы, словно не заметив моей реплики.

— А хрен его знает! — честно ответил руководитель управляющей компании и добавил пару сочных матерных вывертов. Потом достал сигарету и закурил.

Я понял, что «консилиум» плавно перешел в неформальное общение.

— Хорошо бы старый котел до тепла достоял, тогда бы я свой в долг поставил, — начал опять предприниматель, ковыряя ногой пол, будто пытаясь докопаться сквозь зольную пыль котельной до решения вопроса.

— Не достоин, — обреченно сказал угрюмый мастер теплосетей.

Еще минут пять помолчали, подумали.

— Давайте уже решать, мужики, — приказал Андрей Сергеевич.

— Нет, ну если электрокотлы подключить, переходники врезать, поменять арматуру и задвижки, тогда клапана...

От непонятных слов, запаха золь и неразрешимости ситуации у меня закружилась голова. Я отошел к выходу из котельной, где через полуприкрытую дверь снаружи пробивался чистый воздух. Стало легче.

Обсуждения между тем продолжались.

— Хватит уже киндеть. В третий раз спрашиваю: что делать?! — наконец не выдержал замглавы.

Все замолчали еще на пять минут.

Я с искренним интересом разглядывал лица этих простых русских мужиков, умом и трудом добившихся высокого положения в городе, и не мог понять: думают они или просто затихли в ожидании ответа, который должен возникнуть сам собой, как озарение.

Участники «консилиума» еще раз подошли к котлу, осмотрели его, покривились, похмыкали.

— Хорошо бы он до лета доработал, — сказал предприниматель.

— Течь-то не сильная еще. Может, и доработает, — поддержал руководитель «Жилкомуслуг».

Замглавы вопросительно посмотрел на мастера городских теплосетей.

— Черт его знает, — сказал тот. — Может, и дотянет, если резких перепадов погоды не будет.

— Короче, Семеныч, — обратился ко мне Андрей Сергеевич. — Ты сам все слышал. Течь маленькая, давай будем надеяться и молиться Богу, чтобы котел до мая достоял. Вариантов нет.

— Будем молиться, раз ничего другого не остается, — тяжело вздохнул я.

На том и порешили.

А через неделю котел потек как решето. Трубы в теплотрассе стали остывать.

Заместитель главы Андрей Сергеевич просыпается рано, на работе он часто уже с семи утра. Я позвонил ему и кратко обрисовал ситуацию.

— Ну что поделывать, Игорь, се ля ви! Прыгай в машину и дуй на котельный завод. Обещай, уговаривай, пиши гарантийные письма — проси новый котел у них в долг.

— Меня же пошлют!

— Не пошлют. Я позвоню директору, договорюсь.

— Андрей Сергеевич, а когда деньги получится отдать заводу? На какое число гарантийку писать?

— Семеныч, ну становись ты уже взрослым! Отдадим когда-нибудь. Пиши, что через неделю. Понял?

— Понял, — ответил я со вздохом.

Людей обманывать у меня плохо получалось. Я прямо испытывал физическое чувство боли, если приходилось врать. Но ничего не поделывать: надо спасти детский лагерь. Если остановится котел и разморозится вся теплотрасса — денег понадобится гораздо больше, а их, как всегда, в бюджете города нет и не предвидится. А значит, снимут с нашего предприятия, с самых незащищенных статей, и мы опять останемся без бензина, ремонта и многого другого, что нам так необходимо.

На котельном заводе меня уже ждали; подготовили контракты на приобретение новой печи. Андрей Сергеевич обо всем договорился, подключил нужных людей. Я, бегом прочитав договор, подписал его; отдал взамен гарантийное письмо. Потом за чашечкой кофе мы с директором дружески, как будто давно знали друг друга, поговорили о пустяках, и я спешно поехал в лагерь, в дороге отдавая распоряжения по телефону.

Новый котел высотой два с половиной метра и весом свыше тонны прибыл на место к обеду. Мы готовились к его приезду по-стахановски: чтобы машина с новой печью могла проехать, три часа разгребали подтаявший рыхлый снег у котельной, перекидывали навесные электрокабели, разбирали ворота. Потом бригада, приехавшая с завода, в течение нескольких часов демонтировала старый котел и устанавливала новый. Я, отвечая на бесконечные звонки вышестоящих, которых интересовал ход работ, помогал, чем мог, мужикам с котельного завода.

Работы закончились в полночь. От усталости все валялись с ног.

Первую топку нового котла мы произвели в начале первого ночи. Все замерли с надеждой. Никто не знал, удалось ли сохранить теплосеть. Если нет, тогда все усилия зря.

— Первый корпус — трубы теплые! — кричали истопник и сторож, проверяя теплотрассу.

«Уф, повезло!» — думал я.

— Второй — теплые!

— Медпункт — горячие!

«Слава богу!»

— Столовая... холодные!

Твою же мать!!!

Мы сделали обход всего теплопровода, ведущего к столовой. Трубы были ледяные, пальцы липли к железу.

— Все, Игорь Семенович, хана трассе — разморозили, — сказал с досадой истопник.

— Может, протопить посильнее? — предложил я.

— Да какой там! — махнул он рукой. — Пальцы липнут — значит, перемерзла труба. Лед в ней.

— И что теперь делать?

— Отсекать трассу будем, воду сливать, батареи снимать, а по теплу ремонтировать. Да вы не волнуйтесь, тепловики все сделают. Одну трубу потеряли, зато три другие спасли. Могли и все разморозить. Это хорошо, что котел вовремя привезли, жаль только, что в последний момент. Старый с утра уже остывать стал.

— Я ведь действительно Богу молился, чтобы котел до тепла достоял, — устало сказал я.

— На Бога надейся, да сам не плошай! — усмехнулся молодой парнишка сторож.

— Давно и, кстати, верно сказано, — поддержал истопник.

Домой я вернулся поздно ночью. Жена уже крепко спала. Я выпил горячего крепкого чая с коньяком и лег спать.

Сон мне снился беспокойный. События в нем менялись без логики, одно за другим. Я видел себя бесцельно бегущим по улицам нашего города. Вдруг в голове отчетливо прозвучал голос.

— Остановись! — приказал невидимый бог сна. — Успокойся и не беги!

Я послушно присел на трубу городской теплотрассы и посмотрел вдаль. Моему взгляду предстала неописуемая красота! Деревья, окутанные весенней дымкой зелени, румяный восход огромного солнца, пение утренних птиц в тающей предрассветной тишине... Я почувствовал, как в моей голове медленно исчезают мысли.

— Но ведь столько незаконченных дел и намеченных планов... — сказал я, из последних сил сопротивляясь манящему покою.

— Все, что задумал, — сделаешь без суеты, а что не сделаешь — значит, и не надо, — ответил голос.

И я с облегчением погрузился в красоту сна. Смысл жизни стал прост и понятен.

Я проснулся рано утром, и тут же резко зазвонил телефон. Я вздрогнул, посмотрел на часы и, обреченно вздохнув, ответил на вызов.

— Семеныч, встал уже? — бодро спросил Андрей Сергеевич.

— Встал, — соврал я.

— Давай приезжай к девяти в лагерь. Посмотрим, что там и почему. Лады?

— Хорошо, — сказал я и услышал гудки в трубке.

Сонная тишина безвозвратно утекала в воронку нового дня.

Константин ГОЛОДЯЕВ

## НАШ СТАРЫЙ ЦИРК

К праздничным мероприятиям пятидесятилетнего юбилея Новосибирского цирка не лишним будет вспомнить его историю, которая начинается в конце XIX века. Первые сведения о представлениях циркового балагана в Ново-Николаевске относятся к концу 1899 года. Артисты давали свои представления на больших ярмарках в незамысловатой палатке, которую ставили на Базарной площади (ныне пл. Ленина). А с 1904 года у нас начали строить стационарные каркасно-засыпные цирки<sup>1</sup>. Их открывали ранней весной, ближе к Масленице. Это были круглые деревянные шатры с ареной в центре, парой рядов кресел вокруг, а далее ложи, и уж потом скамейки и галерка. Причем в цирк было два входа: один к креслам и ложам, а второй, по уличной лестнице, сразу на галерку.

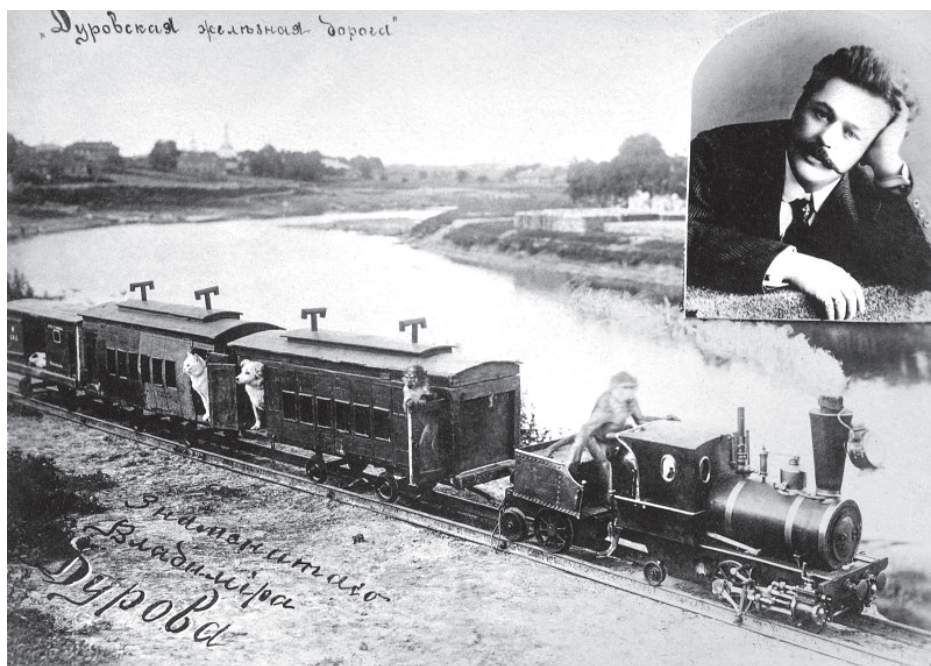
Все цирки были частными и назывались по именам хозяев — Коромыслова, Изако, Ефимова, Панкратова, Стрепетова, Злобина, Юпатова и других. Публика очень охотно посещала представления, и долгое время на Кабинетской



Арена старого цирка Новосибирска. 1960-е гг.

<sup>1</sup> Мельников Е. И. А в цирке широкие двери... Новосибирск, Сибирская горница, 2004. С. 25, 27.





**Афиша аттракциона «Дуровская железная дорога».  
В правом верхнем углу портрет Владимира Дурова. 1910-е гг.**

площади (также иногда называемой Конной) располагались сразу два цирковых шатра: Александра Коромыслова и Михаила Злобина — на углу улиц Кузнецкой и Алтайской (ныне Ленина и Урицкого) и на углу Алтайской и Барнаульской (ныне Щетинкина). В 1914 году популярности представлениям добавило и разрешение Городской думы открыть при цирке Коромыслова буфет пивоварни Роберта Крюгера.

Зимой 1909 года цирк Герони и Карякина анонсировал в городе удивительные номера: «состоится конкуренция гнуть и ломать железо». Сами хозяева также участвовали в выступлениях: Герони — как музыкальный эксцентрик, рыжий клоун, а Карякин — как борец «вне чемпионата».

В мае 1910 года семь представлений в городе дал знаменитый позднее «цирк зверей» Владимира Дурова. Исключительный номер его назывался «Железная дорога». В нем были заняты десятки разных животных, которые в афишах упоминались как «действующие морды». На манеже размещались «вокзал» и настоящий паровозик, клубящий паром. Бульдог выполнял роль начальника станции, козел в кассе продавал билеты. Пассажиры всех мастей — от пуделей до поросят — по ранжиру занимали вагоны первого, второго и третьего классов, а также грузовой. Гусь носил на шее чемоданы, обезьяна была машинистом состава и т. д. Дежурная по станции утка звонила в колокол, поезд трогался по манежу. На буфер последнего вагона ожидаемо заскакивал безбилетный заяц. Публика бушевала от восторга. При этом, комментируя трюки животных, Дуров сыпал довольно двусмысленными шутками в отношении существующих порядков. Например, во время разгрузки товарного вагона шла реплика: «Горшок земли — это крестьянам, веревка — это рабочим, рваные штаны с пустыми вывороченными карманами — это министерству финансов»<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Дмитриев Ю. А. Цирк в России. От истоков до 2000 года. М., РОССПЭН, 2004. С. 207—220, 307—314.



Этот аттракцион еще вернется в наш город — через шестьдесят восемь лет, когда правнучка дрессировщика, народная артистка СССР Тереза Дурова на своих гастролях с помощью местных железнодорожников восстановит знаменитую «Дуровскую железную дорогу».

Традиционны были силовые упражнения с гирями. А в феврале 1911 года в рекламе цирка Коромыслова мы видим комика-шута Яцуг-Гарри, наездника-сальтоморталиста Г. Стракая, музыкальных эксцентриков мадемуазель Августину и Лакендрочки. И — гвоздь программы — «смертный номер воздухоплавателя, человека-аэроплана Фреда де Цириля» — «сатанинский полет» в мешке вниз головой с высоты двадцати двух аршин в огненный бассейн. «Невиданно еще в Н.-Николаевске. Всюду фурор и успех»<sup>3</sup>. В антрактах — бесплатное катание детей на маленьких лошадках.

В центре манежа в опилках вырывали яму до метра глубиной, которая заполнялась водой. Далее начинался страх. Артист в черном траурном плаще, украшенном черепами, под звуки марша торжественно выходил на арену вместе со старым отцом. В абсолютной тишине сняв плащ, искреннее попрощавшись с отцом, смельчак по веревке поднимался на площадку под куполом. В зале висела тягостная тишина. В яму на поверхность воды выливался керосин. В зале гасили свет, старый Цириль поджигал керосин. Артист завязывает себе глаза. Барабанный стук переходит в непрерывную дробь. Публика замирает. И тут гимнаст бросается вниз, по пути делая в воздухе сальто. Разлетаются огненные брызги. Загорается свет, оркестр играет туш. Публика неистовствует.



**Фред де Цириль.**  
**Рисунок К. Багровой.**  
**«Советский цирк», 1960, № 2**

Через четыре месяца Федор Разумовский, выступавший под псевдонимом Фред де Цириль, при исполнении этого трюка в Омске разбился, упав не в яму, а спиной на ее край. Он повредил себе позвоночник и через несколько дней умер в больнице. В метрической книге Никольского Казачьего собора, хранящейся в областном омском архиве, значится: «1 июля 1911 г. умер и 4 июля погребен крестьянин Черниговской губернии Федор Харитонович Разумовский двадцати одного года от роду»<sup>4</sup>.

Огромную популярность на арене имели «мировые чемпионаты борьбы»: французской, турецкой, американской, японской. Это захватывающее, азартное зрелище, казалось, исходило из глубины народной культуры. «В цирке шашпито проводились представления артистов, среди которых своей силой и фигурой выделялись борцы. Для привлечения публики они переодевались в борцовскую одежду и с наградами на груди на разукрашенных тройках ездили по улицам Новониколаевска»<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Обский вестник, 1911, № 111, 18 февраля. С. 1.

<sup>4</sup> Журавок Т. Там, где умеют делать чудеса // «Красный путь» (Омск), 2016, № 6, 17 февраля. С. 17.

<sup>5</sup> Носов И. А. Физическая культура и спорт в Западной Сибири. Т. 1. (XVII в. по 1945 г.). Новосибирск, 2012. С. 35.

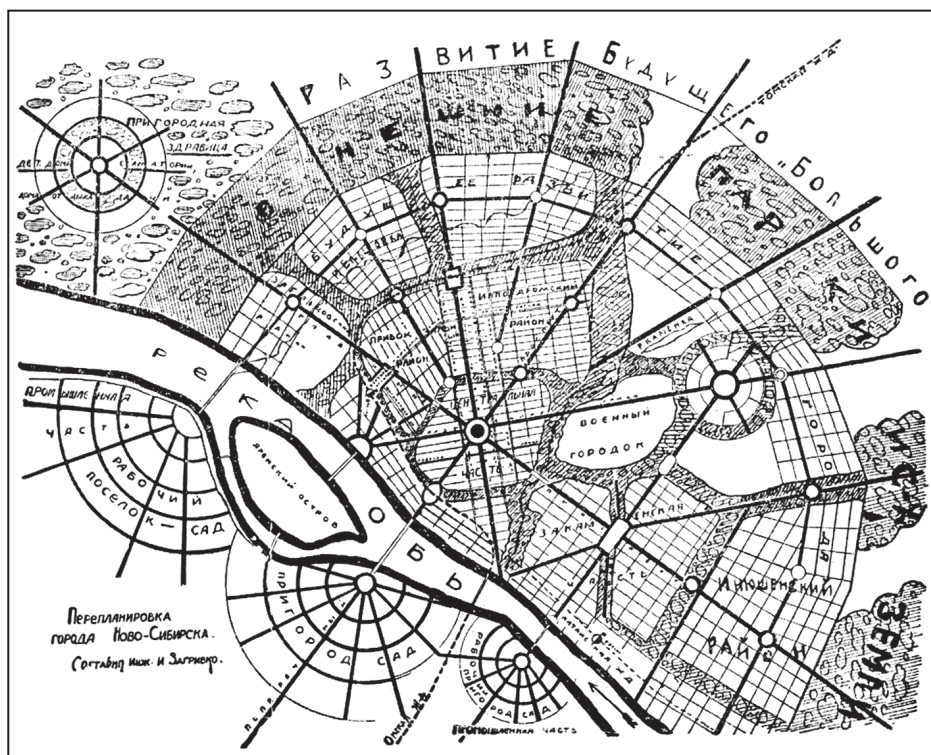
Псевдонимы и иностранные фамилии участников чемпионатов тоже притягивали зрителей: Черная маска, Кристофор, Шнейдер, Бадер. Схватки длились по двадцать — сорок минут, а также «бессрочно, до результата».

Практиковалась на арене и дамская борьба: «русско-швейцарская на поясах между атлеткой м-ли Арабелией и специально приехавшей Марией на премию 25 рублей победительнице. Срок борьбы 20 мин.»<sup>6</sup>.

В 1910-м в одной из сибирских газет мы встречаем рекламу цирка Эразма Стрепетова о схватке «между местным любителем, не желающим открыто бороться, а под Голубой маской, и цирковым борцом г. Ридель — Австрия»<sup>7</sup>. Лишь через шестьдесят лет публике откроется, что за смельчак скрывался под загадочной маской: Иван Иванович Загривко-Загреев, в то время студент строительного отде-



Иван Иванович  
Загривко-Загреев. 1902 г.



И. И. Загривко. Первый генеральный план Новосибирска. 1925 г.

<sup>6</sup> Обская жизнь, 1910, № 36, 14 февраля. С.1.

<sup>7</sup> Сибирская жизнь, 1910, № 26, 2 февраля. С. 1.

ления Томского технологического института (им запрещались публичные выступления). Борец еще станет профессором, генерал-лейтенантом инженерных войск и активно проживет 101 год. В Новосибирске он будет одним из авторов нескольких известных зданий: Дома Ленина, кинотеатра «Пролеткино» (ныне «Победа»), а в 1925-м разработает первый генеральный план Новосибирска — город-сад, такой же фантастическо-романтический, как и его голубая маска.

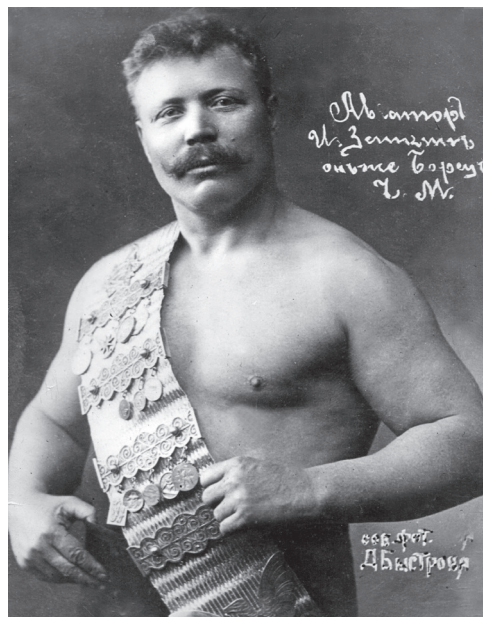
Билеты в цирк стоили недешево, но днем цены были уменьшены. К тому же практиковались различные акции — «1 ребенок бесплатно или 2 ребенка на 1 билет» (иногда такой вход предполагался и для дам) — и розыгрыши. Например, в 1908 году тот же Э. А. Стрепетов раздавал публике массу подарков: от денежных до лошади и коровы.

Во время войны, в 1915 году, в цирке Изако давалось патриотическое представление «из современной европейской войны “Подвиг Козьмы Крючкова”», казака, первым награжденного Георгиевским крестом. В 1916-м на Кабинетской площади решено было построить соборный храм во имя святителя и чудотворца Николая и в память Второй Отечественной войны (как у нас называли Первую мировую). Уже собирались средства, разрабатывался проект, но началась революция.

Теперь помещения цирковгодились для митингов и собраний. Оратор в центре, всем прекрасно видно. Но и цирк не собирался отступать. В 1919-м, в Гражданскую, в город приезжает «первоклассный русский цирк В. А. Камухина». Прима-балерина столичной сцены «Вера Кельцева (Григорас) исполнит прошедший, как на сцене, так и созданный для экрана, нашумевший своим сюжетом “Умирающий лебедь”». Аккомпанирует особый симфонический оркестр»<sup>8</sup>.

Кроме танцев, наездниц и клоунов в программе — международный чемпионат борьбы, в котором участвовали тогдашние знаменитости ковра: сибирский богатырь Д. Мартынов, волжский богатырь И. Заикин, А. Дмитриев, Г. Бауман, А. Кельцев.

Иван Михайлович Заикин также известен как один из первых авиаторов. Правда, случай вышел курьезный. Заразившись небом и окончив во Франции авиакурсы, в 1910 году он участвовал в показательных полетах. Однажды пригласил полететь с собою писателя Александра Куприна, с которым был знаком ранее. Но полет оказался неудачным: аэроплан упал, едва оторвавшись от земли, однако атлет и писатель не пострадали. Заикин бросил летать и снова пошел на борцовский ковер.



**Иван Михайлович Заикин.**  
Открытка, 1910-е гг.

<sup>8</sup> Военные ведомости, 1919, № 126, 9 мая. С. 2.



Так вот, гастролы цирка Камухина в Ново-Николаевске вернули карнавальную процессию артистов на улицы города. Но теперь она носила не рекламный, а благотворительный характер. Организатор и арбитр чемпионата борьбы Алексей Сергеевич Кельцев решил на День армии устроить костюмированное шествие для сбора пожертвований на ее нужды: «От имени местного комитета, обращаюсь с просьбой к членам артистических союзов и всем артистам г. Новониколаевска. Всех, кто может, прошу спешно известить меня о желании участвовать в кавалькадах, в сборах, предоставить оседланных верховых лошадей и т. п. для устройства гражданского кортежа, изображающего “Единую Нераздельную Русь”»<sup>9</sup>. Горожане услышали призыв. В шествии приняли участие члены «Международного Союза артистов цирка, члены Русского Театрального Общества, артисты театра “Гигант”, театра Махотина, цирка В. Д. Камухина, члены благотворительного общества и вообще сочувствующие граждане»<sup>10</sup>.

«Новониколаевцам удастся увидеть бесплатно небывалое народное шествие в городе. Сегодня весь народ, все граждане — на добрый, чистый воздух, на доброе дело».

Стройные ряды военных, сверкающие на солнце русские богатыри верхом, театральные костюмы, забавный грим. Маршрут шествия был длинным: от часовни вниз по Николаевскому проспекту, потом вверх до цирка, до Андреевской площади и обратно на Николаевский. По движению действие сопровождалось сборами, «съестными шалашами». Щедро сыплются пожертвования обывателей. «Праздничное настроение царит до позднего вечера и шумным каскадом рассыпается на концерте-кабаре в залах реального училища»<sup>11</sup>.

После окончания Гражданской войны площадь, где располагались цирки, была отдана под спортивную площадку Крайсовпрофа. В одном из них разместили первый спортклуб. Летом 1924 года на площади прошел большой Сибирский праздник физкультуры, в следующем году горсовет отдал спортсменам под строительство городского стадиона территорию бывшего воинского кладбища. Похоже на цирковой кульбит: тренировались спортсмены на месте храма в честь воинов, а перепрыгнули на их могилы.

Циркачи переместились в сад «Альгамбра». В 1924 году здесь ставится «буржуазно-животный» номер «Живой труп» — в «саркофаг» (ящик с песком) на двадцать минут закапывают живого человека, у которого ноздри и рот зат-



**И. М. Заикин держит на руках писателей А. Н. Будищева и А. И. Куприна (справа), позирующий слева не опознан. 1913 г.**

<sup>9</sup> Военные ведомости, 1919, № 121, 3 мая. С. 3.

<sup>10</sup> Военные ведомости, 1919, № 122, 4 мая. С. 4.

<sup>11</sup> Русская речь, 1919, № 91, 6 мая. С. 3.

кнуты ватой, а голова туго перевязана, — с «правильной» сатирой выступают музыкальные клоуны Виталий Лазаренко и Бим-Бом (Комарро и Кольпетти), показывают силовые номера знаменитые атлеты «Четыре Бахмана». Здесь же проходят соревнования борцов. Самым популярным был, конечно, Ян Цыган. Был и еще один безусловный фаворит сибиряков — Франк Гуд. «Чернокожий борец — особое событие для жителей сибирского города. Многие ходили в цирк специально для того, чтобы посмотреть на “настоящего” негра»<sup>12</sup>.

В 1926 году на бывшей площади по линии диагонально запроектированной улицы началось строительство Дворца труда для краевого совета профсоюзов. В середине октября того же года Сибкрайсовпроф уже праздновал новоселье. Сегодня о цирковом прошлом здесь не ничто напоминает. Не осталось ни одной фотографии, только газетные объявления.

### Цирк для членов профсоюзов

Но циркачи не сдавались. И хотя государственный цирковой трест (ЦУГЦ) был организован в стране еще в 1923-м, в Сибири цирки по-прежнему были частными. В 1927 году Владислав Константинович Янушевский (атлет и акробат Кадыр-Гулям) строит новое здание цирка на Андреевской площади (ныне им. Кондратюка), где ранее проходили конные торги. Официально строительство курировала Сибкрайдеткомиссия, уже содержащая такие заведения, как производственные мастерские, лото и казино. Цирк, рассчитанный на 2 000 зрителей, построенный по проекту художника-архитектора Носкова, называют амбициозно — «Палас».

Здание было сдано «в аренду одной из трупп, находящейся сейчас в Златоусте. Эта труппа будет работать в Новосибирске в течение шести месяцев, начиная с 1-го мая»<sup>13</sup>. Администратором был приглашен К. Кашинцев. Семнадцатого апреля стройка началась, а уже десятого мая цирк открылся. Через два дня газета «Советская Сибирь» дает красочный отчет об этом событии, после которого хочется стремглав бежать в цирк.

Представление начиналось в полдевятого вечера, но практически началось гораздо раньше, еще на площади. «Шпалерами выстроились мороженщики, папиросники, торговки семечками и прочими съестными припасами. Все это сгучилось, сгрудилось, создавая впечатление тесноты, переполнения. Люди с воодушевлением терлись в этом импровизированном торговом ряду с полудня. <...> Кричали милиционеры. Хрипел контроль, надрывался администратор... <...> Люди непрерывной лентой начали наполнять круглое деревянное здание. Загремел оркестр...»<sup>14</sup> Известно, что в первой программе были атлеты Андрошур, жонглер Базиль, джигитовка Туганова и полеты без сетки гимнастки Морозовой. Номера критику «Гр.» понравились, а вот работа клоуна Вилли — нет.

В этом же репортаже приводится замечательный тезис, который хочется вынести в эпиграф: «Цирк без толпы — не цирк. Толпа — это, так сказать, декорация цирка. Театр может быть наполовину пустым. Когда в театре тушат огни, каждый зритель уходит в себя. Каждый начинает переживать по-своему. В цирке должен гореть яркий свет. В цирке должно быть полно». Эта толпа пе-

<sup>12</sup> Мельников Е. И. Цит. соч. С. 20.

<sup>13</sup> Советская Сибирь, 1927, № 89, 19 апреля. С. 4.

<sup>14</sup> Советская Сибирь, 1927, № 106, 12 мая. С. 4.

ред входом в цирк кое-кого ударила по карманам. А у одного командира умельцы даже ухитрились срезать кобуру вместе с наганом<sup>15</sup>.

Да и не все попадали в цирк чинно-благородно, через двери. Для мальчишек это вообще было не по-пацански.

*Борис Петрович Вяткин, народный артист РСФСР:* «Летом 1926 года мы перебрались в Новосибирск. Первый город в моей жизни. Все в нем было новое и необыкновенно интересное. Но самым интересным показалась мне наклеенная на тумбе огромная цирковая афиша. Увидев ее, я со всех ног пустился на поиски цирка. В центре города стояло круглое деревянное сооружение с высоким куполом. Рядом сбитые из фанеры, почти игрушечные будочки. Я быстро попытался заглянуть в главную дверь цирка, но усатый дядька в толстовке прогнал меня. Выход оставался только один: забраться на крышу и в маленькое окошечко посмотреть, что же все-таки там внутри. Я сгорал от любопытства, и оно оказалось сильнее страха сорваться с крыши. Через несколько минут я был в цирке. Точнее, не я целиком, а только моя голова с кепкой. Окно было маленьким, предназначалось для вентиляции, и плечи в него не пролезли. <...> Прошло с того дня сорок семь лет, а я до сих пор помню почти всю программу. Мне понравились очень смешные буффонадные клоуны (Жак и Мориц (Д. П. Демаш и Г. Э. Мозель). — К. Г.). Удивил меня чревовещатель Бавицкий, который разговаривал со своим «партнером» — куклой Андриюшей. Каждое слово их комического диалога вызывало раскаты смеха. Восхитили дрессированные лошади замечательного русского артиста Ивана Абрамовича Лерри, воздушные гимнасты Мария и Александр Ширай, работавшие на жестких качелях. <...> Я решил, что непременно стану акробатом!»<sup>16</sup>

*Вадим Петрович Черкасов, охотовед, директор зоокомбината:* «Мы проникали в цирк либо по пожарной лестнице, либо выпрашивали контрамарки. Артисты цирка иногда сами давали нам контрамарки. Хочешь работать — приходишь в цирк, просишь у артистов работу. В основном за лошадьми ухаживали, потом они расплачивались контрамарками. Артисты цирка по приезду в Новосибирск снимали квартиры на улице Нерчинской. Запомнил первого русского укротителя тигров — Гладильщиков его фамилия, у него был тигр Тимур. Все ребятишки сбегались посмотреть на этого тигра»<sup>17</sup>.

*Любовь Доминьяновна Малюшко, старший научный сотрудник Института геологии:* «Туда с нашего двора женщина пропускала — билетерша. И вот когда все усядутся, она нам, значит, приоткрывала, и мы, как мышки, туда пробирались и сидели, смотрели выступления. Мы все спектакли знали, знали все представления, как зовут по именам. Это у нас было наслаждение. <...> Самые интересные были борцы, такие большие дяди, которых можно было на войне использовать, а они только борьбой занимались»<sup>18</sup>.

*Гелий Михайлович Бастраков:* «Ходили бесплатно: пролазили под покрытие, поднимались по стойкам, вылезали на последней. Как правило, мы ходили на борьбу. Тогда борьба была в моде. Там, конечно, проигрывали и выигрывали по заданию, но мы верили, потому что все было сделано очень искусно. Интерес был очень большой. Там были и другие интересные представления. Был очень хороший клоун, приезжал постоянно, но помню, что его посадили... За что?»

<sup>15</sup> Там же.

<sup>16</sup> Вяткин Б. П. Жизнь клоуна. Л., Искусство, 1975. С. 9, 10.

<sup>17</sup> Биографический фонд Музея Новосибирска.

<sup>18</sup> Там же.

Потому что он такую шутку сказал: «Весь Новосибирск сидит на одной картошке!» Якобы его за это посадили»<sup>19</sup>.

Также проникали в цирк в самом конце представления, после ухода билетерши: «К этому времени все номера заканчивались и оставался только заключительный номер — дрессированные животные, но мы и этому были страшно рады»<sup>20</sup>.

«Советская Сибирь» анонсировала скорый приезд чемпионата борцов, известных шутов народной сатиры, клоунов Тома и Сержа, Пата и Паташона, гастролы дрессировщика зверей Анатолия Дурова с шестью вагонами зверей и двадцатью пятью лошадьми. Удивительно, но программа в цирке менялась чуть ли не каждый день. В Новосибирск устремились все — велофигуристы Каминские, жонглер Стефани, братья Головины (номер «4 черта»), музыкальные сатирики Рим и Ром (Райский и Ковальский), акробаты «Бено 7» и т. д. Кино пришлось подвинуться.

Но дела в «Палласе» не задались. Уже пятого июля краевой отдел союза работников искусства санкционировал забастовку сотрудников «Палласа», которая продолжалась больше недели. «Он старый, прожженный антрепренер. В последнее время Янушевский задолжался несколькими цирковым труппам», — писала Советская Сибирь<sup>21</sup>. Дело получило резонанс по стране. Всесоюзный журнал «Рабис» сообщил: «Директор цирка антрепренер Янушевский не имеет возможности расплатиться со служащими. К организации дела Янушевский приступил без копейки денег, с большими долгами по зарплате в других городах. Всего Янушевский должен около 5 000 рублей. <...> За нарушение договора и невыплату зарплаты Янушевский союзом привлекается к судебной ответственности, дело, нужно полагать, будет рассмотрено в самом срочном порядке». Это было уже второе уголовное дело на директора цирка. До этого он также привлекался «за нарушение договора»<sup>22</sup>.

Одиннадцатого июля В. К. Янушевский был арестован. В вину было поставлено то, что директор «принимал на службу не членов союза и не подчинялся требованиям месткома, который настаивал, чтобы не члены союза были сняты с работы. Особая трудовая сессия приговорила Янушевского к лишению свободы на один месяц»<sup>23</sup>. Великая сила профсоюза! «Особая трудовая сессия...»

Но цирк продолжал жить. Его филигранно «отжала» Сибдеткомиссия, и теперь он назывался «1-й Сибирский Госцирк». А двадцать шестого июля в Госцирке во время исполнения номера «Обрыв», «рассчитанного на щекотание нервов... сорвался с трапеции полетчик Дмитрий Семенов. Он упал с 4-саженной высоты спиной на барьер. К счастью, по заключению врачей, Семенов отделался только растяжением спинных связок»<sup>24</sup>.

Пятого октября Госцирк закрыл сезон, а первого февраля 1928 года здание цирка продали Сибгостеатру. Теперь цирковые программы стали разножанровыми — они включали и выступления артистов театра, балетной студии, эстрады, здание стало площадкой для кинопоказов, вечеров духовой музыки, спектаклей оперетты.

<sup>19</sup> Там же.

<sup>20</sup> Там же.

<sup>21</sup> Советская Сибирь, 1927, № 152, 7 июля. С. 4.

<sup>22</sup> Рабис, 1927, № 29, 2 августа. С. 12.

<sup>23</sup> Советская Сибирь, 1927, № 174, 2 августа. С. 4.

<sup>24</sup> Советская Сибирь, 1927, № 170, 28 июля. С. 4.





Здание Госцирка на Андреевской площади. 1930-е гг.

Журналисты бойко писали об ущербности тогдашнего циркового искусства, приравнивая его артистов «к средневековым площадным комедиантам». Не нравилось влияние на советский цирк «заграницы», костюмы гимнастов с изображением черепа со скрещенными костями. «Не пугайте, товарищи, зрителя. Он приходит в цирк смеяться и радоваться. Меньше дешевых ужасов, больше жизнерадостности»<sup>25</sup>.

Но все равно цирк оставался цирком — на манеже настроением заведовали клоуны, в антракте ребяташки по-прежнему могли прокатиться на цирковых лошадаках.

*Раиса Александровна Бриллиантова, школьный учитель:* «А на площади Кондратюка (тогда Андреевской) стоял деревянный цирк, построенный в 1927 году. Там горели яркие огни, гремела музыка, там было весело и интересно. Мы знали некоторых работников и артистов цирка, выступавших неизменно под звучными иностранными именами, потому что хозяева нашей усадьбы нередко сдавали им комнаты»<sup>26</sup>.

*Зоя Федоровна Булгакова, актриса, заслуженная артистка РСФСР:* «Сначала у меня была мечта стать цирковой артисткой. Я очень любила лошадей, считаю, что это самое лучшее животное — благородное, умное. Наверное, потому, что папа содержал лошадь, а у лошади был жеребенок, с которым я играла. Когда я пришла в цирк и увидела наездницу, то у меня сразу возникла мысль: «О, я тоже хочу быть наездницей». <...> Все лето с циркачами я ездила по деревням, занималась гимнастикой и жонглировала тремя шарами. Это был 1932 год»<sup>27</sup>.

<sup>25</sup> Кузменкина Л. А. «Там горели яркие огни». В 1927 году открылся большой стационарный цирк // Вечерний Новосибирск, 2007, № 82, 5 мая. С. 7.

<sup>26</sup> Бриллиантова Р. А. Два тополя на Советской // Мой Новосибирск. Книга воспоминаний. Новосибирск, Детская литература, 1999. С. 94.

<sup>27</sup> Биографический фонд Музея Новосибирска.

В 1931-м — новая реорганизация. Совнарком республики ликвидирует хозрасчетный ЦУГЦ (управление госцирков) и учреждает ГОМЭЦ (Государственное объединение музыки, эстрады и цирка). Тридцатого сентября 1936 года цирк закрыл сезон. Р. А. Бриллиантова пишет, что его деревянное здание просто сгорело.

Но цирк должен жить, и на смену деревянному цирку приходит шапито. Его установили за клубом Сталина (ныне ДК Революции) на месте засыпаемого Михайловского лога, по которому сегодня проходит проспект Димитрова. На площадке диаметром в тридцать два метра было собрано здание высотой в восемнадцать метров, состоящее из деревянных и брезентовых конструкций, изготовленных на заводах Кинешмы.

Первого июня 1937 года новый цирк, рассчитанный на 1 800 зрителей, был открыт большим представлением на три отделения. Дети до пятнадцати лет на вечерние сеансы не допускались. Уже восьмого июня состоялись гастроли «Китайского народного аттракциона» Сун Ю Сана. Потом были Тарасовы — канатоходцы под куполом, акробаты Альди (Пчельников и Серебряков), турнисты Круффи, воздушная гимнастка Пашина, жонглер Махлин, комик и дрессировщик Золло и многие другие.

Новый цирк критике нравился: «Молодые кадры советских артистов цирка создают новые прекрасные жанры». Особенно был выделен номер с собаками-футболистами дрессировщика Карро. Они участвовали в сценах популярного кинофильма «Цирк» и восторженно узнавались новосибирской публикой. Также запомнилась труппа с названием «25 океанос», все артисты которой выступали одновременно в разных жанрах. Номер на подкидных досках велся «одновременно на пяти двусторонних трамплинах. С математической точностью рассчитаны все движения. В воздухе беспрерывно мелькают гибкие тела, и кажется, что у людей этих, чувствующих себя в воздухе так же твердо, как и на земле, за спиной невидимые крылья»<sup>28</sup>.

Цирк шапито работал до тридцатого сентября и вновь открылся двадцать второго мая 1938-го. В первой программе «Привет зрителю» принимали участие не только артисты и большой джаз-оркестр под управлением А. В. Зурова, но и студенты недавно созданного техникума физкультуры.

### «Сибирь боевая»

Работал цирк и все военные годы. Двадцать второго июня 1941-го заканчивалась программа: два представления, матчи французской борьбы, со следующего дня планировалась ее «полная перемена». На тринадцатое июля планировался первый тур Всесоюзного смотра цирковой художественной самодеятельности. Вечером двадцать второго июня цирк двери не открыл. Но уже через день афиша цирка с продолжением матчей французской борьбы вновь появляется в газете. Первого июля под купол новосибирского цирка взлетели гимнасты Судаковы, начались цирковые представления. Правительство понимало, что населению необходима эмоциональная отдушина, снятие нервного напряжения. Поэтому все театры, кино, цирк продолжили свою работу, хотя, конечно, кардинально изменили репертуар на патриотический.

«Сегодня клоун должен выполнять миссию своеобразного циркового агитатора. Таким агитатором был в свое время Виталий Лазаренко. Это был талант-

<sup>28</sup> Советская Сибирь, 1937, № 179, 5 августа. С. 4.



Цирк шапито на Михайловском логу. Рисунок В. Касаткина, 1943 г.

ливый и притом образованный человек. Он видел, что делалось в его стране в тот день, когда он выходил на арену цирка»<sup>29</sup>.

Артисты не только работали на манеже, но и были частыми гостями в госпиталях, воинских частях, проводили специальные представления с отчислением выручки в Фонд обороны, выступали во фронтовых бригадах. Директор цирка Г. Бунин «внес на строительство боевых машин 1 900 рублей наличными и 4 000 рублей облигациями госзаймов, вызвав последовать его примеру всех директоров зрелищных предприятий»<sup>30</sup>.

В 1943-м специально была написана пролог-интермедия «Сибирь боевая», включающая и дрессированных леопардов Александрова, и коврового комика Боровикова, и соревнования снайперов-виртуозов — Ринглера и Александрова, которые «покажут приемы мастерской стрельбы в цель». Двадцать второго июля, шестнадцатого и двадцать третьего сентября 1944-го цирк провел «большое представление-концерт в фонд помощи семьям фронтовиков».

Мельников Евгений Иванович, журналист: «Тогда, по старой цирковой традиции, представление состояло из трех отделений, разделенных двумя антрактами. Шпрехшталмейстером — сейчас их именуют инспекторами манежа — был представительный, чернофрачный Сим Ильич Розенталь. А клоуном моего детства был Георгий Карантонис. <...> Когда заканчивался первый антракт, третий звонок собирал зрителей, луч прожектора высвечивал оркестр и тогдашний дирижер оркестра Георгий Габескерия (нынешний руководитель эстрадного оркестра Грузии, народный артист Грузии) с непривычным акцентом, единым, бесконечным, щемящим речитативом не пел, а как бы проговаривал: “Сердцем воина хранимая, скоро ночь кончается. Засыпай, моя любимая. Пусть мечты сбываются!”»<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Советская Сибирь, 1942, № 154, 3 июля. С. 4.

<sup>30</sup> Советская Сибирь, 1943, № 26, 2 февраля. С. 1.

<sup>31</sup> Мельников Е. И. Цит. соч. С. 17.

Труппы, потерявшие свои базовые цирки на оккупированных территориях, активно работали в Сибири. Гастроли длились по несколько месяцев. В Новосибирске работали мастера советского цирка — дрессировщики-орденоносцы Владимир и Тереза Дуровы, дрессировщики Александр и Эмиль Кио с «Иллюзионным ревью», иллюзионистка Софья Марчесс, старейший клоун Лео Танти. «Интересен музыкальный фельетон “Живоглот-театр” — о гитлеровских врагах и их незадачливых союзниках — румынах. Задорно поет Танти сатирические антифашистские куплеты на мотив известной песенки Д’Артаньяна из американской кинокомедии “Три мушкетера”»<sup>32</sup>: «Вар-вар-вар-вара, мечта моя Париж...»

*Тереза Васильевна Дурова:* «После фронтовых бригад мы добирались на каких-то машинах до Новосибирска. Дядя Вова и папа с животными уже были здесь. Мы появились в Новосибирске. В этом шапито. Все жили мы на частных квартирах, никаких гостиниц не было. В это время здесь был в эвакуации Ленинградский театр драмы. Выступали они в нашем театре “Красный факел”. И мы со всеми артистами встречались в столовой. Каждый ходил с баночками, с судочками, кастрюлочками. Вот я сейчас вспоминаю эту очередь. Кто в ней был! Я впервые увидела Черкасова, Симонова... Золотая очередь! Это такие стояли актеры! Можно было с ума сойти! В то же время такие же знаменитые цирковые актеры стояли. И драматические. Это был цвет искусства. Голодали страшно, тяжело было ужасно, жутко было тяжело. <...> Тяжело было, но прекрасно. Дружная семья была. Не давали друг другу умереть, делились куском хлеба. Сидели допоздна в цирке, не уходили. Кто-то что-то готовит. Можно поесть. Наварим картошки — такое целое ведро. Это было так вкусно. Я очень часто вспоминаю это время, Новосибирск, оно мне безумно нравится»<sup>33</sup>.

В 1944-м новосибирский цирк возглавил Даниил Кириллович Бабин. Вернувшийся после ранения, он не только стал «папой» для действующего цирка до 1976 года, но и добивался строительства нового, зимнего здания цирка, строил гостиницу работников цирка (Сибирская, 58).

В годы войны в Новосибирске выступал музыкально-эксцентрический ансамбль лилипутов под руководством М. С. Качуринера, в летнем театре сада Сталина и в здании театра «Красный факел» — Ленинградский цирк на сцене (называемый также фронтовым). Более того, новосибирский цирк стал выходить за пределы города. В 1943-м у нас стали формироваться колхозно-совхозные цирковые бригады, куда приглашали молодых артистов всех жанров.

Это направление в 1950-м переродилось в дирекцию «Цирк на сцене», специально предназначенную для обслуживания сельского населения. Руководство организации в Новосибирске размещалось в дореволюционном доме на улице Советской, 11. Но не только сельскому зрителю посвящали свои выступления артисты. Они работали и на заводах, и на строительных площадках. Например, сохранилась видеозапись, как летом 1956 года цирк давал представление на строительстве Новосибирской гидроэлектростанции. Воздушная гимнастка без страховки выступала на стреле подъемного крана.

В 1950-х шатры шапито устанавливались и в других районах города, например на базарной площади Левобережья (ныне там дом по Котовского, 41). Популярен был и знаменитый аттракцион «Гонки по вертикальной стене». Для него тоже строился деревянный цилиндр с небольшим куполом. Зрители по

<sup>32</sup> Советская Сибирь, 1944, № 132, 2 июля. С. 2.

<sup>33</sup> Мельников Е. И. Цит. соч. С. 15—17.

внешней лестнице поднимались на верхний балкон-кольцо, а под ними по внутренней стене этого цилиндра исполняли различные трюки один или несколько мотоциклистов с ассистентами-акробатами. Для мальчишек это было чрезвычайно интересно.

### Снежная фантазия

Наверное, не будет большим преувеличением сказать, что в Новосибирске отметились все ведущие артисты цирка страны. К тому же наш манеж был одним из последних, практикующих популярные чемпионаты французской борьбы.

В 1949-м закрытие сезона было двадцать первого сентября. В то время у нас гастролировал московский цирк и комик Карандаш (Михаил Румянцев). Это было нечто и для зрителей, и для артистов. Малоизвестный тогда Никулин был только в начале своего артистического пути.

*Юрий Владимирович Никулин:* «С Дальнего Востока опять на транспортном самолете мы вылетели в Новосибирск. Летели долго и с приключениями. Сначала не выпускалось шасси у самолета. Мы сделали десять кругов над аэродромом, и только тогда шасси сработало. А тут выяснилось, что на аэродроме авария — нет света, и нас в темноте посадить не могут. Мы все заволновались. Через несколько часов премьеры (Михаил Николаевич вылетел на день раньше и провел полную репетицию с осветителями, униформистами, оркестром), а мы в воздухе. Из безвыходного положения нас выручил Карандаш, приехавший на аэродром встречать самолет. После консультации с начальником аэродрома он собрал все такси и автомашины, стоявшие около аэропорта, и выстроил их с включенными фарами вдоль посадочной полосы. После дополнительных шести кругов над аэродромом нашему самолету разрешили совершить посадку. Никто из шоферов денег от Михаила Николаевича не взял, но все они получили право приобрести вне очереди билеты в цирк. Премьера в Новосибирске началась без опоздания. Как и во всех городах, здесь нам сопутствовал успех»<sup>34</sup>.

Заключительное новосибирское представление под снегом стало уже хрестоматийным.

*Юрий Владимирович Никулин:* «Закончили мы гастролы необычно. Накануне последнего дня работы ночью разразилась страшнейшая буря. Шквальный ветер разнес купол шапито в клочья. Приходим утром в цирк и видим — он без крыши. Слоем снега покрыты манеж, скамейки для зрителей. Утром дирекция объявила по городскому радио, что заключительный спектакль с участием Карандаша отменяется и билеты подлежат возврату. Мы только начали упаковывать багаж, как к Михаилу Николаевичу прибежал директор. Он умолял его выступить, потому что публика, требуя представления, отказывается сдавать билеты, купленные месяц назад. Карандаш согласился. Цирк без крыши. Шел хлопьями снег. Публика сидела в полушубках и валенках. В паузах выходил Карандаш... В этих условиях каждый номер встречался на “ура”. Когда выступала М. Шадрина — “Человек — счетная машина” (она стояла посередине манежа в открытом платье), с первого ряда поднялась старушка, перелезла через барьер манежа, подошла к артистке и набросила на ее плечи пуховый платок. Публика зааплодировала. Спектакль мы (с Михаилом Шуйдиным. — К. Г.) должны

<sup>34</sup> Никулин Ю. В. Почти серьезно... М., Искусство, 1987. С. 261, 262.

были заканчивать клоунадой “Лейка”. (В этой клоунаде мы обливаемся водой.)  
 В антракте как бы в пространство я сказал с тоской:

— А может быть, не будем давать “Лейку”?

— Не надо обижать зрителя, — ответил Карандаш. — Будем работать как всегда.

И мы обливались водой. Правда, перед началом клоунады по настоянию Карандаша мы выпили по сто граммов водки, чтобы не простудиться»<sup>35</sup>.

Выйдя на манеж под падающий снег, великий Карандаш своим неповторимым голосом мечтательно произнес: «Снежная фантазия!»

*Сергей Вахрушев, журналист:* «Тогда попасть на представление оказалось нелегко. В кассах билеты были распроданы далеко наперед. После недолгих размышлений отправился в цирковую гостиницу и там узнал номер телефона, по которому можно связаться с клоунами. Звоню. Трубку поднял Юрий Никулин. Я представился, в ходе разговора упомянул: “Юрий Владимирович, у меня собрана серия анекдотов о вас. Хотелось бы подарить”. В ответ услышал шутовское приглашение: “Немедленно следуйте ко мне в гостиницу со своими анекдотами. Жду”. Я так и поступил. Через полчаса был в гостинице цирка. Вручил блокнот с записями и сказал: “Это вам от новосибирского военного журналиста”»<sup>36</sup>. Но это будет позже, спустя тридцать лет.

Также остался в памяти зрителей аттракцион армянского дрессировщика Степана Исаакяна «Храбрый Назар», проходивший летом 1959 года. Сибиряки увидели сказочных экзотичных животных: бегемотов, зебр, крокодилов, павлинов.

Простите за следующие длинные, сладостно-тягучие цитаты о нашем городе. «Вечерняя прохлада спускается на город. Цветочный аромат течет от садов и скверов. Но толпе людей, стоящей на углу проспекта Сталина и улицы Ленина, не до красот вечера. Попробуйте пройти мимо, и вас тотчас атакуют: “Лишнего билета нет?” У всех одно желание: попасть на представление армянского циркового коллектива. У окошечка кассы табличка: “На сегодня все билеты проданы”. Администраторскую осаждают, как крепость. А ведь все лето в городе играл театр оперетты! И Новосибирский драматический театр “Красный факел” закрыл сезон только в середине августа! И все-таки цирк каждый день переполнен! Невольно вспомнилась ставшая уже стереотипной фраза, с которой начинается почти каждая статья о цирке: “Цирковое искусство любимо народом”. В статьях фраза эта выглядит привычно. А в сутолоке у входа в Новосибирский цирк ее глубокий правдивый смысл вдруг вновь стал зримо ощутим. Предоставим другим решать спорный вопрос о том, права ли дирекция Новосибирского цирка, продающая билеты за полмесяца вперед. Вряд ли стоит посвящать читателя и в наши “хождения по мукам” в поисках билета»<sup>37</sup>.

«Гаснет свет, лучи юпитеров играют на синем шелке кругового занавеса, скрывающего манеж от зрительного зала. С первыми тактами музыкального вступления синий занавес начинает медленно подниматься, открывая вид на манеж сквозь дымку тюля, на котором нарисован тропический пейзаж. Этот пейзаж как бы продолжает оазис на манеже. Бассейн с водой, пальмы, живые попугаи на их ветвях; оранжевая земля, имитирующая горячий песок; расха-

<sup>35</sup> Там же.

<sup>36</sup> Арсеньев. А. Новосибирскому цирку 50 лет. Как согревали водкой Юрия Никулина // Все новости Новосибирской области. Электронный ресурс. URL: <https://vn.ru/news-novosibirskomu-tsirku-50-let-kak-sogrevalsya-yuriy-nikulin> (дата обращения: 15.02.2021).

<sup>37</sup> Фролова Н. В Новосибирске // Советский цирк, 1959, № 11. С. 10.

живающие по этой земле венценосные журавли и длинноногие аисты — все это создает заманчивый фон будущего зрелища, настраивает на хороший лад. В тени камней — “храбрый” Назар, герой народных сказок Армении. Согретый лучами солнца, Назар (эту роль исполняет С. Исаакян) просыпается, потягивается, готовит завтрак, но его воруют журавли. Он садится удить рыбу — на крючок попадает крокодил. Хочет закурить, но подбегает антилопа и выхватывает папиросу у него изо рта. Назар хочет сесть на холм, но холм... уплывает из-под него. Еще одна попытка — холм земли (позже выясняется, что это бегемот) снова удаляется в сторону. Скажу сразу, что этот момент в аттракционе — высший класс дрессировки, лучшее достижение в аттракционе Исаакяна. Бегемот, накрытый попоной, не видя дрессировщика, великолепно выполняет заданную ему задачу»<sup>38</sup>.

«Исаакян ласков и мягок в обращении с четвероногими артистами; он как будто представляет зрителям своих друзей. И зрители запоминают каждое животное, делаются поклонниками его “галантов”»<sup>39</sup>. Журналисту газеты «Советская Сибирь» дрессировщик говорит: «Вот мои друзья. Видите, какие послушные, смиренные, а сколько пришлось повозиться, чтобы подчинить зверей и птиц воле человека»<sup>40</sup>.

Тогда же у нас впервые с сольным выступлением появился на манеже двадцатичетырехлетний «грустный клоун», будущий народный артист Армянской ССР, легендарный Леонид Енгибаров.

Неоднократно приезжали к нам в шапито и зарубежные гастролеры, в частности китайские друзья. Особенно в искусстве «братского народа» сибиряков восхищали разнообразные номера акробатов и гимнастов. Автор успел посетить в детстве новосибирское шапито и увидел в нем знаменитого комика Олега Попова. Запомнился цирковой запах, которым было пропитано все: брезентовый шатер, деревянные скамьи, сам окружающий воздух. Это было ощущение сказки, зазеркалья.

Вопрос о необходимости строительства в городе большого каменного циркового здания встал на заседании Новосибирского городского совета еще в июле 1930 года. «Опрос, проведенный на предприятиях, показал, что большинство рабочих Новосибирска считает наиболее целесообразным строить цирк за домом бывшего Промбанка, на центральном базаре (ныне двор за мэрией Новосибирска. — К. Г.). Так проектировало и управление зрелищными предприятиями».

Но из-за начавшегося рядом строительства ДНЦ (театра оперы и балета) было предложено место существующего цирка на Андреевской площади, однако там уже была запланирована школьная площадка. Тогда место городского стадиона — тоже не принято. И вновь остановились на Андреевской площади — «места для детской площадки цирк не отнимет»<sup>41</sup>.

В 1937-м вопрос постройки «зимнего» здания снова ставился перед отделом по делам искусств. После окончания войны, в 1945-м, объявлено, что «цирк “Шапито” работает последний сезон. Осенью на его месте начнется постройка постоянного цирка. Будет возведен деревянный купол высотой в 17 метров, оборудованы добавочные кольцевые фойе и подсобные помещения»<sup>42</sup>. Наконец в 1958 году был утвержден новый проект стационарного

<sup>38</sup> Чепурин Ю. Солнце Еревана, цветы Еревана // Советский цирк, 1961, № 6. С. 15, 17.

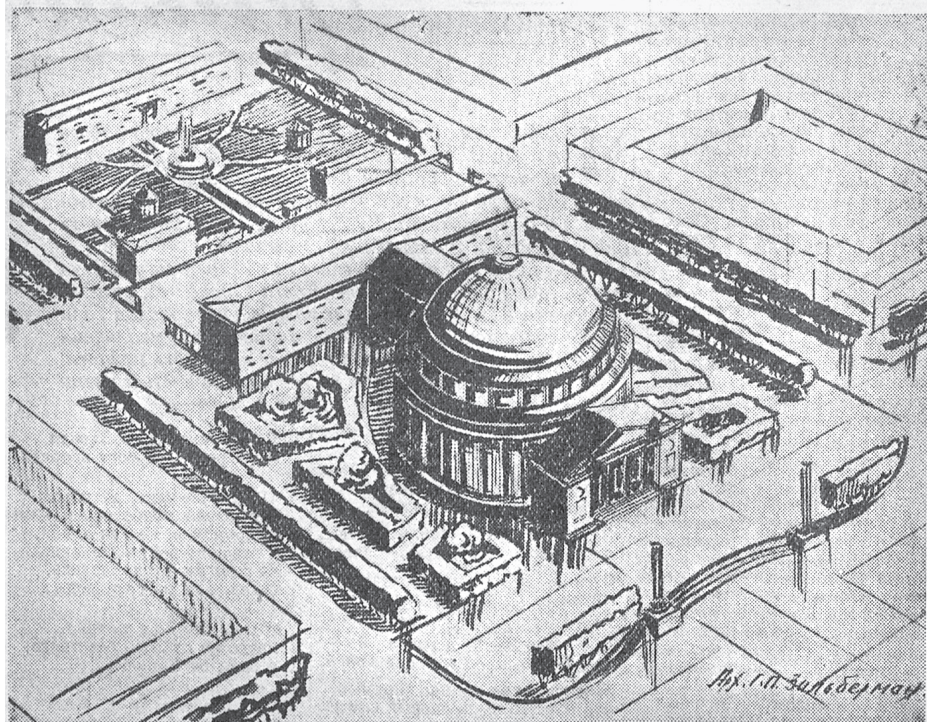
<sup>39</sup> Фролова Н. В Новосибирске // Советский цирк, 1959, № 11. С. 10.

<sup>40</sup> Советская Сибирь, 1959, № 193, 16 августа. С. 4.

<sup>41</sup> Советская Сибирь, 1930, № 169, 24 июля. С. 4.

<sup>42</sup> Советская Сибирь. 1945, № 102, 26 мая. С. 1.

# Таким будет наш цирк



Проект стационарного цирка на Андреевской площади. 1958 г.

цирка — и вновь на Андреевской площади, на месте цирка «Паллас». Проект архитектора Г. П. Зильбермана был похож на здание нашего оперного театра и предусматривал зрительный зал на 2000 мест с безопорным куполом, широкое предманежное пространство для текущего реквизита и разминки артистов и т. д. За зданием была запроектирована четырехэтажная цирковая гостиница на 118 мест со сквером, цветниками, беседками и фонтаном. «Пройдет не так много времени, и горожане получат еще одно место отдыха — круглогодично работающий цирк»<sup>43</sup>.

И гостиницу, действительно, построили, но к строительству самого цирка приступили лишь спустя семь лет и в другом месте. Помимо Андреевской, вариантов расположения было несколько: на площади Маркса в Кировском районе, на месте нынешнего ДК «Строитель» в Березовой роще, на месте Дома быта по Красному проспекту<sup>44</sup>. Но в конце концов остановились на краю Туруханской рощи, на пересечении улиц Нарымской и Челюскинцев. В сентябре 1964-го было принято решение включить «в план 1965 года строительство зимнего цирка в г. Новосибирске на 2094 места сметной стоимостью 1 332 тыс. рубл.»<sup>45</sup>. Завершить строительство планировалось в 1967 году, потом срок перенесли на декабрь 1969-го<sup>46</sup>.

Это должно было быть здание с самым большим в городе зрительным залом. Первый в стране цирк такого рода. «Сложное по объемно-планировочному

<sup>43</sup> Шаевич Л. Таким будет наш цирк // Вечерний Новосибирск, 1958, № 100, 27 июня. С. 4.

<sup>44</sup> Мельников Е. И. Цит. соч. С. 36.

<sup>45</sup> Новосибирский городской архив (НГА). Ф. 33. Оп. 1. Д. 1822. Л. 16.

<sup>46</sup> НГА. Ф. 131. Оп. 1 Д. 498. Л. 60.





и конструктивному решению здание» было спроектировано в московском институте «Гипротئاتр» архитекторами С. Гельфер, Г. Напреенко и конструктором В. Корниловым. Проект предусматривал возможность многофункционального использования: «как цирка, киноконцертного зала, зала массовых собраний, спортивных демонстраций, устройства выставок»<sup>47</sup>. Это было здание совершенно нового типа. Так, в начале 1930-х по этому же принципу задумывали строить ДНиК (Дом науки и культуры), в результате ставший знаменитым оперным театром.

Но главное: в цирке не было вершины — купола! Вместо него крыша здания венчалась не имеющим центра симметрии гиперболическим параболоидом. Технический прогресс шел вперед, стали внедряться абсолютно новые технологии. Их здесь была масса. Это и вваренный свод, и нетрадиционная планировка зала, смещение манежа в сторону выхода артистов, сплошное стеклоограждение. Строительство вел стройтрест № 30. При возведении круглого здания цирка впервые применялся уникальный башенный кран БТК 5/8, который передвигался вокруг стройки по циркульному подкрановому пути. Одна опора передвигалась по внутреннему рельсу, а две по внешнему.

Понижающийся к реке Ельцовке рельеф заставил поднять уровень на два метра. При строительстве и благоустройстве были снесены десятки домов частной постройки, расселены 146 семей<sup>48</sup>. Рядом был разбит большой сквер — Нарымский, который и сегодня является одним из любимейших мест тихого отдыха горожан.

С самого начала строительства в нем символически отметились и «цирковые». В частности, директор цирка Бабин, его заместитель Шурупов и народный артист Узбекской ССР Акрам Юсупов принимали участие в закладке в фундамент здания первого бетонного блока, под который по старинному обычаю



Цирк шапито на Михайловском лугу. 1959 г.

<sup>47</sup> Баландин С. Н. Новосибирск. История градостроительства 1945—1985 гг. Новосибирск, Новосибирское книжное издательство, 1986. С. 91.

<sup>48</sup> Мельников Е. И. Цит. соч. С. 36.



**Популярный аттракцион «Гонки по вертикальной стене». 1960-е гг.**

была брошена горсть монет. Весь коллектив по завершении строительства участвовал в благоустройстве территории.

К сожалению, здание цирка (как в свое время и ДНЦ) не удалось сделать многофункциональным, но опыт работы был передан другим организациям, и вскоре (даже раньше нашего) такие же цирки были построены во многих городах СССР: Уфе, Куйбышеве, Донецке, Кривом Роге, Перми, Воронеже, Ворошиловграде, Харькове, Брянске, Череповце.

Государственная комиссия приняла здание с оценкой «отлично»<sup>49</sup>. Первое представление одиннадцатого февраля 1971 года было посвящено строителям цирка, на нем коллективу был торжественно вручен символический ключ и большое деревянное панно, изображающее льва — царя зверей и любимца публики.

В первой программе приняли участие «Звездные канатоходцы» под руководством народного артиста СССР, лауреата Государственной премии В. Волжанского, группа тувинских артистов под руководством народного артиста СССР Оскал-Оола, джигиты «Иристон» под руководством народной артистки Северо-Осетинской АССР Дзерассы Тугановой, акробаты Канагины, комические жокеи Ю. Тамарин и А. Калугин, воздушные гимнасты под руководством Николая Тарасова, клоун Валерий Мусин и другие<sup>50</sup>.

А на месте старого доброго шапито в ноябре 1970-го был организован большой радиофицированный и освещенный каток «для массового катания трудящихся и детей района». Пятнадцатого июня 1975-го здесь открылся чехословацкий комплекс аттракционов «Луна-парк» с необычными для того времени конкурсами и импортными призами (американские горки, жвачка Pedro). Он до сих пор отзывается в душах новосибирцев ностальгическими воспоминаниями.

<sup>49</sup> Вечерний Новосибирск, 1971, № 12, 15 января. С. 1.

<sup>50</sup> Мельников Е. И. Цит. соч. С. 37.

Александр ТИХОНОВ

## ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ ОТ МИСТЕРА БЬЮЭЛА

Некоторое время назад для написания краеведческой работы мне потребовалось прочесть книгу о путешествии иностранца по Сибири — это был труд Джеймса Уильяма Бьюэла «Русский нигилизм и жизнь ссыльных в Сибири», изданный в США в 1891 году.

Полного текста на русском языке не нашлось, и я взялся неумело перевести нужные мне главы с английского, да так увлекся, что через некоторое время вся книга «заговорила по-русски». Отсутствие переводческого опыта и не самые глубокие, прямо скажем, познания в иностранных языках наверняка наложили свой отпечаток, но все же мне показалось, что читателям может быть интересно субъективное мнение американского путешественника о нашей родине.

Чтобы понять, чем заинтересовал меня и сам автор, и его видение Сибири, нужно сперва рассказать о нем. Джеймс Уильям Бьюэл, родившийся в 1849 году в городе Сент-Луис, штат Миссури, всю жизнь был неутомимым человеком: он и юрист, и писатель, и журналист — словом, разносторонний и жадный до новых знаний житель Нового Света. Несколько его книг, вышедших в конце XIX века, стали, как бы сейчас сказали, бестселлерами и продавались большими тиражами: «Чу-



Джеймс Уильям Бьюэл. Здесь и далее иллюстрации из книги: Buel, J. W. *Russian nihilism and exile life in Siberia*, 1883

деса света», «Герои равнин» — сочно написанные, с множеством подкупающих деталей, эти книги передавались из рук в руки. А роман «Море и суша» чуть не стал культовым, получив огромную популярность.

Но вовсе не приключения вызывали восторг читателей, а элементы фантастики — например, придуманное автором дерево Я-Те-Вео.

Дерево? Серьезно? Неужто появление какого-то дерева может придать книге популярность? Еще как может!

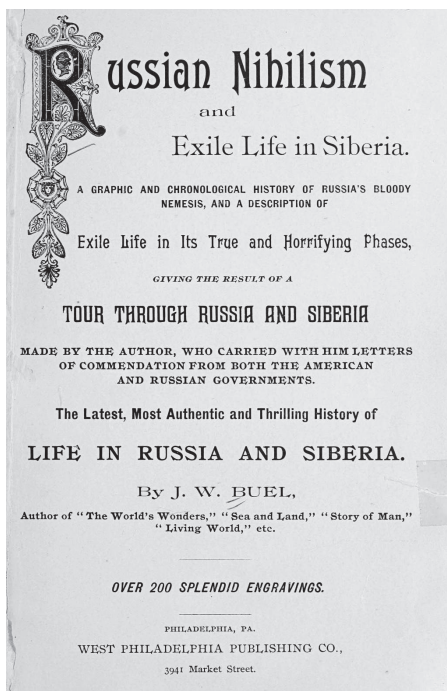
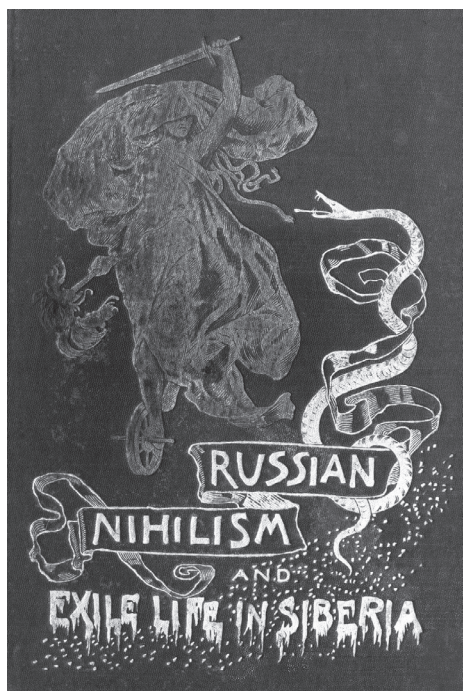
Я-Те-Вео, что якобы означает «Теперь я вижу тебя», — растение-каннибал, огромное, раскидистое дерево (скорее даже существо) с коротким стволом и массивными подвижными ветвями, покрытыми вместо листьев острыми клыками — хватая жертву, оно обвивает ее и выпивает всю кровь. Любители приключенческой литературы приняли это жуткое дерево за реально существующее где-то в Африке и привезенное в горшке рабами при переезде в Америку. Стоит ли говорить, что такую жестокость в литературе читатели приняли с большим интересом?

Но написание подобного «ужастика» — далеко не самый знаменательный факт в биографии Джеймса Бьюэла. Помимо творческих достижений в его жизни была и американская тюрьма, где писатель познакомился с человеком по фамилии Хикок, который сейчас нам с вами больше известен как Дикий Билл, или «ганфайтер Билл», один из лучших стрелков Дикого Запада, отъявленный мерзавец и прототип героев множества вестернов — от книг Луиса Ламура до фильма «Великолепная семерка» и сериала «Дэдвуд». В пору, когда состоялось знакомство Бьюэла и Хикока, о Диком Билле не говорил только ленивый, но при этом никто не сподобился написать биографию легендарного негодяя. И Бьюэл, смекнув, что ему выпал шанс стать первым, вскоре выпустил книгу, в которой история Хикока была рассказана с его же слов и лишь немного приукрашена умелым интервьюером.

Бьюэл умер в 1920 году — и сейчас, более века спустя, множество его произведений так и не переведены на русский язык, а выпущенная в 1891 году книга «Русский нигилизм и жизнь ссыльных в Сибири» была запрещена в Российской империи из-за антиправительственных высказываний автора и его непримиримости по отношению к православной церкви: иной раз он выражается столь жестко, что и в наше время ему грозило бы уголовное наказание. Он пишет о «влажной, грязной, чумной атмосфере рабства», якобы порожденной церковью, о том, что народ живет «с несправедливостью и коррупцией, пронизывающей каждый департамент правительства», а потом и вовсе делает вывод, что будущее России в нигилизме: «Если эта кровавая сила не очистит нацию и не даст ей новый рост, — считает Бьюэл, — мы не увидим иного пути, чем расчленение империи и ее постепенное поглощение иными силами».

Эти выводы Бьюэл сделал, побывав на сибирских рудниках, пообщавшись и со ссыльными, и с коренными жителями различных районов Сибири.

Всюду его пропускали благодаря разрешению министра внутренних дел Дмитрия Андреевича Толстого и директора Департамента полиции Вячеслава Константиновича Плеве — значительных государственных деятелей, просивших автора написать честно и непредвзято, но при этом недвусмысленно намекавших, какой именно они хотели бы видеть книгу.



Правда, ни опасности, ни давление властей, ни какие бы то ни было запреты, нормы или предрассудки не остановили безрассудного американца, и книга получилась такой, какой ее хотел видеть он сам, а не кто бы то ни было еще.

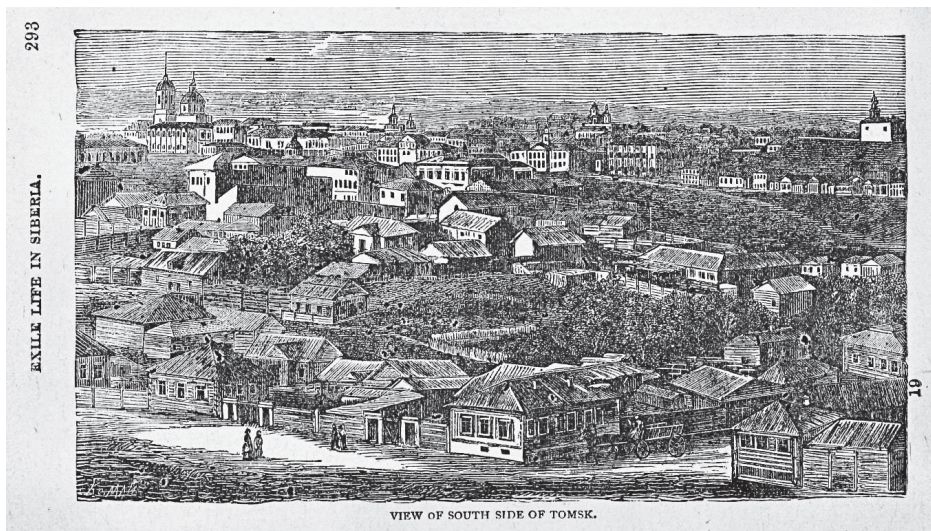
Я не случайно расписал его мытарства и творческие поиски — вы можете представить себе, каким неуживчивым и неутомным был Джеймс Бьюэл. Вам понадобится это знание, чтобы лучше прочувствовать те истории из его книги, которые будут рассказаны ниже.

## История первая

Сколько рассказов о встрече с медведями вы слышали от сибиряков? Наверняка немало. В таежном городе Таре, например, вам расскажут про медведя, который ходил по городу несколько лет назад, в селах — о том, как порой выходят к трассе или к жилью медведицы с медвежатами. А уж сколько их на окраинах, где-нибудь возле бойни, где рабочие сваливают коровью и свиную требуху... Туда медведи приходят подкормиться, забывая о страхе.

Историй о том, как человек встретил медведя в лесу, чуть меньше — и в основном они сводятся к высказыванию: «Услышал шум и не пошел проверять, но это был медведь». В конце позапрошлого века, когда Джеймс Бьюэл ехал по Сибири, владения хищников начинались сразу за городской чертой, медведей и волков было много, а уж какие байки рассказывали о них...

В Красноярске Бьюэл решил продолжать путь лишь вдвоем с переводчиком, русским немцем из Тобольска по фамилии Шлетер. Путешественники приобрели повозку и трех лошадей (причем были удивлены, что стоят лошади, как, впрочем, и коровы, совсем дешево — от пяти до восьми долларов, тогда как в столице шуба из черно-бурой лисицы была предложена писателю за ты-



Вид Томска

сячу долларов, и эта цена считалась «весьма средней»), купили молоко, масло, самовар, килограмм чая, пятнадцать батонov белого хлеба, испеченного по заказу Бьюэла, и девять килограммов свежего мяса. К «продуктовому набору» добавилось еще и немислимое количество фуража для лошадей. С трудом разместив это в повозке, писатель и переводчик туда же утрамбовали постельные принадлежности (куда в Сибири без подушки, верно?) и насилу втиснулись сами. А на пути к Енисейску решили остановиться лагерем и заночевать, опасаясь, что придорожные «гостиницы», а по-простому — постоялые дворы, будут неудобными.

Впрочем, о дальнейшем поведает сам мистер Бьюэл (здесь и далее цитаты из книги Бьюэла в нашем переводе. — А. Т.):

Когда разгорелось пламя нашего походного костра, сложенного в нескольких метрах от обочины, Шлетер внезапно обратился ко мне: «Что это был за звук?» Я не услышал необычного шума, но, должен признаться, его вопрос тут же заставил меня прислушиваться в ожидании чего-то ужасного. Я не имел при себе никакого оружия, кроме револьвера «Смит и Вессон» 44 калибра. Ночь была безоблачная, поэтому предметы, не находившиеся в тени, могли быть видны на расстоянии в тридцать-сорок ярдов. Мы прислушивались и вглядывались во все глаза, но ничего не могли увидеть, хотя наши лошади начали проявлять беспокойство. После нескольких минут напряженного всматривания и вслушивания даже Шлетер пришел к выводу, что поднял ложную тревогу. Нет большего мужества для джентльмена, чем сохранять хладнокровие перед компанией, признав, что напрасно волновался и опасности нет. Без ложной скромности скажу, что в моих родных прериях я нередко участвовал в такой забаве, как охота, и спокойно убивал то, на что охотился, но теперь условия существенно изменились, поскольку я ничего не знал о сибирской охоте, а о местных зверях читал лишь, что это самые жуткие плотоядные хищники.

До позднего вечера я просидел, куря трубку, но бог сна смежил мои веки, и я заснул, как и храпящий Шлетер часом ранее. Прошел час, быть может, два,



костер почти прогорел, и я забыл о своих страхах, погружившись в приятные сны о доме. Я был резко вырван из снов, когда лошади, чувствуя опасность, начали прядать ушами, принюхиваться и яростно ржать, силясь освободиться. Я вскочил и в свете тлеющих угольков костра различил медведя, который в моем возбужденном состоянии казался огромным, как мамонт.

Я забыл разбудить Шлетера, который спокойно спал. Достав свой пистолет, выстрелил в медведя совсем рядом с головой Шлетера. Медведь в ярости поднялся на задние лапы и отбросил наш самовар, который мы оставили на бревнах. Если б я знал, что такой маленький пистолет способен создать столь сильный шум, то подумал бы, прежде чем стрелять. Шлетер подскочил, как будто под ним рванула динамитная шашка. В пороховом дыму и тумане он напоминал одержимого дьяволом. Меня так смутили его действия, что я на мгновение забыл про медведя, который при этом двигался к Шлетеру. Медведь был неплохой целью, поскольку передняя лапа оказалась перебита выстрелом, и это привело к изменениям в его поведении. Шлетер, наполовину проснувшийся, не мог ни увидеть медведя, ни понять исходившую от хищника опасность. Наконец еще один выстрел из пистолета, приставленного к уху животного, закончил наше приключение.

Ни один из нас той ночью больше не хотел спать. Мы потушили подпаленную шкуру мертвого медведя и взяли как трофей с собой в Енисейск.

Казалось бы, вот он, трофей, вот оно, леденящее кровь приключение! Но позже Бьюэл узнал от местных жителей, что убийство медведя в этих краях — дело обычное и никакой особой доблести в таком поступке люди не видят.

И все же американец далее путешествовал по сибирским городам и весям с плохо выделанной шкурой медведя, которая на холоде дубела, становясь негибкой, громоздкой и неудобной. Она занимала больше места, чем все прочие вещи, и желанный трофей вскоре было решено оставить. Тем более что «огромный медведь» оказался вовсе не таким большим. Об этом автор пишет так:

Я вез с собой шкуру медведя, который был убит во время поездки в Енисейск, но это было настолько хлопотным занятием, что после долгих колебаний я наконец отдал ее мужику, в доме которого мы остановились купить молока. Когда я впервые увидел медведя, мне показалось, что он невероятно большой и свирепый, и когда удача направила мою руку и я выстрелил, а животное упало замертво, я, надо признаться, тешил себя мыслью, что совершил нечто неопишное. В течение нескольких минут я чувствовал острое желание немедленно вернуться в Америку с единственной целью — опубликовать свою биографию. Но когда я начал снимать с животного шкуру и тщательно оценил его размеры и когти, он будто начал угасать, как свечка, подожженная с обоих концов, или, скорее, как объект, на который посмотрели через обратный конец подзорной трубы. Когда я закончил снимать шкуру, медведь казался таким маленьким, что вполне мог бы быть не застрелен, а пойман, чтобы сделать из него домашнее животное.

Однако самым фееричным оказалось завершение эпопеи со шкурой: «...Было обидно, — замечает Бьюэл, — когда мужик окинул ее взглядом и сказал: “Ну, может быть, хоть кошки погрызут”».



THE GOVERNOR'S RACE WITH THE WOLVES

343

## История вторая

В своей книге о нигилизме и жизни ссыльных (он называет их «изгнанниками») Бьюэл перебирает множество фактов русской истории, выдавая чудовищную некомпетентность рассказывавших ему о них, и в то же время зорко подмечает проблемы России того времени. Если отстраниться от исторических пассажей и сконцентрироваться на описании русской жизни последней четверти XIX века, мы увидим нашу родину глазами человека совершенно иной культуры, что невероятно увлекательно. Вдвойне интересны передаваемые автором рассказы реальных сибиряков, встречавшихся ему на пути.

Одна из таких историй связана с сибирскими дорогами, и услышал ее Бьюэл в Енисейске, когда вместе со своим переводчиком чудом спасся от пурги и стаи голодных волков. Отогреваясь на постоялом дворе, американец познакомился с томским исправником, который ночевал там же и поведал писателю о приключении, которое равно удачно смотрелось бы как на киноэкране, так и на страницах приключенческого романа.



По словам исправника, в 1880 году, за два года до встречи с Бьюэлом, он по службе прибыл в Иркутск, а затем намеревался отправиться в Центральную Александровскую тюрьму. Снега выпало много, и губернатор выделил исправнику для поездки личную тройку с извозчиком. Из Иркутска выехали ранним утром, чтобы затемно прибыть на место. Дальше, как добросовестно записал Бьюэл рассказанное исправником, события развивались так:

Как правило, в рабочие поездки по Сибири я брал с собой испытанную винтовку, купленную во время последнего визита в Санкт-Петербург. Она не раз спасала меня от нависшей опасности, но в ситуации, о которой я намереваюсь рассказать, мне не хватило взятых патронов, хотя обычно я беру с собой не меньше пятидесяти.

Не происходило ничего, что бы могло воспрепятствовать нашему успеху, пока в три часа дня наш ямщик не сделался столь пьяным от выпитой им водки, что тройка сошла с дороги и опрокинулась в сугроб, а мы чудом смогли избежать травм. Подобные случаи распространены настолько широко, что можно было бы не упоминать об этом, но наш транспорт оказался столь сильно поврежден, что мы остановились почти на два часа для проведения ремонта, а затем, проехав еще немного, вторично сломались. Проблема заключалась в том, что сломалось сцепное кольцо из-за капризного поведения одной из лошадей.

Было семь часов вечера, когда я услышал долгий волчий вой, которому с разных сторон тут же ответили несколько других. Эти звуки, однако же, ни в малейшей степени не встревожили меня, поскольку я слышал их слишком часто. Но вскоре я увидел, как на дорогу позади нас выбежала стая из пяти или шести волков. Потом позади и перед нами начали показываться другие. Я не спешил стрелять, потому как знал, что, если подстрелю волка, сородичи съедят его и, вкусив крови, вознамерятся догнать нас и закончить трапезу.

Мой возница гнал лошадей в бодром галопе, стремясь избежать опасности, которая нам угрожала. Становясь с каждой минутой смелее из-за того, что их количество увеличивалось, волки появились по обе стороны от нашей тройки, а некоторые подбирались совсем близко и замирали, глядя на нас. Из леса раздавался полный ненависти вой, и число волков, казалось, все увеличивалось. Они становились все смелее, кидались к лошадям и отступали вновь.

Теперь я понимал, что каждый протяжный вой ободрял их и как только они нападут на наших лошадей, шансов на бегство не останется. Я поднял оружие и выстрелил в одного из волков, но, едва снег окропился кровью, не менее сотни волков налетели на раненое животное и разорвали его на части немедленно.

Тогда я сделал еще два выстрела наугад и, должно быть, ранил нескольких, судя по рычанию. Оглянувшись, я увидел результат моих выстрелов — несметное число волков пиروвали, сделавшись похожими на мух, заполняющих в летнее время разлагающееся тело. Не успели мы скрыться из виду, когда останки раненых волков исчезли в жадных утробах своих соплеменников, которые вновь с воем преследовали нас.

Хотя наши лошади двигались с максимальной скоростью, не показывая усталости, мы все же не могли оторваться от волков, которые быстро нагоняли нас, и прежде, чем мы удалились на шесть верст от места первого выстрела, они настигли нас вновь. Когда они добрались до тройки и были готовы к нападению, я еще дважды выстрелил, выиграв тем самым пару верст, пока волки пиروвали подстреленными сородичами.

Я старался разумно использовать патроны, поскольку успех нашего бегства зависел от того, сможем ли мы сдержать волков вдалеке от нас, убивая одного, чтобы отвлечь остальных. Поэтому я продолжал отстрел, пока не был



израсходован последний патрон. Мы были к тому времени в десяти верстах от Александровской. Я убил двадцать пять волков или даже больше, но это не смогло значительно уменьшить их численность. При этом у нас теперь не было никакого оружия, чтобы отразить нападение со стороны оставшихся.

Наши лошади были измучены, возница почти лишился рассудка от ужаса, и лишь небольшая надежда, которую я лелеял, ярко светила на фоне общего уныния. Я не спешил погружаться в раздумья, поскольку голодные волки, охочие до крови, были близки, и я видел их высунутые языки. Их челюсти лязгали совсем рядом, словно они уже предвкушали, как сомкнут их на нашей плоти. Некоторые волки бежали так близко, что пытались прыгнуть на меня, и я, перехватив винтовку за ствол, орудовал ей как дубиной, сбивая волков в прыжке, а когда они отлетали на снег, их тут же съедали. Но этот успешный способ отражения атак не помог нам, поскольку, пока я сражался с волками, некоторые из них забежали вперед и бросились на лошадей. Самое время, чтобы расстаться с надеждой и молиться, но наши бедные лошади так отчаянно сражались за жизнь, что вдохновляли на борьбу и меня. Волки повисли на них, вцепившись в бока и горла лошадей, и я был удивлен тем, что лошади выживают с такими страшными ранами. Но вот они упали замертво, а нам с возницей предстояло что было сил защищать свои жизни.

Возница ничего не имел при себе для защиты, и, несмотря на попытки отбиться, три сильных волка стащили его с места, и, когда он упал на снег, моля о помощи, до меня долетел его дикий крик. Бедняга молил о помощи, звал меня, в то время как свирепые звери раздирали его плоть, пока он не умер от невыносимой боли. Наши лошади разделили судьбу возницы, а я, вооружившись своей дубиной, отбивался от полусотни волков, поочередно кидających на меня. Как я вышел из того пекла живым — для меня загадка, но я боролся в течение долгого времени, прежде чем подоспела помощь — двое мужиков, которые смело помчались на выручку.

Мы были застигнуты стаей почти у окраины Александровской и создаваемым шумом привлекли к себе внимание. Я был спасен в основном потому, что почти все волки отвлеклись, пожирая лошадей и возницу. После спасения я увидел, что вся моя одежда буквально разодрана в клочья, ноги и руки исцарапаны, на что в пылу схватки я не обратил внимания.

Волков удалось отогнать выстрелами и ударами лишь тогда, когда лошади были почти полностью ими съедены, а от возницы остался лишь ухмыляющийся череп без плоти, половина одной руки, часть позвоночника и тазовая кость. Его конечности были разорваны на куски и оттащены туда, где могли быть спокойно доедены. Моя сломанная винтовка, от которой остался лишь ствол, как никакая другая реликвия ценна для меня после той печальной истории, которую я запомнил на всю жизнь.

А где-то по Московско-Сибирскому тракту и тысячам других дорог в пору написания Бьюэлом своей книги ехали и шли сибиряки. И вздрагивали, заслышав в зарослях треск и утробное ворчание медведя или протяжный волчий вой, подхватываемый разными глотками то правее дороги, то где-то левее, то за ближайшим поворотом...

### История третья

Но не только о современной ему Сибири писал Бьюэл в своей книге — порой он рассуждал и о судьбах народов, населявших обширные и печальные

пространства, чем-то неуловимо напоминавшие ему родную Америку. Если помнить, что мы читаем записки человека иной эпохи, особенно интересными выглядят его рассказы, например, о сибирских охотниках или мамонтах, о которых ученые в ту пору знали едва ли не меньше, чем знает сейчас обычный школьник.

Я не берусь судить, верно ли автор трактует и датирует те или иные события, моя задача — познакомить читателей с творчеством талантливого рассказчика, путешествовавшего по Сибири в конце XIX столетия. Итак, Сибирь — земля мамонтов!

В районе Нижней Лены, к западу от реки, были обнаружены останки огромного носорога и древнего слона, который был больше любого ныне существующего, — *Elephas primigenius*, обычно называемого мамонтом. Это наименование произошло от слова «мамы» (земля), потому как якуты верили, что это животное прокладывало себе путь под землей, как крот. Китайская история представляет мамонтов как крыс размером со слона, которые всегда прячутся под землей и умирают, вступив в контакт с воздухом на поверхности.

Бивни мамонта замечательны тем, что демонстрируют двойную кривизну — сначала внутрь, затем наружу и снова внутрь. Некоторые натуралисты относят мамонта к тому же виду, что и индийского слона, только сильно измененного в силу климатических условий. Самоеды говорят, что мамонт все еще существует, блуждая по берегам Ледовитого океана и питаясь трупами, выброшенными прибоем.

Что касается носорога, они говорят, что это была гигантская птица, и рога, которые у купцов ценились наравне со слоновьей костью, — их когти. Самоедские легенды рассказывают о страшных сражениях между их предками и этими огромными крылатыми животными.

Торговля бивнями мамонта между племенами Северной Азии и китайцами была развита за сотни лет до прихода европейских натуралистов, проявивших интерес к бесспорным доказательствам существования этих вымерших животных.

Сибирский мамонт аналогичен образцам, найденным в разных частях Англии, особенно в Илфорде, в долине Темзы, недалеко от Лондона, на побережье Норфолка. Но тогда как в европейской почве находили лишь фрагменты скелета, в Сибири были обнаружены кости носорога и мамонта, покрытые кусочками плоти и кожи.

Этим открытиям более столетия. В декабре 1771 года отряд якутов охотился на Вилюе, недалеко от его соединения с Нижней Леной, и обнаружил неизвестное животное, наполовину сокрытое в песке, но все еще сохраняющее свою плоть, покрытую толстой кожей.

Туша слишком разложилась, чтобы можно было переправить в Иркутск что-то еще, кроме двух ног и головы. Они были замечены великим путешественником и натуралистом Петром Палласом, который объявил животное носорогом, не самым большим в своем роде, который мог случайно родиться в Центральной Азии.

В 1799 году замерзший берег в устье Лены обвалился и открыл тунгусу по фамилии Чумаков тело мамонта. Шерсть, кожа, плоть и все остальное сохранилось благодаря морозу.

Семь лет спустя мистер Адамс из Петербургской Академии, узнав об открытии в Якутске, побывал там. Он обнаружил, однако, что большая часть плоти была съедена дикими животными и собаками туземцев, хотя глаза и мозг остались нетронутыми. Весь скелет был 9 футов 4 дюйма в высоту и 16 футов 4 дюйма от кончика носа до конца хвоста без учета бивней, которые были

9 футов 6 дюймов в длину, если учитывать кривизну. Вес обоих бивней составил 360 фунтов, а голова вместе с ними весила 414 фунтов. Кожа была такого необычайного веса, что десять человек с трудом ее переносили. Было также собрано около 40 фунтов шерсти, хотя гораздо больше втоптали в песок медведи, объедавшие плоть. Сейчас этот скелет находится в музее Петербургской Академии, где я изучал его во время моего визита в город в октябре 1882 года.

В 1843 году А. Миддендорф на реке Таз между Обью и Енисеем нашел мамонта, плоть которого была в столь идеальном состоянии, что оказалось возможным изъять глазное яблоко, которое хранится в музее в Москве.

В 1865 году капитан парохода «Енисей» случайно узнал, что туземцы обнаружили сохранившиеся останки мамонтов примерно в 100 верстах к западу от реки. Информация была отправлена в Петербург, и доктор Шмидт был уполномочен отправиться туда и осмотреть находки. Он прибыл по Енисею в Туруханск, а оттуда к месту обнаружения мамонтов — в надежде вскрыть живот существа и, исходя из характера листьев в его желудке, сделать вывод о среде обитания животного, как известно, питающегося растительной пищей, но какой именно, еще никто не определил. К сожалению, желудок не сохранился. При осмотре под микроскопом фрагментов растительной пищи, извлеченной из бороздок коренных зубов сибирского носорога, иркутские натуралисты определили волокна сосны, лиственницы, березы и ивы, напоминающие волокна деревьев тех же видов, которые до сих пор растут в Южной Сибири. Кажется, это подтверждает давно высказанное мнение, что носорог и другие крупные толстокожие, найденные в аллювиальной почве Севера, и раньше населяли Среднюю Сибирь и юг крайних северных районов, где сейчас находят их скелеты. Подсчитано, что животные пробыли замороженными много тысяч лет, и их естественное местообитание находилось на Севере в период, когда, возможно, арктический регион был теплее, чем сейчас. Покрытые длинной шерстью, они, безусловно, могли противостоять арктическому климату. Но как в северной тундре животное могло найти листву, необходимую для его существования? Из этого можно сделать вывод, что или раньше эта местность была лесистой, или что мамонт не жил там, где был найден его скелет, но обитал южнее, откуда его туша была перенесена на север по рекам, где и вмерзла в почву. Эти вопросы обсуждаются среди геологов, которые все еще ищут ответы на них.

Однако факт остается фактом: мамонтовая кость — по-прежнему важная отрасль местной торговли, и все путешественники свидетельствуют о большом количестве ископаемых костей, обнаруживаемых в мерзлых районах Сибири. Было высказано предположение, что обильные запасы слоновой кости по запросу греческих скульпторов привозили в Причерноморье из сибирских «месторождений». Так, еще во времена капитана Биллингса, о чем рассказал его секретарь Мартин Зауэр, был обнаружен арктический остров рядом с Сибирским материком, представляющий собой смесь песка и льда, и, когда началась оттепель, берега начали оплывать, обнажая множество мамонтовых костей. Весь остров оказался сформирован из костей этого необычного животного.

Этот отчет в какой-то степени подтверждается Фигером, который рассказывает нам, что Ново-Сибирский остров Ляховский по большей части представляет соединение песка, льда и мамонтовых бивней и в любую бурю море выбрасывает на берег новые бивни. Реклю говорит о ежегодно находимых пятнадцати тоннах мамонтовых бивней, представляющих останки порядка 200 мамонтов, а около 1840 года Миддендорф подсчитал количество обнаруженных мамонтов, которых на тот момент насчитывалось 20 000.

Каждый год в начале лета рыбацкие барки направляются курсом к группе Ново-Сибирских островов, к островам костей, а зимой караваны, запряжен-

ные собаками, идут по тому же маршруту и возвращаются, груженные бивнями мамонта, каждый из которых весит от 150 до 200 фунтов. Полученная таким образом ископаемая мамонтовая кость импортируется в Китай и Европу, где используется для тех же целей, что и обыкновенная кость слона и бегемота.

Читаешь — и диву даешься, насколько далеко шагнула современная наука по сравнению с представлениями людей XIX века! В любом случае охочий до новых знаний Бьюэл хватался за совершенно разные темы, пытаясь понять местную культуру и особенности политического устройства — для того чтобы более ярко выписать историю тех, о ком в Российской империи предпочитали не говорить, — ссыльных.

### История четвертая

Книга под названием «Сибирский нигилизм и жизнь ссыльных в Сибири» вполне могла бы называться «Жизнь изгнанников в Сибири». Именно это значение, как мне думается, вкладывает Джеймс Бьюэл в скупое *exile*, ведь даже само слово «изгнанник» более эмоционально окрашено, оно гораздо шире привычного «ссылный». Впрочем, против норм языка не пойдешь, даже если пытаешься разглядеть между строк неожиданный эмоциональный слой, а эмоций на страницах книги оказалось предостаточно, поскольку порой автор становился свидетелем душераздирающих трагедий и ничтожности человека перед лицом стихии или государственной машины...

Бьюэла трудно заподозрить в подтасовке фактов и романтизации происходящего, ведь он видит реальность и ужасается ей, излагая субъективные наблюдения, и нам интересна именно такая субъективность, живой взгляд эмоционального человека. Вот как он описывает Центральную тюрьму в Москве, откуда ссыльные отправлялись дальше на Восток:

Самым печальным, что мне довелось увидеть в этой тюрьме, были жены и малолетние дети преступников, которые утомились, проделав многомильный путь, чтобы в последний раз встретиться и проститься с теми, кого они любят, или же сопроводить их в ссылку. Число жен, которые добровольно присоединяются к мужьям в ссылке, поистине удивительно, что иллюстрирует правдивое высказывание: «Ничто не может сравниться с любовью женщины». Многие сцены, виденные мною в тюрьме почти еженедельно, невыразимо печальны. Одну из них я вспомнил теперь, чтобы и читатель мог проникнуться печальным сочувствием, которое я испытывал.

Молодой красивый парень, который, как мне объяснили, был политическим преступником, прибыл в Москву с большой группой заключенных за четыре дня до того, как я его встретил. Пока мы с переводчиком были заняты наведением справок, я встрепенулся от внезапного крика, а когда огляделся, чтобы понять причину, увидел, что молодая женщина с маленьким ребенком в левой руке обвивала правой шею молодого мужчины. Они кричали и вздрагивали в горестных муках. Задыхаясь от рыданий, они что-то говорили на родном языке, но мне было не разобрать их слов. Молодой человек в чем-то убеждал женщину, но каждое произнесенное слово, казалось, лишь подогревало их горе.

Вскоре мой переводчик все разузнал подробно: молодой человек являлся мужем женщины и был осужден в городе Ярославле по обвинению в печати



и распространении революционной литературы. Его наказали, отправив на каторжные работы в сибирские рудники на десять лет. Когда его забирали в Москву, молодой жене не разрешили сопровождать мужа в поезде, но столь велико было ее желание еще хотя бы раз увидеть супруга, что она собрала ребенка, их маленькую дочь, и двинулась пешком в Москву, преодолев сто семьдесят пять миль. День и ночь она шла так быстро, как только могла, обремененная ребенком, боясь, что не успеет прибыть до отправки мужа в Сибирь. Утром четвертого дня она достигла Москвы и имела возможность увидеть закованного и сломленного от горя супруга. Эта встреча лишь умножила их муки, поскольку жена настаивала на сопровождении мужа в ссылку, в то время как он, с чувством «раненной гордости», не мог согласиться и предлагал ей вернуться домой. Я оставил их все еще сжимающими руки друг друга, горько кричащими, и уже не узнаю никогда, последовала ли молодая жена за своим мужем-изгнанником. Такие истории, как ни странно, очень часты в Центральной тюрьме, но они лишь подготовили меня к намного большему числу печальных свидетельств, которые я позже зафиксировал в Сибири.

Так что же он увидел в Сибири? Если попытаться перечислить все места, где довелось побывать американцу, прокладывая себе путь верительными грамотами от российских чиновников и звонкой монетой, впору пересказывать треть книги. Мы же обратим внимание на рассказы путешественника о ссыльных, записанные им со слов самих несчастных. Вот один из таких:

Я стал свидетелем тяжелой работы на руднике, которую можно видеть и при посещении любой колонии в Соединенных Штатах. Я видел нескольких мужчин, прикованных цепью к тачкам, и других, с цепями на запястьях и лодыжках, но мне не показалось, что они слишком страдали. Позже мне сообщили, что шахтой возле Енисейска управлял очень гуманный и добродетельный капиталист, отношение которого к рабочим было исключительно внимательным.

Возвращаясь из шахты, мы натолкнулись на несчастного, который на вопросы Шлетера ответил, что был сослан и жил в горах поблизости. Что-то гипнотическое было в этом человеке, может быть, выражение его умных глаз или печаль во взгляде, с которой наблюдал он за нашим снисходительным к нему обращением. Поэтому я спросил, далеко ли его дом, который оказался совсем близко, и мы решили его навестить. Через полчаса мы спустились к подножию горы, откуда брала начало протяженная безлесная равнина, покрытая снегом. Здесь, в месте, полном уныния и одиночества, мы вскоре отыскали жилище ссыльного. Я был удивлен, увидев перед собой грязную землянку, которые в огромном количестве можно отыскать и на американском Западе. Мы узнали, что ссыльный, который так меня заинтересовал, не был одинок в этом тоскливом месте. У него был товарищ с такой же неудачливой судьбой. Помимо того, с ними жила собака — верный компаньон и охранник, который лаем извещал о приближении диких животных и с подозрением поглядывал на незнакомцев вроде нас. Жилище нашего несчастного изгнанника представляло собой небольшую двухместную землянку, покрытую сверху ветвями и земляной насыпью в два фута толщиной, отчего зимой внутри было тепло, а летом прохладно. Дверь с южной стороны вела вниз, в просторную комнату, которая была натоплена, в импровизированной печи горели еловые ветви.

Изнутри комната была обшита досками, неровными по длине и толщине, но аккуратно соединенными вместе, чтобы избежать сырости. В противоположном от входа углу — заправленная кровать, возвышавшаяся над землей на два

фута, с прибитыми поперечинами, к которым крепилась подстилка из волчьих и медвежьих шкур.

На стене висела икона Богородицы, а перед ней чадила свеча, сделанная из волчьего сала (как объяснил мне ссыльный). Три полки, два табурета и коробка — вот и вся мебель в их жилище. Кухонные принадлежности были скудными, однако наличествовал самовар, расположенный на печи, что было важным символом для каждого русского.

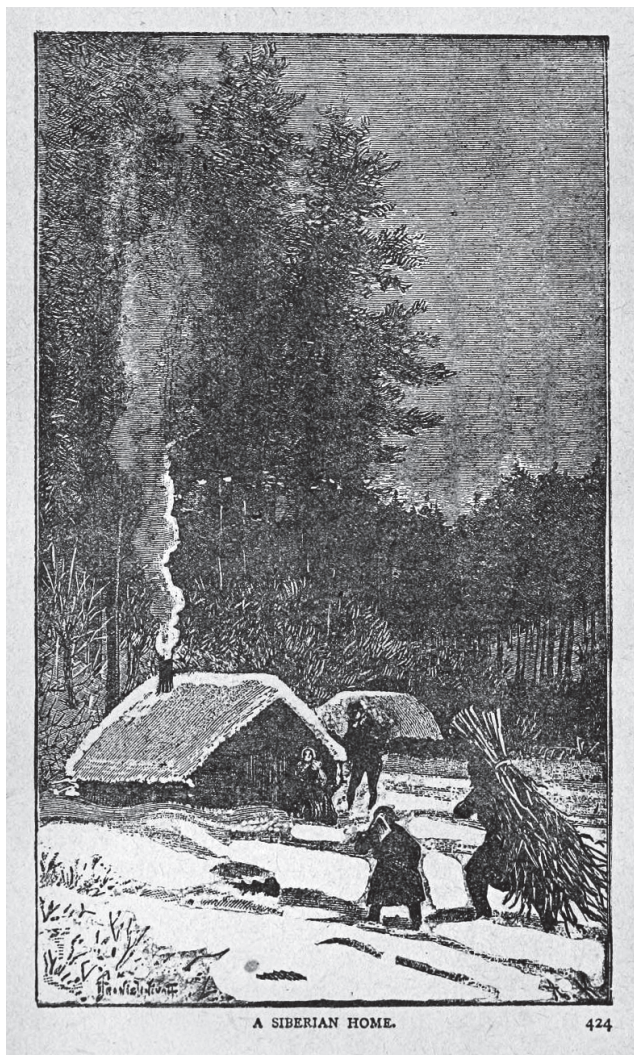
В этом «первобытном» жилище мы были гостеприимно приняты хозяином. После того как был выпит чай, изгнанник рассказал мне об обстоятельствах, при которых он был выслан в Сибирь, и о жизни, которую тут вел. Узнав, что я — американец, собирающий информацию о жизни преступников в Сибири, он рассказал свою историю через переводчика, который кратко пересказал ее мне: «До 1873 года я жил в деревне Мехув, на юге Польши, почти в двухстах верстах от Варшавы, которая сначала принадлежала нашему дворянину, но после манифеста об освобождении я остался на этой земле и попытался заработать на хлеб насущный для своей семьи, жены и двух детей. Я довольно неплохо преуспел в этом, хотя в моем районе нельзя надеяться на успех зерновых культур. Один год может быть урожайным, а год или два после него — нет. Однако у меня не было причин жаловаться, поскольку соседи и те считали меня самым удачливым среди них.

Неудачи начались весной 1873 года, когда к нам приехал брат жены, сбегавший от властей. Он обвинялся в помощи нигилистам и членам террористических ячеек. Я оставил его на ночь, а на следующее утро трое жандармов, которые шли по его следу несколько дней, арестовали его в моем доме. Я был тогда уверен в его невиновности, ведь он поклялся мне и моей жене пред иконой, что обвинение ложно. Я пытался упросить жандармов отпустить его, но мои мольбы были безрезультатны. Напротив, они привели к тому, что моя собственная свобода была теперь в опасности. Так я покинул свой дом, который больше никогда не видел».

Сказав это, бедняга разрыдался и, закрыв лицо руками, закричал, словно сердце его рвалось на части. Мы пытались утешить его, и через несколько минут он продолжил: «Меня привезли в Варшаву и бросили в тюрьму, где я провел почти неделю с десятью другими заключенными, после чего был перевезен в Москву без всякой возможности прояснить ситуацию. Оттуда я был выслан на рудники Нижнеудинска, находившегося на пути из Красноярска в Иркутск. Видит бог, я не помню страданий, которые претерпел во время той ужасной поездки. Все время, что я ехал из Москвы, я был охвачен горем, что никогда уже не увижу жену, детей и далекий дом после того, как жандармы меня с ними разлучили. Это жуткое горе в каком-то смысле сделало меня равнодушным к жестокости, которой я подвергался. А это было лето, когда стояла такая жара, что на коже, на открытом солнце, вспухали волдыри ожогов. Ко мне относились как к самому презренному преступнику, хотя я был столь же невинен, как младенец на груди матери.

Кандалы на руках и ногах так ужасно истирали запястья и лодыжки, что я был истощен от потери крови. Конвоиры перебинтовали мои раны, но от этого стало лишь хуже, пыль и жара вызвали нагноение, раны стали черными и со временем, пожалуй, убили бы меня. Я не могу рассказать вам обо всех жестокостях, которые применялись к нам во время пути в Удинск. Мои тяжелые условия содержания были немного смягчены, поскольку во время ареста у меня было с собой несколько рублей, а другие заключенные, у которых не было денег, умирали иногда прямо по дороге.

Я узнал, что трудности, ожидающие меня в шахтах, менее страшны, чем те, что я претерпел по дороге, и поэтому был рад, когда в поле зрения наконец



A SIBERIAN HOME.

424

### Жилище в Сибири

показался Удинский золотой рудник. Большинству заключенных нужно было попасть в больницу, а не в рудники, но жестокие конвоиры били их прикладами и отправляли в рудник, не обращая внимания, что руки и ноги тех порой разлагались от ран, произведенных тяжелыми кандалами.

Благодаря имеющимся деньгам мне повезло больше, и в течение двух недель у меня была хорошая кровать в больнице, где обо мне заботились местные благотворители. Когда восстановление было завершено, меня отправили в шахту, на триста футов под землю, и поручили трудиться вместе с другими преступниками. Мы должны были передвигать вагонетки, цепляя на себя нагрудные хомуты, впрягаясь в них.

Пока мои деньги не кончились, я не ощущал больших трудностей в шахте, но, когда закончились последние, начались страдания, которые я боюсь вспоминать. Меня снова заковали в тяжелые кандалы по рукам и ногам, закрепили их на шее и на талии, и я должен был трудиться в них по восемнадцать часов ежедневно. Этот труд требовал таких усилий, что я видел, как многие мужчины падали в обморок.

Когда человеческая природа уже не могла больше выдерживать, усталого больного наказывали. Мои плечи были обнажены, и кнут порой стегал, даже



если не было нарушений. Дважды меня подвешивали за пальцы, когда я падал от истощения. Самые страшные наказания в Нижнеудинске — кнут, плеть, «скорпион» и подвешивание за пальцы. Я ни разу не подвергался наказанию «скорпионом», однако видел его применение множество раз. Этот инструмент для бичевания похож на кнут — за исключением того, что вместо узлов на конце его маленький крюк, который при ударе втыкается в плоть и тянется сквозь нее. Смотрится это ужасно, а четверть наказанных таким способом потом умирают.

Наши надзиратели были особенно жестоки, их отбирали из старых вояк, и им бы больше подошло сражаться на поле боя. Они были жестоки и несдержанны. Деньги могли их смягчить, но, как только монеты заканчивались, они вновь накидывались на беспомощную жертву.

Иногда жестокие охранники обматывали головы преступников полосками сыромятной кожи, натягивая ее так сильно, что глаза бедняг краснели, лицо становилось фиолетовым, с тела лился пот. Это наказание также часто приводит к смерти, и я рад, что его применяют нечасто. Но есть и наказание более ужасное, чем все прочие, о которых я рассказал, потому что оно может длиться порой многие годы. Это наказание — размещение заключенных в сырых штольнях, откуда им не разрешают выбираться до самой смерти. Я видел заключенных, которых отправляли на каторжные работы, чтобы они трудились всю жизнь в лужах воды. Удивительно, как долго некоторые люди могут такое выносить, даже когда их тела становятся почти прозрачными, щеки тонкими, выпадают волосы, голос становится едва слышимым, под тонкой кожей очерчиваются кости. И однажды они падают, чтобы уже не подняться никогда. В мерцании огней, освещающих шахту, эти бедняги кажутся гномами или голдными призраками.

Я выносил ужасные истязания восемь лет, сколько мне и было отведено для каторжных работ, но на этом мои беды не закончились, поскольку я был обречен еще девять лет жить изгнанником в этих местах. Но все эти каторжные работы и изгнание — моя судьба, которую я должен вынести. Самым трудным была невозможность связаться с моей семьей, ни одной весточки от которой я не получил с того дня, когда покинул их. Ни моя жена, ни я не можем написать, и поэтому я нахожусь в неведении. Они могут быть мертвы, а может, жена, отчаявшись ждать меня, связала себя узами брака с другим человеком. А если и нет, то что их ждет в грядущие девять лет? Мое сердце похоронено под несчастьями, через которые я прошел, и предчувствием зла, которое всегда со мной.

Я живу здесь, в этом небольшом доме, деля его с моим таким же несчастным соседом. Живем мы тем, что охотимся и ловим рыбу. Я бы не жаловался на свое существование, если бы не память о моем доме в Польше, который, увы, уже никогда не станет моим».

Я с таким интересом слушал рассказы изгнанника, что не заметил прихода темноты, ведь провел почти три часа в заснеженной лачуге. Я отдал в руки бедняги десять рублей и пообещал ему, что посету Варшаву прежде, чем вернуться в Америку, и приложу все усилия, чтобы передать его сообщение жене. Он поблагодарил меня со слезами на глазах и сказал: «Передайте ей, что больше всего я надеюсь увидеть ее снова и что я не перестану молиться о сохранении наших жизней и о том, что однажды мы встретимся в небольшом домике, где так давно были разлучены».

Я доверяю всему, что рассказал мне изгнанник, и считаю сказанное им правдивым. Мои собственные наблюдения и истории, рассказанные другими людьми, побывавшими в шахтах, подтверждали его слова. Трудно было преувеличить ту жестокость, с которой надсмотрщики в Сибири относятся к несчастным заключенным.



## Лирическое послесловие

Это лишь четыре истории, поведаанные американским писателем Джеймсом Уильямом Бьюэлом после его путешествия по Сибири — порой жуткие, но дающие представление о том, какими были сибирские дороги менее полутора веков назад, какие нравы царили на рудниках и в шахтах, какие невиданные создания когда-то бродили по сибирским просторам... Это истории о силе человеческого духа и о человеческой жестокости.

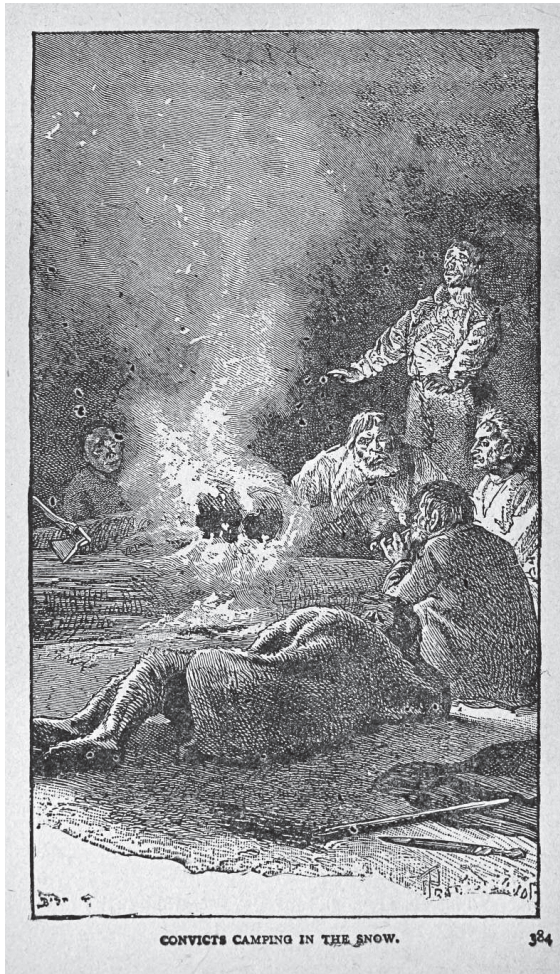
Разумеется, порой американец слишком сгущал краски или же, наоборот, романтизировал свои «приключения». И мы вольны верить автору или, списав все на его буйное воображение, сказать: «Мерзавец, он оболгал нашу страну!» — но Бьюэл, глядя на происходящее тогда в России, будь то торжественные богослужения или жестокие пытки, сила людского характера или проявление низменного духа, то и дело проводил параллели между нашей и своей родиной, между Россией и Соединенными Штатами, он стремился понять страну, в которой оказался, жадно ловя каждое слово любого встреченного рассказчика...

Например, сколько баек о русских царях пересказал в своей книге Бьюэл? Много. И все монархи, судя по этим небылицам, погибли насильственной смертью, в то время как вокруг царил липкий ужас одиночества и предательство свиты...

Но не ради подобных баек стоит читать его книгу, а ради изумительного описания сибирского Севера и людей, живущих здесь, ведь иногда неистовый американец превращается в тонкого лирика:

Лагерь посреди тундры в глухой зимней ночи — зрелище дикое и странное. Вообразите, что вы проснулись в некий неизвестный час посреди ночи, высунули голову из теплого спального мешка и попытались разглядеть звезды, чтобы понять, который час. Костер почти потух, лишь тлеет несколько угольков, но этого света достаточно, чтобы различить темные фигуры местных жителей, сидящих на корточках спиной к саням и дремлющих у затухающего костра. За пределами лагеря лишь пустынная тундра, укрытая снежными волнами, которые постепенно сливаются с огромным замерзшим океаном и теряются в темноте. В высоком, почти черном небе искрится яркое созвездие Ориона и Плеяды, астрономические часы которых отмеряют время между закатом и восходом солнца. Синие таинственные блики Авроры дрожат на севере, восходя яркими линиями к зениту, а затем раскидываются по небу величественными полотнищами, словно предупреждение для путешественников, дошедшее из неизведанных районов возле полюса. Тишина глубока, словно смерть. Лишь пульсация крови в ушах и тяжелое дыхание спящих нарушают полное безмолвие.

Внезапно в ночном воздухе слышится нечто, похожее на долгий слабый плач. Так стонет человек, прежде чем его страдания окончатся. Постепенно плач становится громче, звук разносится во все стороны, пока, кажется, не заполняет собой всю атмосферу, переходя в низкий отчаянный стон. Это волчий сигнал. Через мгновение его подхватывают другие, сначала два-три, дюжина, пока сотни солистов адского хора не начинают завывать вместе, заставляя воздух дрожать. Кажется, что пустые небеса и пустая земля полнятся воплями злодеев. Затем один за другим источники звука стихают, становятся едва слышимыми и, наконец, вовсе замолкают. Лагерь вновь окутывает мертвая тиши-



на. Один или двое спутников беспокойно ворочаются во сне, словно этот вой проникает в их сны, но никто не просыпается, и тишина вновь заполняет небеса и землю.

Вдруг сияние Авроры, как всадник, размахивающий мечом, пронесится по темному небу и освещает снежную степь переливистыми высверками разноцветного сияния. Словно открыли небесные врата.

С первыми рассветными лучами лагерь начинает оживать. Собаки выбираютя из глубоких ям, которые их теплые тела расплавили в снегу, местные жители просовывают головы в горловины шуб. Огонь разожжен, согрет чай, и вы выползаете из своего мешка, чтобы позавтракать.

Пятнадцать или двадцать минут тратятся на то, чтобы выпить чаю и съесть вяленую рыбу, и, прежде чем в крепнущем свете восходящего солнца исчезнет Аврора, вы уже будете стремительно мчаться через тундру.

Вы почувствовали пронизывающий холод, горьковатый дым от костра? Услышали далекий волчий вой? И все это — Сибирь. Разная, пугающая и вдохновляющая.

Анатолий КИРИЛИН

## ВОТ И Я ВЫБИРАЮ

В очередной раз перечитывая рассказ Василия Шукшина «Выбираю деревню на жительство», я подумал о своем выборе. А тут еще друг Евгений Роговский подкинул видеозапись с чудесными деревенскими картинками, такими лакированно-пасхальными и одновременно живыми. И, глядя на них, подумал я, что время не может пройти мимо этой простоты и красоты, вот сейчас оно остановится, и навсегда останутся у нас перед глазами эти занесенные снегом под крышу избы, этот свет, пробивающийся из откопанных окон, эти березы в куржаке, эта лошадка, тянущая повозку по белой дороге, эта открытая настежь калитка, приглашающая в дом, в тепло. И песня: «Это родина моя малая...» Точно знаю, у Роговского она есть, может, похожая на эту, с картинок, даже наверняка — похожая. Они ведь так роднятся видом, русские деревни, особенно зимой. Впрочем, у Евгения осталась скорее лишь память о своей малой родине, исчезнувшей однажды навсегда. Навсегда ли?

Он уже начал осуществлять свою мечту по возрождению родной деревни, и казалось, что пусть не в том, первоначальном виде все возродится, хоть в каком, но именно на ее месте, запахнет печным дымком, смешанным по субботам с хлебным духом — время караваи ставить в печь, — зажгутся огоньки новых усадеб, заскрипят полозья... Ах нет, простите, забылся: зашуршат колесами автомобили. Судьба остановила моего друга. Пока остановила. Но как бы там ни было, осталась мечта и любовь к «родному пепелищу», их не отнять даже судьбе-многотруднице.

Всю долгую свою жизнь, связанную с поездками по деревням и селам, предавался я мечтаниям, которые вроде бы были об одном, но постоянно меняли адреса. Я мечтал о деревне, в которой остался бы жить навсегда. И не мог сделать свой выбор, окончательно определиться, что же это за деревня из череды многих и многих, прошедших перед моими глазами. Позднее я стал понимать: все дело в том, что я горожанин и нет у меня близкой родовой привязки к основе человеческих поселений, к ней, деревне. И вряд ли когда возникнет жжение в ступнях, которыми прикоснусь я к земле, от токов, идущих от нее, замешенных на поту и слезах родовой. Хотя как знать, как знать...

Временами меня снедала самая обыкновенная зависть к тем из моих близких друзей, кто вышел из деревни, кто имел хотя бы самую малую возможность вернуться если не к отчему порогу, то пускай — к отеческим холмикам и крестам. И позднее, приняв истину, что нет у меня родной деревни, что зависть здесь пустое, никчемное чувство, я продолжал выбирать для себя деревню.

Иногда, приезжая с кем-либо из друзей на их малую родину, я думал, что совершаю хищение, заглядываясь на милый сельский быт, на природу, завидуя и примеряя себя ко всему окружающему, пытаюсь не по праву занять место находившихся здесь. Но мне было сладко от этого маленького воровства, ведь ни у кого же не было. А у меня... У меня прибавлялся еще один адрес вдохновенных моих мечтаний, дерзновенных и бесплодных.

Иногда я переживал вместе с теми из моих друзей, кто потерял свою родину, унесенную в никуда ветрами бездумных перемен. Так случилось с родной деревней поэта Владимира Башунова Знаменкой.

Где нынче лютует крапива,  
 означа границы жилья,  
 виднеется сиротливо  
 тележная колея.

Да в росном белеющем дыме  
 к малиннику тянется след.  
 Да в паспорте значится имя  
 поселка,  
 которого нет.

Я был на месте этого поселения — пустошь по-над рекой. И что мои переживания по сравнению с потерей дорогого друга? А мне-то и прислониться здесь не к чему, нечего припрятать, и утаить, и умыкнуть в мыслях своих корыстных. Что касается переживаний, они для моего друга стали основой большей части его творчества, где слились воедино страдания об утере, неутрачиваемая любовь и надежда, что где-то живая душа исчезнувшего с тела земли поселка войдет в трепещущее тело со вдохом.

И, обернувшийся назад,  
 увидел в дымке лет:  
 крыльцо мое, как верный брат,  
 идет за мною вслед.

С возрастом все больше цепляешься за прошлое. Дальше — глубже. И мучает тебя память, и заставляет признавать, что ты, как и большинство твоих соседей по великой стране, отступил, убежал, оторвался от крестьянских корней всего-то на три-четыре поколения. Но где она, где эта зацепка, эта малая родина моих прародителей? Многие знают хотя бы это, мне — неведомо. Помню одно лишь далекое название — деревня Тигода где-то в Ленинградской области. Но кто там жил, прадед ли, его отец — не знаю. Как-то не осела эта информация в семейных преданиях, а вернее — в моей голове. Где Ленинградская область — и где я!

Помню, как мы выбирали деревню на жительство с Валерием Слободчиковым. Побывав несколько раз с Валерийными друзьями в деревне Семеновке, мы влюбились в этот заброшенный уголок Третьяковского района, где когда-то размещалась геологоразведочная партия. Заселенных домов к тому времени оставалось всего пять, деревня сплошь тонула в дурной траве, но это не мешало ей быть красивейшим местом. Осевшая на дне неглубокой чаши среди сопков, она окружена зелеными склонами, сплошь поросшими акацией, можжевельником, черемухой. А выше — пихты, ели. Краем поселения бежит речка Черепаниха,

вот на ее берегу и присмотрел Валера домик, хозяйка которого уезжала к детям в город.

— А вот здесь, — он указал на обнявшиеся старую яблоню и сосну, — мы поставим домик тебе.

Нам обоим в тот миг казалось это доступным, легко разрешимым. Оставалось до пенсии немного, а там... Надо было видеть, как собирался Валера заселять свой домик в Семеновке. В ту пору мы оба работали в газете «Алтайская правда». За год до своего шестидесятилетия Валера забросил все свои журналистские обязанности и занялся подготовкой к переезду в деревню. Как он думал — навсегда. Никакого секрета из своих сборов не делал, напротив, со многими из редакции делился радостью по поводу нового хозяйственного приобретения. Все, что придумало разумное человечество для ведения домашнего сельского хозяйства, было приобретено: топоры, пилы, шуруповерты, рубанки, газонокосилки. И все, заметьте, самое лучшее, на электричестве или на бензине. Редакционные относились к подготовке коллеги с сочувствием. А иные и помогали. Работник хозяйственного цеха Ярослав тащил к Слободчикову все, что, по его мнению, могло пригодиться: и какие-то хитрые типографские упаковки, и пластик, и металл. Все это, разумеется, в производстве уже свое отслужило. Иной раз Ярослав приподнимет очки, погладит приношение, скажет:

— На даче бы мне пригодилось... Но дача — баловство, тебе там это будет нужнее. Бери!

Родом Валерий Александрович из Иркутской области, из деревни Большая Илимского района, когда-то крупной перевалочной базы купцов и путешественников, отправляющихся на восток. Усть-Илимское водохранилище затопило тридцать деревень, в том числе и родную деревню Валерия Слободчикова, повторившую судьбу ангарской Матеры, участь которой так щемяще-трогательно и больно описал Валентин Распутин в своей известной повести.

Вот откуда у Слободчикова, оставшегося без кровного места на земле, боль за пролетающие, как косой дождь, минуты, за человеческое сиротство, за прекрасный мир, который, несмотря ни на что, держит покуда нас, неразумных, на своих ладонях.

Родню, свои истоки, родные места, давно забытые многими, Валерий вспоминал очень часто. Издалека это идет, издавна.

В предисловии к своей самой первой книге рассказов он пишет: «Разные люди живут на моей улочке. Добрые, странные, веселые, грустные, но все они по-своему интересны. Не потому ли мама, провожая меня в дорогу, всякий раз говорила: “На письма не ленись, не забывай отчий дом, людей, среди которых вырос, помни, не чужие они тебе, ты с ними улицей нашей сроднился. А трудно будет, вспомни, что село наше стоит окнами на солнце”». Я уже цитировал это в очерке «Потерянные берега», но не грех и повторить...

— Семеновка очень напоминала Валере его «потерянные берега», — вспоминает вдова Слободчикова Людмила. — Чем? Сейчас трудно сказать. Может, отношениями между людьми, укладом жизни, черновой тайгой почти за калиткой усадьбы, Черепанихой с перекатиками и несметным количеством пескарей, редким изысканным хариусом...

...И потекла жизнь горожанина в первом поколении на новом для него месте. Приезжая к нему в гости, я разглядывал тот участок, который мы планиро-

вали под мой будущий дом, и знал: никогда здесь не будет моего дома. Я любил вглядываться в ночные горы, от которых исходила сила и таинственность, сидел во дворе до полуночного холода, а зайдя в дом, почти всегда видел на столе журнал, открытый на какой-нибудь странице «Псаломщика», романа нашего друга, вечного странника Николая Шипилова: «Молиться я не умел, но, видно, кто-то из мертвых молился за меня. После всего пережитого на баррикадах занятия литературой стали казаться чем-то вторичным, а наш брат писатель — докучливым болтуном. Мне стал омерзителен город-кладбище с его пирами и пирами, на которых стоял густой запах трупобной помойки. Как штиль, пришла опасная усталость. Мне казалось, что рассудок мой помрачен, и прекратилась сокровенная музыка в душе. Я слышал пустословие людей, которых еще вчера несчастный народ возносил, как знамя... Они партийно-классово и аппаратно-кассово всегда были близки к властям и жили в другом пространстве с его временем. Над ними не капало. Мне хотелось бежать из Москвы, как с чужбины, в долгое целительное молчание. Забыть сорные, утратившие смысл слова, перейти на церковнославянский язык, который пока еще не знали и не уродовали все эти егеря-загонщики, охотники до чужого. И я бежал, чтобы глаза не видели позора столицы, как позора матери...»

Валера не прожил в Семеновке и трех лет, хотя всё вокруг относилось к нему в высшей степени благожелательно — и природа, и люди. Молодой сад, разбитый им и Людмилой в просторной усадьбе — небывалое дело — начал плодоносить уже на второй год. Незначительные по численности соседи несли ему молоко, сметану, яйца, испытывая при этом мало кому понятное удовольствие, друзья привозили из недалекого Змеиногорска мясо. Сам он на второй сезон завел кур-бройлеров. Живи, радуйся, лечи душу, труди ее и голову, тебе на то отпущен талант от Создателя.

Но нет, очевидно, сходство Семеновки с его родной деревней Большой оказалось лишь сходством, дальше, глубже не пошло. Заскучал, затомился, все больше стал искуривать сигарет натошак, все больше чашек кофе выпивать по утрам, все дольше вглядываться в пространство за горами. Вернулся в город, но очень скоро понял, что и тут ему не место. Семеновка манила и отпугивала, город ждал и не жаловал. Так и погубили его эти двое, не оставив места на перекрестье дорог.

\* \* \*

Преклонный возраст, даже старость — не всегда повод или причина, чтобы не оказаться вдруг на распутье. Всякое случается. И раздумье в час роковой — куда пойти? — падает на седую главу, не щадя возраста, болезней, пренебрегая мудростью. И думается в этот час о многом, порой случайном, и многое не понимается — всю жизнь от корки до корки никому еще не удавалось объяснить.

У меня дома на стенах почти сплошь деревенские пейзажи, иных картин совсем мало. Да и те откочевали как-то сами собой в коридор. И что тут удивительного? Да, есть своя красота в живописной урбанистике, для кого-то даже преимущественная, но деревня с ее природой, с ее земной душой и неземной красотой, на мой взгляд, значит куда больше для художнического познания мира, для живого дыхания света во всем его многообразии. Сергей Шаргунов вспоминает, что Валентин Курбатов, замечательный русский критик и литературовед, говорил о книгах «русской античности», о писателях-деревенщиках, ухо-

дядиных вслед за деревней: «И ты все время вторгаешься в мир, и в тебе больше жизни, чем текста. Потому меня сегодня так ранит, что литература перестала иметь отношение к жизни, перестала быть жизнью, а стала только текстом. Мне просто тексты анализировать скучно, хочется, чтобы в них вставали рассветы, падали туманы, бежали животные, лаяли собаки, пели петухи... А они теперь этого не делают! Литература большого стиля, как можно назвать сегодня, — Астафьев, Распутин, Белов, Абрамов — были именами общенациональными. Ими можно было переключаться в ночи, этими именами. Все знали, о чем идет речь... О той мощной земной идее, которая там была. Эта земная идея держала мир да и нас, грешных».

Вот еще один мотив для меня, пускай не ровни по возрасту, но все-таки современника всех названных и неназванных представителей этого живого литературного мира! Я всех их знал лично, с некоторыми тесно общался, но главное — я рос, воспитывался на их книгах, я знал, что эта литература — одно из лучших явлений мирового искусства. Ушли, не оставив последователей, и это ввергает в отчаяние, сродное с потерей отчего дома, с безуспешными попытками обрести его. Ибо, став профессиональным литератором, понял одно важное: нужно, чтобы наши слова имели полноту, значимость, ясность и несли в себе все звуки, краски мира. Тогда им легче будет дойти до неба, соединяя с ним земную сущность. А иначе зачем нам слова?

Помню год двадцатилетия Победы — одна из первых командировок от краевого радио в село, меня, еще совсем юного, даже не зачисленного в штат, лютой зимой встречают на станции на санях-розвальнях, укутывают вместе с моим магнитофоном «Репортер-2» (громоздкой, неуклюжей, но все-таки портативной машинкой) и везут страху навстречу... Первые герои, первые поездки, первые журналистские материалы — всегда страх. В правлении колхоза поджидают председатель, секретарь парткома, оба фронтовики, один опирается на трость.

— Однако с войны ты первый такой гость из края по нашу душу, — встретил председатель.

«Из края» было подчеркнуто с особым значением, но я как-то все не мог почувствовать свою значительность перед этими обветренными, просмоленными годами и невзгодами, крепко скроенными мужиками.

— Ну что ж, — вступил в разговор секретарь, — давай-ка с морозу да за знакомство. — Он вытащил из сейфа бутылку. — Чистейший, без обману.

— Спирт? — уточнил я и тут уж испугался по-настоящему. — Я не умею, мне еще лет-то, не пробовал ни разу, — зачастил я.

Председатель с сожалением глянул на бутылку.

— Тут ведь как, приехал такой гость, выпил с нами, и вроде все пошло гладко. А нет — напишешь чего ни попадя, накопишь — то ли дыр у нас в хозяйстве не хватает...

Его простодушие усмирило мой страх, даже развеселило.

— Да нет такой задачи, уж поверьте.

— Ладно, давай устраивать тебя на ночлег, гостиниц у нас в селе, как сам понимаешь, нет. Пойдешь на постой. — И секретарю: — Прошлый раз этого, из района, к Надежде селили, вроде оба довольны остались. Во, а Нинка, телятница, однако помоложе будет, давай к ней, как думаешь?

И тут меня, едва отошедшего от первых страхов, опять заколотило. Это ж сватовство какое-то, сводничество! А они, быстро решив простой вопрос, уже



начали обсуждать, куда меня завтра везти, что показывать, с кем знакомить. Что поделаешь, оставалось смириться.

...Хозяйку, как я понял, ко времени моего прихода уже оповестили, она приветливо распахнула дверь в дом, сама задержалась в сенях с парторгом.

— Нина Васильевна, — представилась и тут же захлопотала около стола.

А меня трясло, колотило, я не знал, куда девать руки, ноги, они казались мне чужими, лишними.

— Все готово, — сказала хозяйка, приглашая к столу.

А на чистой, крахмальной до хруста скатерти — как положено тому быть: дымящаяся картоха, огурцы, капуста, сало, грибочки. Я устроился за столом, боясь поднять глаза, но все-таки успел разглядеть густые темно-русые волосы, собранные на затылке в узел, румянец, ямочки на щеках. Женщине было немного за сорок, чистая, опрятная, со светлой кожей и ясными глазами. Много таких лиц видел я впоследствии, разъезжая по деревням и селам, — женщины, оставившие молодость войне, все еще привлекательные, полные сил, здоровья и женской жажды продлить себя. А она все поняла, да и знала изначально.

— У нас же в каждом доме по вдове, — говорила, устроившись напротив меня, — у кого-то ребятишки подросли, трудятся за взрослых мужиков. А нашей ровни совсем нет, там осталась.

Я пригляделся, на ней была блузка точь-в-точь как у моей мамы, и движения чем-то были похожи, и голос. Да и возраст сходился. А она продолжала, улыбаясь:

— Вот наши добрые руководители и стараются для нас: как кто появится — в дело его, поздних молодок усладить. А то, глядишь, и работников на будущее оставить. Ты не тушуйся, сынок, мне ничего не надо.

В доме было тепло и в то же время свежо и чисто. Свежестью дышали кружевные подзоры, салфетки, покрывала и занавески на окнах — все, как мне показалось, ручной работы. Она расспрашивала меня о родителях, о доме, о городской жизни, спросила, сколько лет моей маме. В какой-то момент она не сдержалась, заплакала, тихо так, укромно. В тот раз глаза мои были сухи, я плакал вместе с ней намного позднее, повзрослев, поняв цену одиночества, на которое обрекли человека не по своей воле.

Утром я уходил от нее по зимним тропинкам, которые тянулись вровень с крышами, помню, в одном месте даже перешагивал провода — вот сколько снега намело в ту зиму... Я шел и думал, что хорошо, наверно, жить среди этих замечательных людей, простых и добрых, открытых и приветливых.

\* \* \*

После войны мой дед Михаил, эвакуированный в блокаду с семьей (жена его, две дочери, внучка) из Ленинграда, нашел способ откормить исхудавших своих женщин, приобрел домишко в недалекой от города деревне. С апреля и до ноября он, бабушка, моя сестра, я и появившиеся вскоре еще две внучки жили в деревне на вольных хлебах и на чистом воздухе.

Кармацкое стоит на удивительном месте — с трех сторон закрыто бором, с четвертой протекает речка без названия, просто старица. Когда-то здесь была вырубка под лесной кордон, потом к хозяйству лесника приросли другие дома. Никогда здесь не было ни колхоза, ни совхоза, трудоспособный народ не сеял, не пахал, а ездил на работу в Новоалтайск и Барнаул, старики держали скотину, огороды — тем и жили. Соседей мало помню, разве что дядю Гришу, весело-

го матерщинника, потерявшего ногу на войне. Он был единственным случайно оставшимся в живых из тех, кто ушел отсюда на фронт. Жена его, тетя Дуся, приходила к нам прятаться, когда дядя Гриша, выпив, начинал военные действия в доме, а затем на улице. У других ей от него не спрятаться, только у нас. Деда фронтовик побаивался и даже не матерился в его присутствии, хотя вряд ли знал, что дед когда-то пел в церковном хоре и сквернословия не переносил. Мы брали у них молоко. Бабушка строго следила, чтобы успевали к парному, каждый обязан был выпить по кружке. Иногда сестре, которая терпеть не могла молоко, удавалось обмануть бабушку, и я с удовольствием выпивал вторую.

Жизнь наша в деревне проистекала размеренно, по строго заведенному порядку и нисколько не походила на дачную. Благо, повторюсь, мы тогда знать не знали, что это такое. Огород подсказывал, что и когда нам делать — полив, прополка, прореживание, протяпывание... В лесу то же самое: все в свое время — поспела земляника, следом клубника, малина, смородина, а там и грибы пошли. Собирали все это не забавы ради, в зиму готовили соленья и варенья на дюжину добрых едоков.

Лес рубить в округе строжайше запрещалось, деду, как городскому, дрова не выписывали, потому мы заготавливали сушняк. Дед придумал специальный шест метров семи, на конце крюк из стальной полосы, остро заточенный с внутренней стороны. Подойдет к сосне, поднимет шест, надсечет сухую ветку у основания, затем передвинет крюк подальше от ствола. Дёрг! — и ветка на земле. Запрета на такую заготовку топлива не было, да и дереву от нее никакого вреда.

Когда наберется возок, погрузим ветки на телегу, взятую вместе с лошастью у лесника, и я отправляюсь домой. Дед остается заготавливать ветки на следующую ходку, а умная скотинка трогает сама по себе не спеша, дорогу знает. Бабушка, старшая сестра и я разгрузим телегу перед воротами, и поехал я назад, к деду в лес. Сухая сосновая ветка горит как бумага, к тому же дед во всем любил запасец, потому ездить за сушняком нам приходилось часто и с каждым разом все дальше.

Но самое суровое испытание для меня — дальние походы на несколько дней. Никуда не денешься, я у деда помощник один. Бабушке дома забот хватает, девчонки вообще не в счет. Кто собирает в поход рюкзаки, кто повозки, а мы с дедом — лодку. Водружаем ее на специально придуманную тележку и затариваем скарбом — рыболовные сети, удочки, садки, прочие снасти, сумки, ведра, корзины... И отправляемся вдоль берега, лугами к Мыльниковской яме, к дальним озерам, во множестве расселенным между Обью и старицей. И так получалось, что мы на лодке меньше плавали, чем таскали ее по суше. Был у деда какой-то резон в том, несомненно был, напрасно силы тратить он не станет. Привозили мы из тех походов рыбу, уток, которых дед ухитрялся ловить с помощью старой сети, а нет — охотничья собака Пальма натаскает. Ведрами набирали смородину, ежевику, пучками — травы для ароматных чаев, чтобы деду веселее было коротать долгие зимние вечера. Впрочем, зимой он был занят не меньше, чем летом, — вязал сети, налаживал другие рыболовные снасти, рубил свинец и катал из него дробь, снаряжал патроны. По возвращении мы с Пальмой соревновались — кто кого переспит, только выигрывала всегда она, потому что мне надо было подниматься и качать ручным насосом воду на полив, бежать к леснику за лошастью или идти ворошить сено на лесных полянках, выкошенных дедом. Скотину дед с бабушкой не заводили, и сено шло дяде Грише в оплату за молоко.



Так и жил я и здоровел на деревенских харчах, на работе, на напитанном травами и соснами воздухе. После армии, оставшись в родном городе один, я кинулся в Кармацкое, которое осиротело для меня без ушедших навсегда дедов. Купил на заемные деньги подходящий домик с хорошим участком, выбирая, чтобы поближе к тому, дедовскому. Помню, гордился собой несказанно: совершил, к памяти родовой приблизился! Сажал огород, жил неделями, а то и по месяцу, уезжая по утрам на работу. Утро, надо сказать, начиналось рано, нужно было протоптать лесом четыре километра до станции, чтобы успеть на электричку.

Я шел и думал: вот уйду на пенсию и не надо будет ходить этак каждый день, поселюсь основательно и обязательно заведу собаку. Черную такую, лохматую, с желтыми подпалинами, дворнягу, в общем, но чтоб была большая, сторожила. Таких раньше любили рисовать для детских книжек. Со мной по лесной дороге тянулся редкий хвостик таких же работников. Шли дни, и хвостик все таял и таял, пока не истаял совсем. Кончился трудовой поселок Кармацкое, на его месте начало разрастаться престижное дачное место. Когда рядом со мной завела хозяйство дочь первого секретаря крайкома партии, я понял: мне тут делать нечего.

Забегая вперед, скажу, что из Кармацкого я перебрался в Фирсово, тоже недалеко от Барнаула поселок, впрочем, там жили тогда в основном работники крупного совхоза, отделением которого и был поселок. Это уже был семейный переезд, а участок с домиком-развалюшкой подыскал тесть. Был веселый огород, были грибы и ягоды, и за ними не надо было ходить далеко: все угодья в пределах пары километров. Хорошо мне было там — рыбалка, грибы, ягоды — все щедро дарила природа. Родился сын, и ему лето в деревне с бабушкой-тещей — во благо, построил я новый дом, баню, гараж. И даже присмотрел местечко на кладбище среди сосен, красивое там кладбище, лесное. И ничто, казалось бы, не могло мне помешать остаться здесь до дней своих последних, но...

Было поначалу стадо коров, пылящее по дороге мимо наших ворот, — не переждать, не счесть разом. Но со временем так же, как людской хвостик из Кармацкого, таяло оно день ото дня. Следом, а вернее, вместе с ним истаяло и местное население, уступив свои дома и участки сначала дачникам, а затем и целому жилому пригородному комплексу с централизованным водо- и газоснабжением. Но, честно скажу, не город, не горожане, пожелавшие сесть на землю, выгнали меня. Увы, бывают обстоятельства другой, куда более страшной силы. Остались мы с сыном одни, и надо было как-то по-иному устраивать жизнь. Дача в это устройство не вписывалась.

Но я действительно забежал вперед...

\* \* \*

Поселок Вавилон Алейского района. Задание редакции ни в коей мере не соотносилось с этим экзотическим названием — тогда боевой комсомол додумался бросить клич в ряды сельской молодежи: девушки на трактор, на комбайн! Большой глупости трудно придумать, потому как тракторы и комбайны тех времен производились точно не для женщин — даже мужики зарабатывали на них язвы желудка, грыжи и радикулиты (мой друг писатель Евгений Гуцдин написал в знак протеста вслед этой глупости повесть «Венок с полыньей», за что был нещадно бит официальной прессой). Однако и деваться было некуда — демография... А что такое эта самая демография по-вавилонски — я узнал в день своего приезда.

В дом секретаря местной комсомольской организации по одной сходились девушки из тракторной бригады. Шла зима, и пока что многие из них учились на курсах механизаторов, организованных прямо здесь, в поселке. Девчонки — яблоки наливные от красавиц-матерей, пышущие здоровьем, молодостью, бодростью. А в глазах что-то не то, тягостное и в то же время ждущее, надеющееся, и это сочетание тревожило, беспокоило.

— Что ж вы так, с железом обниматься? Работы другой нет?

— Обниматься нам и вправду больше не с кем, а работа... Вот Вера работает в библиотеке, Раиса кино нам показывает в клубе, Лиза музыкальный работник. В сезон все пойдем на трактора, комбайны, хлеб — он ждать кого со стороны не будет.

— Что, совсем парней нет?

— Ни парней, ни мужиков.

Народу набралось немало, и тут началось нечто невообразимое. Каждая принесла с собой бутылку, а то и две, пили жестко, мужской мерой, будто бы соревнуясь. И все подливали друг другу, не сводя глаз с меня. Мой стакан и меня вместе с ним щадили, видимо, рассчитывая на что-то. А когда каждая поняла, что подруга рухнет не раньше ее самой, попытались спить меня. И глаза уже говорили другое: а не достанься ты никому!

...Наговорили за тот вечер девчонки много всякого, интересного в том числе — о судьбах родительских и своих, о деревне, о земле... Репортаж получился большой, забойный, хотя радостью перспектив не сдобренный — я тогда учился не врать, что было весьма трудно на фоне комсомольских призывов.

А в душе все равно оставался непотушенный огонь, просто какой-то пионерский костер, возле которого младшие братья комсомольцев бодро отчитывают речевки: вот брошу все, поеду учиться на тракториста, женюсь на киномеханике Раисе, буду жить в Вавилоне! Слышите, не где-нибудь, в Вавилоне, тезке первого мегаполиса в истории человечества! Надо же кому-то нести мужскую силу на землю русскую!

\* \* \*

В селе Топольном Солонешенского района мы с соседом, таким же безнадежным горожанином Сашей Андреенковым, построили за время своего трудового отпуска здоровенный склад. Стоит до сих пор, я проезжал, видел, четыре десятка лет простоял. Хорошо, стало быть, построили, не стыдно.

Но к этому месту почему-то не припало сердце, может, потому, что работа была чересчур тяжелой, все на руках, на пупу, может, из-за непроглядной мороси и хляби, донимавших нас весь месяц. Но все же район не обошел меня стороной, не оставил без привязки необыкновенной красотой своей, разнообразием природы. Кто не бывал, рискните обязательно, не пожалеете, доберитесь до водопада Шинок — семьдесят с лишним метров падающей воды среди в общем-то невысоких гор! Спуститесь по трудной тропе к камням, о которые разбиваются падающие струи, искупайтесь под этими струями — и все, вы пропали, стрелы Амура напитаны не только женскими чарами!

А еще, и это, пожалуй, самое главное, что притянуло меня к Солонешному, — переезд туда одного из ведущих кинооператоров Алтайского краевого телевидения Александра Швецова. Успешный телевизионщик, получивший два

высших образования, снимается с места и отправляется к себе на родину, становится пасечником — и тому уже почти сорок лет миновало! Александр — принципиальный новопоселенец, он снимает фильмы о пчеловодстве, пишет книги о пчелах и об истории деревни. Он сделал свой окончательный выбор. И вот что пишет мне: «Читаю я своего деда В. Н. Швецова и понимаю, что все паскудства начались в 1917 году. Русские деревни уничтожались тюрьмами и расстрелами, бардаком и головоотяпством. А вот так дед мой В. Н. Швецов заканчивает свой рассказ о глухой сибирской деревушке, в которой до советской власти проживало около полутора тысяч человек, а сейчас осталось 173 человека: “В своих воспоминаниях я не буду умышленно что-то прибавлять, чего не было, не буду скрывать, что было. Если где-либо в чем-то была допущена ошибка, которая принесла не пользу, а вред, об этом замалчивать нельзя. Следующие поколения должны знать о прошлой жизни, не допускать в устройстве общества ошибок. За последние пятьдесят лет лицо деревни совершенно изменилось. И надо сказать, что с точки зрения экономической изменения произошли далеко не в лучшую сторону. Если районные центры растут, то повсеместно уже исчезают деревни и поселки. Количество населения с каждым годом становится меньше. Ведь в Тележихе до революции было около четырехсот хозяйств, а на 1 января 1970 года осталось только сто семьдесят девять дворов. Было только мужского пола детей и юношей от 12 до 25 лет — 209 человек, мужчин от 25 до 50 лет — 314 человек, стариков от 50 до ста и выше — 110 человек. Значит, всего 633 мужика, не считая мальчиков до 12 лет и людей женского пола. На 1 января 1970 года всего населения осталось пятьсот девяносто восемь человек. Коров в селе 123 штуки, лошадей три, овец 425, свиней 131 — это в личном пользовании. Не так много и совхозного скота. Против старого времени всего не более десяти-пятнадцати процентов.

Гибель деревень — это беда, которую мы еще до конца не осознаем. Очевидно, что в наших законах или в управлении что-то не доработано, а быть может, “переработано”. Было одиннадцать мельниц, а сейчас ни одной, и печеный хлеб возят на тракторе из Солонешного за двадцать километров ежедневно. Ликвидированы вокруг Тележихи поселки, разломаны и сожжены все пятьдесят заимок. Все это рушить не было необходимости. Кто виноват?»

Это дед написал в 1975 году. То же самое происходило и с полусотней других исчезнувших деревень в нашем районе. А сейчас оставшиеся влачат жалкое существование. Еще раз повторюсь — если бы не совковая власть, то у наших деревень не было бы причин гибнуть на протяжении жизни всего одного поколения. У нас в деревеньке был краснознаменный специализированный пчелосовхоз “Садовый”, он просуществовал более тридцати лет (1970—2000). Там “трудилось” около двухсот работников. Человек пятьдесят пасечников с помощниками, мощный управленческий аппарат, начиная с директора, его зама и секретарши, куда же без нее, пяток главных специалистов, обширная бухгалтерия, завотделом кадров, ну и, конечно же, секретарь парткома, секретарь комсомольской организации и профорг. Эти дармоеды получали приличную зарплату.

Ежегодно пчелосовхоз заготавливал в среднем около двадцати тонн меда. Я не задумывался — много это или мало. Только знал, что мед в стране можно было купить по большому благу. Но когда начал сам пчеловодить, то получение со своей пасеки по две тонны меда за сезон стало обычной нормой. И так, две тонны получает один человек, двадцать тонн — десятеро. И возникает вопрос: а зачем же в “Садовом” “работало” еще сто девяносто “трудящихся”?»

Чтобы любить деревню, свою родную, незаменимую, совсем не обязательно любить власть. Швецова никто не звал назад, на родину, никто не помогал. Сам, все сам — и ума набрался, и профессионалом стал. А мед у него — лучшего я не едал.

\* \* \*

Я хотел навсегда остаться в деревне Вяткино, где настигла меня любовь к Елене Прекрасной, царевне среди нелегкого деревенского быта, изо дня в день гасившей, но так и не погасившей сияние своей счастливой улыбки и нежности во всем облике рабской работой дояркой. Это был необыкновенный цветок из иномира, и дело не только в том, что мне, влюбленному без ума, так казалось, — подруги так же смотрели на нее, завидуя, восхищаясь и понимая: обидеть ее нельзя какой-то злой завистью или недобрым словом. Так живут среди нас посланники небес...

Муж Елены пил беспробудно, бил ее, расхоронившись, — очевидно, бесила та самая ее небесная значимость, жгла сердце, не давала ему покоя, не вставала вровень с его пониманием обязанного подчиняться ему существа... В деревне вряд ли что можно утаить (надолго, во всяком случае), поэтому дважды он стрелял в меня из дробовика, слава богу, рука пьяницы подводила его.

Мы ремонтировали в Вяткине котельную, тянули теплотрассу, мне, неквалифицированному, больше всего приходилось работать ломом и лопатой — нелегкий труд. Товарищи мои с сочувствием и пониманием относились к моей любви, прятали усмешки, когда я, едва приведя себя в порядок после трудового дня, мчался к ней. Девчонки, приехавшие в Вяткино на работу после сельхозтехникума, отвели в своем общежитии для нас крохотную клетушку, спрятанную среди прочей жилплощади за фанерными перегородками. Нам хватало места, мы любили друг друга, не обращая внимания на тесноту и усталость. Я купался в ее густых льняных волосах, наслаждаясь удивительной свежестью тела, мягкостью рук, жаром объятий.

— От тебя пахнет молоком, — говорил я.

— И навозом, — смеясь, добавляла она.

— Нет, — не соглашался я, и это было правдой. — А еще — молодыми березовыми листочками.

Каждое утро нас будил девчоночий крик из-за стенки:

— Лена! Опять проспала! Машина уже под окнами, сигналит!

И она стремглав мчалась на утреннюю дойку, а я досматривал свои счастливые сны.

У нас оставалась еще работа внутри котельной, и к тому времени я твердо решил: буду здесь жить. В городе меня никто не ждет, жилья нет и вести мне ее некуда. Профессии нет — так я всегда могу устроиться скотником, навоз грести из-под скотины — на это желающих немного.

Надумал вроде бы всерьез, пришел к ней с разговорами о своих планах. А она:

— Ты все равно уедешь, не сегодня, так завтра, не удержишь орла в конюшне. А разводиться — у нас в деревне такого не было отродясь, не мне же начинать. Да и пропадет он без меня, как отмаливать потом за погубленную душу?

— Лена, он же себя уж давно погубил, погляди, полчеловека не осталось!

— Полчеловека тоже человек. Не люблю я его, сам знаешь, любила б — не припала бы к тебе, двое тут не поместятся.

Она притронулась к своей груди, спокойно посмотрела на меня, без слез, без смятения, но за этим спокойствием, за этим чистым взглядом я уловил такую тоску, такую безысходность, что сам не сдержал слез.

— Лена! Как же я? Как мы? Как вообще?

— Ты уезжай со своими, в свой город. Пока ты здесь, я вся твоя, до последней кровушки, до маковки, до ноготочка! А там — уезжай!

Так и случилось. Наши последние сумасшедшие дни, полные огня и безрассудства, ничего не изменили. Долго болела и маялась моя душа, долго я обнимал подушку, не успевающую просохнуть до следующей ночи, но придумать, как отвоювать у этого жестокого мира свою любовь, не мог...

Прошли годы, прежде чем я понял, насколько она была права.

Я мчался по жизни, не успевая надолго припасть к одному месту, сбился со счета, пролетая города и деревни со скоростью, объяснимой безудержной молодостью, жадностью познать и неумением узнать по-настоящему. Сначала прочитал, а лишь много позднее вник в смысл страданий Владимира Башунова:

... Земля моя!  
 Размытый образ детства!  
 Куда нас и какая гонит прыть?  
 Все не хватает времени взглядеться,  
 приблизиться, присесть, поговорить.

Забывтый след. Растерянное братство.  
 Кому пенять, как не себе пенять?  
 Все не умеем с мыслями собраться,  
 прислушаться, почувствовать, понять.

Железный поезд мчит не уставая.  
 И, отставая, тянется ко мне,  
 не узнавая и не доставая,  
 земля моя,  
 бегущая в окне.

\* \* \*

Я хотел навсегда остаться рядом с двумя Викторами, Сапожниковым и Кривошляповым. Оба жили под сенью одного сельсовета — Войковского. Один — председатель этого самого совета, другой — руководитель фермерского хозяйства. Когда все и вся в Шипуновском районе, как и во многих других, развалилось, потянулись к Кривошляпову руководители павших хозяйств: возьми к себе, Христа ради!

— Скажу честно, — признавался позже Кривошляпов, — взял всех с большой неохотой и вложил огромные средства, чтобы ввести их в хозяйство, в производственный цикл. В том, что мы объединились, большая заслуга главы сельсовета Виктора Сапожникова, уговорил, убедил, чуть не на коленях просил.

Да, два Виктора Александровича не без труда, но нашли общий язык. Может, им яснее других непреложное правило: нет производства — нет ничего прочего, сама жизнь может остановиться.

— Я зубами скриплю, но даю работу этим дополнительным двум десяткам человек. Пусть они хоть что-то заработают. Да, они разгильдяи, да, больше месяца не могут продержаться, не сорваться, не запить, но у них трое сопливых

ребятишек! Но они для себя получают хоть сено, зерноотходы — все в семью! Бизнес, общаясь с местной властью, говорит: есть у вас 131-й закон, вот вам налоги, занимайтесь дорогами, похоронами... Но денег нет, нечем наполнить казну по этому самому закону, особенно в малых селах. Люди-то в основном живут возле какого-то хозяйства. Дровишек привезти, уголька, соломы...

Кривошляпова всерьез беспокоят разговоры о крупном бизнесе, входящем в село, о грядущей реорганизации сильнейших хозяйств района.

— Для чего? — размышляет он. — Чтобы легче было продать? А что будет с деревнями, с людьми, населяющими их? Да, технологии в сельскохозяйственном производстве нынче таковы, что можно приехать на поле издалека, за сутки его засеять и оставить наместника в палатке. Или просто сторожа. До уборочной. Люди за всем этим не подразумеваются, разве что — единицы. Я здесь родился и помирать здесь буду. Если из-под меня землю выбить, зачем мне техника, которую я приобрел? Не ради же самой этой совершенной-пресовершенной техники и технологии я это делаю! Никакой приезжий, для которого земля всего лишь товар, не возьмет на себя социальную ответственность и нагрузку, чтобы деревня нормально жила.

\* \* \*

По правилам нашего прагматического века можно и даже нужно вычистить из жизни лишнее — пустующие деревни, не приносящие большого дохода производства, людей, не умеющих организовать себя, многое другое, не дающее выгоды. Но как, скажите, быть с излучиной Чарыша возле Кособокова, с открывающимися взглядом со взгорья над селом великими просторами почти до самых Алтайских гор, с бором, что темнеет неподалеку от села, с многочисленными озерами, разбросанными по округе?

Особый разговор — о местном боре, носящем название Чупинский. Поименован он по селу Чупино, которое долго умирало у всех на глазах, да вот и умерло. А бор жив, да еще как жив, ежегодно прирастая новыми участками. И не рубят его, как это с бессердечием делают практически во всех лесах Алтая. Не дают здесь баловать лесорубам и прочим пользователям леса. Вот и получается, что лес сохранить легче, чем человеческое поселение, чем самих человек удержать возле земли.

А красота вокруг! Дальняя деревня сельсовета Воробьево стоит на берегу Чарыша. Написал и задумался: какой там стоит! Падает! Да что ж не жить-то здесь — богатая рыбой река, сена для скота — не укусить двумя колхозами. И какие травы, вы бы видели! А за рекой, подалее, толпятся горы, и не совсем далеко вроде — а дойди!

Несколько раз приезжал я в Воробьево — и один, и с друзьями, перезнакомился почти со всей деревней. Как ни бей этих людей жизнью, как ни испытывай судьбой, ни гни через колено — трудяги и дети по нраву, доверчивые, отзывчивые, незлобивые.

Какие праздники были в Воробьево! Помню, в жару лютую, насидевшись за столом, зашли мы в реку по грудь и ну давай песни петь. И сколько же их вдруг вспомнилось — старые, поновей, родные, русские. Глядь — люди к берегу от села подтягиваться начали, услышали — концерт!

И вот оно решение, уже наготове, дома кирпичные, деревянные — бери не хочу. И цена — мой месячный гонорар в газете! Заходи, живи на здоровье.

Обхожу я с провожатыми из местных все эти пустующие жилища и глазам своим, ушам своим не верю: задарма отдают — а не надо! Никому не надо,



ни-ко-му! Мои провожатые виновато поглядывают на меня, будто это их не-радивость, их личное неучастие виновны в том, что улицы поредели, усадьбы позарастали дурниной. А я смотрю на них и думаю: кто же кого держит в этой жизни, деревня вас или вы из последних силушек — деревню?

...Не случилось мне обосноваться и здесь, протащила судьба мимо и погнала дальше.

\* \* \*

...Дальше, через деревню Красноярку, где после выступления перед сельчанами и последовавшего сытного домашнего стола мы отдыхаем в ожидании деревенской бани. Мы — это я и земляк, приехавший из Москвы, Михаил Борисов, поэт-фронтовик, герой, подбивший в бою под Прохоровкой восемь фашистских «тигров». Вот мы прислонились к заборчику возле усадьбы местной певуньи Катерины, курим.

А из колокола над головами разносится по деревне песенка: «А мне вчера приснился крокодил зеленый, зеленый-презеленый, как моя тоска...» Но не тоска, а какая-то сладкая изморозь разнежила, потянула меня говорить и говорить этим людям, перед которыми только что выступал. Говорить уже совсем другое, припасенное, припрятанное в самом укромном уголке души.

...Дальше, мимо Покровки, где мы строили кормоцех, живя в вагончике на отшибе. Где я с бригадой отмечал свое тридцатилетие, и в гости к нам пришли местные девчонки. Юные, свежие — кровь с молоком! — они не знали, как им жить дальше, для чего. Последний их одноклассник разбился на мотоцикле, остальные — кто сбежал в город, кто спился.

— Ладно бы — ровесники, да не осталось вообще ни одного путного мужика, — печалится черноволосая красавица Таня, — рада бы согрешить хоть с кем, хоть кому — нате! — да не с кем.

— Для кого ж все это? — указываем мы на объект, который строим. — Кому здесь работать?

— Механизация! — усмехается Таня. — На кнопки-то нажимать и бабы смогут. А может, и придет кто, — без особой уверенности заключает она.

И такое внезапно открывшееся мне близкое родство с этими девчонками в тот вечер наполнило меня! Вот ведь тридцать лет отмечаю, как-никак возраст, у сверстников уже и семьи, и прочее устройство в жизни определилось, — а тут ни угла, ни пристанища. Юбилей в вагончике посреди леса!

— Оставайся, — просто сказала Таня.

— Приеду, — ответил я в полной уверенности, что так и будет, вот только закончу дела...

...Дальше, мимо села Моховского, где местный чудак и поэт Илья Барков разводит австралийских курочек с ладошку величиной, выращивает маки и тюльпаны, забывая поливать огурцы, выпускает забытые всеми «Боевые листки», где клеймит позором пьяниц и бездельников. Ходит встречать рассветы на озеро и плачет от любви и нежности, обнимая расцветшую вдруг черемуху.

...Дальше, мимо села Контошино, которое держат на своих плечах фермеры. Один из них, ставший мне другом, Владимир Устинов, научившись сельскохозяйственным премудростям в разных странах, теперь учит сам и канадцев, и американцев, и немцев, и даже, представьте, индусов. Он снимает урожай зерновых в четыре раза выше, чем у остальных в округе, работники у него получают нормальную зарплату круглый год без сезонных перебоев и ездят отдыхать за счет хозяйства.

А его и жену изуродовали бейсбольными битами напавшие на дом по приказу высокого начальства веселые хлопцы из специального подразделения — за несогласие с этим самым начальством, за непокорность. Так и вижу его сидящим на табуреточке перед собственным домом в августе 1991-го — в руках двустволка, а в карманах патроны, предназначенные тем, кто пообещал прийти и отобрать у него хозяйство.

— И для тебя найдется! — кричит он появившемуся у калитки участковому.  
— Да ты что, Игоревич, я ж с тобой! — шарахается в сторону тот.

\* \* \*

Я могу длить и длить этот список. Однако со временем попытки отыскать себе место в наилучшей из деревень, пусть небогатой, даже совсем нищей, но отзывающейся во мне хотя бы малой ноткой далекого родства, уступили место простому любопытству к жизни приземистой России, ее населению. Нет, во мне до сих пор сохраняется желание, даже мечта найти последний приют перед уходом за облака в тихом уголке возле сосен и говорливой речки...

И однажды такая вот деревенька, деревенька-мечта с соснами и речушкой нежно прижала меня к себе, погладила по голове и сказала:

— Твой дом не здесь. Видишь, холмики на взгорке, совсем заросли и почти сровнялись с прочей землей? Их дети давно позабыли сюда дорогу, и ничто не вернет детей сюда. А для тебя они пововсе чужие, не надо тебе беспокоить их. — И, легонько подтолкнув меня в спину, направила: — Иди домой!

...Деревня — мать человеческая. Болит у матери — болит у каждого из ее сыновей, да не всякий про то узнает, почувствует, распознает волнами прошедший однажды озноб или легкий укол в груди. Можно память свою научить многое забыть, но что наша память по сравнению с памятью земли, которая едина и знает про всех живших когда-то и живущих ныне, знает каждым нервом своим, каждой клеточкой?.. И надо же — еще и любит!

Сказано Валентином Курбатовым: «Сегодня мы стали однодневны и так стремительны, что у нас как будто нет позади истории и впереди ее нет. Мы живем только сегодняшним днем и тем кратким плоским мгновением, как фотография со вспышкой. Я скорблю из-за нарушаемой целостности, непоследовательности русской истории, что мы так капризно движемся и не можем найти себя».

...Да, я горожанин, и никуда мне от этого не деться. Но как спрятаться, как уйти от неустанного древнего позыва, от того, что было тобой когда-то и пребудет вовеки пусть самой тонкой, самой незримой нитью?

Разглядел же Башунов:

Все дальше,  
все тоньше,  
все чище  
детская плачет душа.

Ночами проходит, пролетает череда встреченных лиц — памятных, забытых, полузабытых. А то и не лица — кресты, пирамидки да печные трубы над бурьяном. Суха моя подушка.

Но чу! Скрипнула где-то калитка...

Валерий КОПНИНОВ

## ЛЕТЯЩИЕ ЛИНИИ

То, что принято называть личным багажом художника, при ближайшем рассмотрении производит впечатление набора в стиле практичной эклектики, словно дамская сумочка, что зачастую наполнена совершенно разнородными, но на поверку — крайне необходимыми вещами.

Чего там только нет, в этом багаже художника! И образование (на первом месте), и мировоззрение (со следами полученного образования), и опыт (сын ошибок трудных), а еще — умение чувствовать музыку, исходящую от людей и предметов, улавливать ассоциации, понимать красоту природы при любой погоде и в любое время года, различать ритмы стихов и прозы... Все это копится, соединяется, прорастает одно в другом.

Когда же врожденные и благоприобретенные качества личности художника становятся единым целым — приходит тончайшее понимание магии цвета, владение выразительной графикой линий, точность выбора исключительной необходимости использования той или иной техники — это как минимум, а как максимум — рождается неповторимый авторский стиль. Таков субъективный путь художника к мастерству — к тому мастерству, что бесценно и незаменимо в творческом процессе. Но и это еще не все!

Результатом (во всяком случае, желанной целью) творчества, как правило,

становятся большие и малые художественные открытия. И неизбежность этих открытий не является парадоксом, более того — она существует в рамках следования объективным законам гармонии.

\* \* \*

«Гармония того требует!» — так Моцарт в фильме Милоша Формана объяснял Сальери свое волшебное умение, создавая музыку, блестяще распорядиться обычными семью нотами, доступными для всех. Все просто — «гармония требует»...

А за этим — мастерство художника, помноженное... Да на что хотите помноженное: от субъективного вдохновения до объективного волшебства!

Гармония того требует — именно так можно обозначить (и объяснить) одновременную ясность мысли и виртуозность формы в картинах, в куклах, в театральных костюмах — во всем, что является творением рук барнаульской художницы Ольги Поповой. Конечно, листая альбом ее работ или переходя в выставочном зале от одной картины к другой, не поминаешь ту самую гармонию всуе. Но именно следование художницы требованиям гармонии делает восприятие ее картин естественным. Таким же естественным, как дыхание.

Работы Ольги Поповой не заставляют зрителя ломать голову в поисках

тайного шифра — стоит только захотеть, и они расскажут все сами: иногда — особым порядком линий, этой разветвленной сетью сосудов, обеспечивающих «кровообращение» картины, иногда — скрытой мелодией, сотканной из тихого шума дождя и шелеста листьев и запечатленной на бумаге обычной гуашью, иногда — рождающимся из ниоткуда неистребимым запахом полыни, когда в букете сухих веток осеннего натюрморта дышит бескрайним травяным полем сибирская природа.

По большому счету, художником, конечно, нужно родиться, но это только шанс. Талант милостиво дается свыше, а все остальное — работа.

Ольга Петровна Попова родилась в городе Новоалтайске и первый, еще детский шаг в профессию сделала там же, в родном городе, в десятилетнем возрасте, когда «пути неисповедимые» привели ее в изостудию известного художника-педагога В. Н. Стволова. Затем были уже более осмысленные и целенаправленные шаги — обучение в ДХШ г. Новоалтайска и в Новоалтайском художественном училище по специальности «преподаватель рисования и черчения». А далее судьба складывалась так, что, казалось бы, вводила Ольгу из мира искусства. Казалось бы...

Биография Ольги Поповой насыщена интересными (и в конечном итоге — судьбоносными) поворотами: сначала работала художником-оформителем в «Новоалтайторге», затем из Краевого дома моделей «Алтайкрайшвейбыт», куда пришла в 1980 г. на должность художника-консультанта, получила направление на учебу в Омский институт бытового обслуживания населения РСФСР, а в 1986 г., успешно защитив диплом по специальности «художник-модельер», продолжила работу в Краевом доме моделей.

Богатейший опыт моделирования одежды на промышленных предприятиях оказался очень кстати, когда в 1989 г.

Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина пригласил Попову на должность художника по костюмам — Ольга согласилась, и с 1989 по 2013 г. ею было оформлено семнадцать спектаклей, причем последний («Дорогие мои бандитки», 2013) до сих пор идет на сцене.

Еще одно увлечение Ольги Поповой — авторская художественная кукла.

Профессиональным же «увлечением» стала для Ольги работа — ровно двадцать лет она преподавала различные дисциплины в Институте архитектуры и дизайна АлтГТУ.

«Самое интересное в характере творческого поиска этой художницы то, что она, переходя на другую работу, ничего не теряет, вводя в активный потенциал уже наработанное», — подметила одну из важнейших черт характера Поповой кандидат искусствоведения Людмила Лихацкая.

Активный потенциал Ольги Поповой — умение работать с многослойной тканевой фактурой, способность чувствовать ее глубину, понимание динамики силуэта как линии в развитии — предполагает осознанность поисков и действий при построении чувственного и материального образа театрального костюма, существующего исключительно в условной среде сценического пространства.

Этот активный потенциал, долгие годы складывавшийся из многих профессиональных составляющих, и есть тот золотой ключик, открывающий доступ к «цветной графике» — так художница сама определила жанр, в котором работает. Именно эта техника дает особый простор для эксперимента и свободного самовыражения, основанного на мысли, на идее — идея в произведениях Поповой первична, но не в виде точной формулы, а как исходная точка впечатления, чувства.

«Энергия может выходить из художника, воплощаясь в абстрактные фор-

мы, — делится опытом Ольга Попова. — Откуда берется абстракция? Это когда не успеваешь подумать, что ты хочешь нарисовать, идея еще не выносилась, а рисовать уже хочется!»

\* \* \*

Ну разве можно быть птицей и не летать? Летать не по необходимости, а так, для осознания полета, чертя в небе собственным телом замысловатые линии...

Одну из своих персональных выставок Ольга Попова назвала «Летающие линии», и искусствоведы говорят, что сочетание линий и цветовых пятен действительно основной прием графики Поповой. Это ветви, стебли и лепестки, немолимо меняющие желаемое движение к солнцу на принудительное подчинение ветру (серия «Дыхание поздней осени»), это хрупкие крылья птиц, одновременно олицетворяющие и невесомость полета, и тяжесть земного притяжения («Клювокрылые» и «Птички-невелички»), это природная естественность и грация в идеальном сочетании женских тел и цветочных букетов («Ароматы грез»).

«Если линии не летающие, то и искусства нет, — пошутил на открытии выставки «Летающие линии» искусствовед, профессор, действительный член Академии художеств Михаил Шишин. — Линия должна быть напитана особым чувством, полна энергии, жажды, наполнена страстью. Тогда даже одной будет достаточно, чтобы передать очень многое».

Вселенная Ольги Поповой одухотворена, а человек этой вселенной — сложносочиненное явление, его внутренний мир по сложности равен миру внешнему, и более того, два этих мира зеркально отражены друг в друге и влияют друг на друга. Такова и счастливая, но в то же время несчастная «Маргарита», чьей участью стала роль посредника между не-

бом и землей — роль добровольно жертвенная, может быть, наиболее полно выражающая суть женской природы.

Такова и «Дама в шляпе с розами» в своей экзистенциальной попытке быть источником цветения и благоухания мира — безусловно, это всего лишь чувственный образ, но в нем есть весомая доля почти что полностью выхолощенной из современного обихода эстетики. Есть и более сложное построение образа: картина «Гарем» из серии «Бахчисарай», где в простом сюжете отражено столкновение двух миров, двух цивилизаций. Гарем — самое охраняемое на Востоке место, но автор помогает зрителю попасть туда, а еще точнее — автор дает возможность обитательницам гарема выглянуть в другой мир, проявить женское любопытство. Сектор обзора очень мал — узкая полоска приоткрытой двери и узкая полоска для глаз в парандже. Они смотрят на нас, мы — на них. Понятны мы друг другу? Нет. Интересны? Да!

Вселенная Ольги Поповой одухотворена. Ее ангелы в серии «Времена года» — это одновременно образы и сиюминутного счастья человеческого проживания, и вечности бытия. А человек в силу ангельского присутствия — вечности сопричастен...

Но и реалистичные пейзажи Ольги Поповой (серия «Боруновский пленэр») особенные — это не просто состояния природы, а впечатления от состояний природы, переосмысленные творческим сознанием.

«Это все реальный мир! — говорит о своих живописных полотнах Ольга Попова. — Изображение его должно быть реалистичным, но у меня — он уже переделанный. На пленэре мышление чуть-чуть меняется, восприятие мира становится другим, подсознание находит связь с рукой, и все, что там, в голове, очень хорошо передается руке».

\* \* \*

Ольга Попова с 1995 г. — член Союза дизайнеров России, а с 2018 г. — Союза художников России, и, безусловно, это сложившийся, зрелый мастер, участвовавший во многих проектах: дизайнерских экспозициях, краевых художественных выставках, всероссийских выставках авторской художественной куклы.

При этом Ольга находится в постоянном поиске, справедливо считая, что творчество — это процесс живой, актив-

ный, требующий постоянного продвижения в познании мира и самого себя.

«Она просто взорвала художественное пространство Барнаула, — искренне восхищается Ольгой Поповой искусствовед Михаил Шишин. — Она знает действительность, но легко от нее уходит в символичность, условность, метафору. И это здорово — знать действительность, но не идти за ней, а создавать нечто большее. Я рад, что у нас в Союзе художников появилась эта красивая женщина и одаренная художница — как глоток воздуха».



## АВТОРЫ НОМЕРА

**Алексеев Игорь** родился в 1972 г. в Казахстане, в Карагандинской области. Окончил Кемеровский государственный институт культуры. Работает в сфере дополнительного образования. Публиковался в журнале «День и ночь». Финалист и лауреат ряда литературных конкурсов. Живет в Красноярском крае.

**Антонов Сергей Викторович** родился в 1973 г. в Свердловске. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. В 2003 г. эмигрировал. Публиковался в российских и европейских литературных изданиях. Редактор литературно-художественного журнала «Южный остров». Живет в г. Крайстчерч (Новая Зеландия).

**Бабанская Алена** родилась в г. Кашире. Окончила филологический факультет Московского педагогического государственного университета. Публиковалась в журналах «Арион», «День и ночь», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Волга», «Сибирские огни» и др. Автор трех книг стихов. Живет в Москве.

**Голодяев Константин Артемович** родился в 1962 г. во Владивостоке. Историк, краевед. Автор работ по истории города Новосибирска и Новосибирской области, региональной генеалогии, этнической истории региона, протогородской истории. Автор книги «Новосибирск “на ощупь”». Работает в Музее города Новосибирска. Живет в Новосибирске.

**Зябрев Анатолий Ефимович** родился в 1926 г. в поселке Никольск Новосибирской области. Работал строителем, журналистом, был собственным корреспондентом журнала «Сельская новь» по Восточной Сибири. Прозаик, публицист. Автор ряда прозаических и очерковых книг. Живет в Красноярске.

**Кирилин Анатолий Владимирович** родился в Барнауле в 1947 г. Автор двенадцати книг прозы и публицистики, изданных в Сибири и Москве. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Алтай» и др. Живет в Барнауле.

**Копнинов Валерий Павлович** родился в 1963 г. в Барнауле. Окончил Алтайский институт культуры и ГИТИС. Автор книги рассказов «Сукины дети». Публиковался в журналах «Север», «Огни Кузбасса», «Сибирские огни». Работает режиссером телевидения. Член Союза театральных деятелей РФ. Живет в Барнауле.

**Павлова Ольга Владимировна** родилась в 1984 г. в новосибирском Академгородке и в настоящее время проживает там же. Окончила отделение филологии Новосибирского государственного университета. Является сотрудником Гуманитарного института НГУ. Ранее не публиковалась.

**Пузыревская Лада** родилась в Новосибирске. Окончила Новосибирскую государственную академию экономики и управления, много лет работала в бизнесе. В дальнейшем получила дипломы специалиста по реабилитации и педагога-психолога. Занимается социальными проектами. Публиковалась в журналах «Сибирские огни», «Новосибирск», «Нева» и др. Финалист ряда поэтических конкурсов, лауреат Григорьевской премии. Автор трех книг стихов. Живет в Новосибирске.

**Румянцев Дмитрий Анатольевич** родился в 1974 г. в Омске. Окончил философский факультет Омского педагогического университета. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Звезда», «Новый мир» и др. Автор трех поэтических книг. Лауреат Всероссийской литературной премии им. В. П. Астафьева (2005). Член Союза российских писателей. Живет в Омске.

**Соляная Ирина Владимировна** родилась в 1976 г. в Воронежской области. Окончила юридический факультет Воронежского государственного университета. Кандидат юридических наук, действующий судья. Публиковалась в журналах «Аврора», «Южная звезда», «Сибирские огни», «Юность», «Север» и др., альманахах и межавторских сборниках. Призер и финалист ряда всероссийских и международных литературных конкурсов. Живет в Воронежской области.

**Тихонов Александр Александрович** родился в 1990 г. в п. Большеречье Омской области. Заведующий экскурсионным отделом Исторического парка «Россия — моя история» (г. Омск). Произведения публиковались в журналах «Наш современник», «Роман-газета», «Молодая гвардия», «Сибирские огни» и др. Автор нескольких романов и книг стихов. Лауреат ряда литературных премий. Живет в Омске.

# СИБИРСКАЯ ГОРНИЦА



## МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

**Работают отделы:**

**антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.**

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

**Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18**

**Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)**

**☎ 227-18-37, 227-14-50**

**Сайт: [www.gornitsa.ru](http://www.gornitsa.ru) E-mail: [n\\_gornitsa@bk.ru](mailto:n_gornitsa@bk.ru)**

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

### ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

**630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел. (383) 223-10-15**

**E-mail: [sibogni@sibogni.ru](mailto:sibogni@sibogni.ru) Сайт: [sibirskieogni.pf](http://sibirskieogni.pf)**

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.pf>

Сдано в набор 15.06.2021. Дата выхода № 7 за 2021 г. в свет 17.07.2021.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.